

Достоевский о Европе и славянстве преподобный Иустин (Попович), Челийский

Достоевский перед вечными проблемами

Достоевский не всегда современен, но всегда вечен. Он всегда вечен, когда говорит о человеке, когда мучается проблемой человека, ибо он страстно погружается в человеческие бездны и жадно ищет все то, что в человеке бессмертно и вечно. Он вечен и тогда, когда размышляет о твари, о всякой твари, ибо спускается в глубины пракорней человеческих, корней, которыми всякая тварь укореняется в таинственных глубинах вечности. Вечен он и тогда, когда лихорадочно мучается проблемой страдания, ибо не удовлетворяется поверхностным, относительным, человеческим решением ее, но стремится к абсолютному, вечному и божественному. Вечен он тогда, когда мятежной своей душой переживает историю рода людского, когда пробивается через ее хаос, когда переживает ее ужасную трагедию, ибо отбрасывает проходящий, временный, антропоцентрический смысл истории и усваивает бессмертный, вечный и богочеловеческий. Нет такой муки человеческого духа, которой бы он не мучился. Он живет и проживает жизнь человека во всех ее измерениях, а поэтому с рыданием бросается к ногам Богочеловека. Для него Богочеловек – смысл и цель человека, смысл и цель истории. Его Всечеловек это не что иное, как исторический Богочеловек – Иисус Назарянин.

Человек – настоящий человек тогда, когда он искренне и без страха ставит перед собой проблемы. Ни одна проблема не будет по-настоящему поставлена и решена, если она не будет поставлена без страха и притом поставлена на такую опасную грань, что от нее как в горячке лихорадит человеческий ум, и душу, и сердце. Таким образом, проблемы ставят только корифеи человеческой мысли: Иов, Соломон, апостол Павел, Шекспир, Достоевский. Но для таких людей окончательное решение какой-либо проблемы зависит единственно от абсолютного смысла и божественного провидения человеческой истории.

Здоровые очи души ясно видят: всякая, даже самая малая проблема своим главным нервом вырастает в вечные проблемы, прорастает в них, потому что всякая тварь тайной своей природы отражается в бескрайности и вечности. Во вселенной постоянно струятся бесконечные тайны вечности. А когда эти тайны встречаются, то они встречаются в сердце человека. Здесь тайна тайну обнимает, загадка льнет к загадке и космическая жуть пронизывает человека. Это мучительно ощущает Достоевский и своей провидческой душой, не смыкая очей, бдит над тайной миров, бродит и

говорит, что все есть тайна, все – загадка, а сердце всякой тайны, всякой загадки есть Бог.

По Достоевскому, все проблемы сводятся к двум «вечным проблемам»: проблеме существования Бога и проблеме бессмертия души. Эти две проблемы заключают в себе неодолимую, магнетическую силу, которая привлекает и подчиняет себе все остальные проблемы. От решения «вечных проблем» зависит решение всех остальных проблем, учит Достоевский. Решение одной «вечной проблемы» содержит в себе разрешение и другой. Они всегда соразмерны. Если есть Бог – то душа бессмертна, если нет Бога – то душа смертна.

Решение «вечных проблем» – главная мука, которой, вольно или невольно, мучаются отрицательные и положительные герои Достоевского. В свете этих проблем они подходят ко всем остальным проблемам. Без этих проблем их нельзя представить так же, как и самого Достоевского. «Существование Бога – главный вопрос, – пишет Достоевский Майкову, – которым я всю жизнь мучился, сознательно и неосознанно».

Герои Достоевского – олицетворение этой главной муки, воплощение этого главного вопроса. Их постоянная забота, их неизбежное занятие – решение этого главного, этого вечного вопроса: есть ли Бог, есть ли бессмертие? Без этих вопросов они не могут жить, вне этих вопросов они сами не свои: «Я не могу о другом, – исповедуется Кириллов, – я всю жизнь думал об одном. Меня Бог мучил всю жизнь». Добрый, мятежный Митя плачет и, рыдая, страстно исповедуется Алеше: «Меня Бог мучит. Только это и мучит».

Кроме этих, и остальные герои Достоевского мучаются Богом, всех их разъедает эта страшная и вечная мука. Вольно или невольно вся их жизнь проходит и сгорает в мучительном решении вечных проблем: проблемы Бога и проблемы души. Искание Бога, по мнению Достоевского, – цель всех, не только личных, но и народных движений, цель истории человечества.

Главное убеждение Достоевского состоит в том, что положительное или отрицательное решение вечных проблем определяет всю жизнь человека, всю его философию, религию, мораль, культуру. Отрицательное решение вечных проблем, выражаемое словами: нет Бога – нет бессмертия, составляет сущность отрицательных героев. А положительное решение, выраженное словами: Бог есть – есть бессмертие, составляет сущность положительных героев.

Отрицательное решение вечных проблем неминуемо влечет за собой отрицательное решение и всех остальных проблем. Убежденность в том,

что нет ни Бога, ни бессмертия души, всегда проявляется в нигилизме. Нигилизм же – не что иное, как прикладной атеизм. Философия атеизма неминуемо проистекает из морали нигилизма. Это Достоевский убедительнейше доказывает. Гениальным психологическим анализом и неопровержимым доказательством он виртуозно показывает, что нигилизм – неминуемое следствие атеизма. Если нет Бога, если нет бессмертия, тогда нет ни добродетелей, ни порока. В этом случае – все дозволено. Всякую мысль, всякое чувство, всякое движение души он преодолевает до крайних границ, а затем соединяет их с «вечными проблемами». В чудесной и чудотворной лаборатории своего духа Достоевский работает над каждой проблемой, доводя ее до вечной проблемы, и мучается ею до тех пор, пока не найдет решения для нее с точки зрения вечности. Вечность дает смысл времени. Окончательное и целесообразное решение любой проблемы и определение подлинной ценности в ком-либо или в чем-либо в этом мире возможно только *sub specie aeternatis*, но не *sub specie temporis*.²

Вечные проблемы не навязаны человеку, они присущи человеческому духу. По природе человеку присущи физические свойства настолько же, насколько присущи ему и метафизические. По сути, нет более метафизического, чем физическое. В переводе на язык Достоевского это значит: нет ничего более фантастического, чем действительность, чем реальность. Корни любого физического процесса всегда остаются глубоко сокрытыми в метафизической сущности космоса. И сама физика в основе своей метафизична, ибо основывается на гипотезе об эфире (воздухе), который «неощутим и недвижим, и сам по себе вообще не заметен» (*ungreifbar und undbewerglicht, an und fur sich uberhaupt nicht wahrnehmbar*).

Человеческое сознание является сознанием, пронизанным чем-то божественным. Оно настолько таинственно и загадочно в своей непосредственной давности, что его никто другой, меньший, чем Бог, не смог бы дать человеку. Неподражаемо анализируя человеческую душу, Достоевский приходит к заключению, что идея Бога имманентна людскому сознанию. В самых глубинах своего существа человеческое самосознание есть богосознание. Ибо сознание, в сущности – дар Божий человеку. Человек и не смог бы сознавать самого себя, если бы ему это не было дано от Бога.

Аналитик человеческого ума еще более беспощадный, нежели Кант, аналитик человеческой воли более смелый, нежели Ницше, Достоевский считает, что человеку предопределено по его психическому устройству постоянно и внутренне, сознательно и бессознательно мучиться

проблемой Бога.

Во всяком случае, для Достоевского и для его героев Бог – мука, притом страстная мука и страстное мучение. «Страшно впасть в руки Бога живого». А человек только потому, что он человек, падает и должен пасть.

Несомненно, в человеке есть что-то, что постоянно его влечет к Богу. Это влечение не может быть ни сковано, ни полностью уничтожено. Если бы стремление к Богу не было составной частью человеческого существа, то богоборцы легко смогли бы уничтожить это стремление в себе и в целом роде людском. Но стремление к Богу, идея о Боге – сердцевина человеческого сердца. В этом состоит мука человека и его величие. Пока человек окончательно не решит проблему Бога и пока он точно не определит своего отношения к Богу, он онтологически неспособен решить никакую другую проблему.

Достоевский пытается по-разному решать вечные «проклятые вопросы». Этими «проклятыми вопросами», словно огнем Прометея, он разжигает пожар в душах своих героев, и они сгорают в нем, мучаясь, как Иов. Бог для них не только идея, но страсть, притом страсть или горькая, или сладкая. Для чахоточных умов Бог может быть и анемичной идеей, но для героев Достоевского Он – психофизическая страсть, ибо они или до крови борются с Богом, или посвящают себя Богу. Для них Бог не книжная проблема, о которой можно почитать, но это новая Жизнь, которую надо прожить, Страдание, которое надо выстрадать, Боль, которой надо переболеть.

Психологический анализ героев Достоевского дает нам возможность поделить их на две группы. К первой группе можно отнести отрицательных героев – антигероев. Они или решают «вечную проблему» с отрицательным результатом, или они склонны к отрицательному решению. Ко второй группе принадлежат положительные герои. Первые – безбожники и смертники, ибо для них нет Бога, нет бессмертия. Для них человек смертен, смертен до конца. Вторые – верующие и бессмертны, ибо для них существует Бог и бессмертие души. Бессмертной стороной своего существа человек открыт вечности и мистически соединен с нею.

Отрицательные герои – это богоборцы, положительные – боголюбивы. И одни и другие создают свои философии и религии, искренне, мучительно и страстно оправдывая и защищая их. Философия первых – это философия атеизма и религиозного бунта; философия вторых – философия теизма и религиозного смирения. Первые поднимают невиданные бунты, такие, о которых не знает и история религиозных бунтов.

И в древнем мире были бунты. Бунтовали Иов и Соломон, бунтовал

Прометей. Их бунты продолжили Фауст и Вольтер, Манфред и Шелли, Ницше и Метерлинк. Но все эти бунты вместе взятые – всего лишь глухонемые предтечи бунта героев Достоевского. Битые кнутом жизненных ужасов, потрясенные страшной трагедией миров, антигерои Достоевского поднимают такие бунты, которыми мог бы гордиться и сам верховный дух зла и уничтожения. Если бы он сам (дух зла) преподавал философию атеизма и отрицания бессмертия, то и тогда он не был бы страшнее и бунтарнее, нежели антигерои Достоевского.

Мефистофель в «Фаусте», как школьник, читает курс лекций по атеизму своему ученику Фаусту, однако он (Мефистофель) без всякой обиды мог бы сам смиренно выслушать подобный курс лекций из уст «желторотого» русского студента Ивана Карамазова. У него бы он смог найти самое лучшее, совершенное оправдание своей демонологии. Вообще надо сказать, что все старые и новые философии атеизма по сравнению с философией атеизма Достоевского – не что иное, как Pleasant Sunday – afternoon literature³. В отрицании Бога все они – школяры по сравнению с Достоевским.

В философии антигероев Достоевского мистический ужас жизни нашел свою совершенную стилистику и самое адекватное выражение. У Ницше есть риторика, а у героев Достоевского ее нет. Мучимые ужасными проблемами страданий, раздавленные страшной таинственностью жизни, закабаленные бессмысленной необходимостью естественных законов, они забывают о всяких познаниях, презирают всяческие нравственные устои. Попирают все законы и страстно бросаются в ноги исстрадавшемуся человечеству, преклоняясь перед его страданиями. От ужаса они нарушают все законы, попирают все добродетели, преступают все границы, поставленные людьми, природой и Богом. Воистину в них происходит *Umwertung aller Werte*⁴.

Они не мирятся со страданием. Страдание для них – это самое высшее отрицание Бога. Страдание – это атмосфера нашей печальной планеты. Возможно ли оправдание Бога, если существует бессмысленное страдание? Может ли существовать Бог в этом ужасном мире? И если Он есть, возможно ли Его оправдание? Антигерои остаются при своем: страдания очень много в мире, оно бессмысленно и бесцельно, но это не мешает ему присутствовать во всем. Между человечеством и Богом стоит отвратительное чудовище, имя которому – страдание. Антигерои не могут его устранить, не могут его замолчать, а потому и не принимают мир, который «почивает в абсурде». Для них мир этот – наихудший из всех возможных миров (разумеется, сложный вопрос: возможны ли вообще

лучшие миры). И если все-таки они таковой мир принимают, то принимают единственно как космологическое доказательство не Бога, а дьявола. И историю рода людского они принимают не как оправдание Бога (теодицею), но как оправдание дьявола. Бессмысленная трагедия жизни отвергает Бога и утверждает дьявола, осуждает Первого и назначает второго.

Возможен ли такой ответ, который бы действительно мог осмыслить трагедию этого мира, который бы смог оправдать его страдания, который бы смог успокоить богоборческих бунтовщиков и устранил бы причины немилосердного их бунта против Бога?

Да, возможен, говорит Достоевский. Возможен только один-единственный ответ. И этим ответом является «пресветлый Лик Богочеловека Христа». Богоборческие бунтовщики могут разрушить все системы, уничтожить все принципы, попать все законы, они могут учение Христа назвать ложным, опровергаемым современной наукой и экономическими теориями. Но останется одно – то, что они никогда не смогут ни разорить, ни уничтожить. Это – пресветлый Лик Богочеловека. Его моральная недосыгаемость, Его чудесная и чудотворная красота.

Самое трудное – бороться не с учением, но со светлой и благой Личностью Христа. Победить эту Личность абсолютно невозможно. «Галилеянин, ты победил!» Достоевский это знает из своего собственного опыта, ибо редко кто так боролся со Христом, как он сам. А потому как ответ своим взбунтовавшимся антигероям он представляет чудесный и чудотворный Лик Господа Христа, Который являет Себя в христоликих образах Зосимы и Алеши, Мышкина и Макара. Своей чудесной христоликостью они смиряют бунтарский дух, умиротворяют мятущиеся души, укрощают мятежные стремления. Всей своей жизнью, всем своим существом они свидетельствуют об одном: есть Бог, есть бессмертие.

Некая таинственная, милая и кроткая сила непрестанно изливается из христоликих героев Достоевского. Они не доказывают Бога логически, но свидетельствуют о Нем психофизически. Логически или диалектически нельзя доказать ни существование Бога, ни существование бессмертия души. Убежденность в существовании Бога и бессмертия души – это плод личного, непосредственного опыта. Эта убежденность приобретает только опытом активной любви. От величины и силы этого опыта зависит и сила и величина человеческой убежденности в существовании Бога и бессмертия души. Чем богаче этот опыт у человека, тем больше и веры в Бога. К истинному и реальному богопознанию и самосознанию человек приходит только путем активной любви. Любя Бога и людей, человек

реально и через опыт жизни понимает, что душа его христолика и бессмертна.

Опыт активной любви, как метод бого- и самопознания – это чудесная благая весть, подаренная Богочеловеком человеческому роду. Пользуясь этим методом, человек самым коротким путем находит и Бога, и самого себя. На путях же ненависти человек легко теряет и Бога, и самого себя. Этот метод, найденный и примененный Богочеловеком, стал и навсегда остался методом православной гносеологии. По сути он прямо противоположен схоластическому методу механического понимания животворных истин Христовых и протестантскому рациональному методу понимания надрациональных евангельских истин.

Христоликие герои Достоевского сохраняют в себе самую большую драгоценность нашей планеты – Христов Лик. И в нужные моменты они являют Его (Лик) колеблющимся душам в этом горьком мире. Лик Христов – единственный посредник между ними и другими людьми. Своими христоликими душами они привлекают все, что есть божественного в душах людей, и находят бессмертное добро и в самом большом грешнике. Они принимают мир, но не принимают грехи мира. Они любят грешников, но не любят их грехов. Очищенный и освященный Христом, этот мир является лучшим из всех возможных миров, но люди сделали себя настолько плохими, насколько это возможно сделать. Христоликие герои Достоевского принимают мир из рук Богочеловека Христа, Который милостиво и кротко покрывает грехи мира.

Прекрасная Личность Христа – это единственное, что беспредельно обожает Достоевский. Для него эта Личность – воплощение всего самого возвышенного, всего самого совершенного, всего самого человеческого. Вне этой Личности нет истинного благовестия в этом печальном мире. Имя Христа, произнесенное в присутствии Достоевского, приводило его в сильное возбуждение и вызывало восхищение. Белинский пишет: «Стоило мне произнести имя Христа, как лицо Достоевского тотчас же менялось, как будто он хотел заплакать».

В этом мире, который поживает на парадоксах, Достоевский не может без Христа. Каждую свою мысль он завершает Им, и всякое свое чувство он проверяет в Нем. Горькая тайна мира только во Христе становится сладостной. Жестокая тайна страдания постепенно перерастает в тихую, умиротворяющую радость лишь тогда, когда вырастает из Христа и освящается Им. Это Достоевский чувствует по-апостольски сильно, и поэтому он исповеднически предан и мученически верен Христу.

В Богочеловеке Христе есть что-то несравненно большее, нежели

истина, добро и красота. Он является всем этим в абсолютном смысле, и в то же время Он представляет нечто большее, чем все это. Именно в этом и состоит Его неизъяснимое очарование. Все, что есть самого лучшего в душе человека, Христос привлекает к Себе каким-то непреодолимым магнетизмом любви. Он дает человеческой душе то, что не могут ей дать ни абсолютная истина, ни абсолютное добро, ни абсолютная красота, взятые в отдельности в их метафизической сущности или в их логической оправданности.

Представьте себе парадоксальную дилемму: надо выбрать между Христом и истиной. Я и вы, возможно, выбрали бы истину, а не Христа. А Достоевский? Он без сомнения выбрал бы Христа и даже тогда, когда и вся истина была бы против Христа. Вот его исповедь о том: «...Бог посылает мне иногда минуты, в которые я совершенно спокоен; в эти минуты я люблю и нахожу, что другими любим, и в такие-то минуты я сложил символ веры, в котором все для меня ясно и свято. Этот символ очень прост, вот он: верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа, и не только нет, но и с ревнивою любовью говорю себе, что и не может быть. Мало того, если бы кто мне доказал что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы остаться со Христом, нежели с истиной» (письмо к Н.Ф. Фонвизиной, №61, февраль 1854 г.).

Это – Павлово исповедание веры в Богочеловека Христа. Со времен апостола Павла и до настоящего времени не раздавалось более смелого слова о незаменимости Господа Христа. Единственный, кто мог в этом отношении в некотором роде сравниться с Достоевским – это пламенный Тертуллиан со своим знаменитым «Credo quia absurdum»⁵.

Такое бесстрашное исповедание веры во Христа – соблазн для чувствительных и безумие для рациональных. Но именно через такое исповедание веры Достоевский в новейшее время стал самым большим исповедником евангельской веры и самым даровитым представителем Православия и православной философии. Да, православной философии, ибо она по сути отлична от неправославных философий тем, что для нее первым и последним критерием всех истин и всех добродетелей является Личность Богочеловека Христа.

Надо сказать, что христианские воззрения в известной мере существовали и до Христа. Некоторые христианские моральные принципы и догматические истины можно найти в иудаизме, некоторые в буддизме, некоторые в конфуцианстве. Но в них нельзя найти того, что является самым главным, того, что «едино на потребу». А это – Личность

Богочеловека Христа. Ибо Она Своей вечной животворящей силой спасает человека от греха и смерти, перерождая его, исполняя его всем божественным совершенством.

Без Личности Христа учение Христово не имеет ни спасительной силы, ни непреходящей ценности. Оно (учение) сильно и спасительно настолько, насколько жива ипостась Его Божественной Личности. Евангелия, Послания, весь Новый Завет, вся догматика, вся этика без чудотворной Личности Христа представляют собой или вдохновенно-мечтательную философию, или романтическую поэзию, или утопические мечтания, или злонамеренный обман. И только Личность Христа, чудесная в Своем беспредельном совершенстве, создает вечную ценность и придает животворящую силу всему новозаветному учению. Из этой Личности постоянно изливается некая творческая сила, которая дает людям возможность претворить божественное новозаветное учение в человеческую жизнь.

Все, что нужно человеку в этом и во всех возможных мирах, Достоевский нашел в Личности Богочеловека Христа. В Ней он видит решение всех личных и всех социальных проблем не только нашего времени, но и всех времен до скончания истории. Где есть присутствие Лица Христова, там для Достоевского истинный прогресс, истинное просвещение, истинная радость, истинная жизнь, истинная мудрость и всякое истинное совершенство. Но если спросить Достоевского, где находится, где сохраняется Лик Христов, то он вам без сомнения скажет – в Православии, только в Православии. А что с римокатолицизмом, что с протестантством? Ах, вздохнет Достоевский, римокатолицизм извратил Лик Христов и изуродованного Христа проповедует, а протестантство давно Его потеряло.

Христоликость положительных героев Достоевского проистекает из того, что они в душах своих сохраняют чарующий Лик Христов. Этот Лик – сердцевина их личностей. Они живут Им, мыслят Им, чувствуют Им, творят Им, все в себе устраивают и определяют по Нему и, таким образом, через христородицу создают православную теодицею. А потому они первоклассные православные философы. Их философия вся основывается на повседневном опыте, вся эмпирична, ибо они богочеловеческую истину Христову постоянно претворяют в каждодневную жизнь. Через этих героев Достоевский переживает жизнь во всей ее полноте, в которой вечные истины и вечные радости сливаются в едином объятии, которому нет конца.

* * *

Бросается в глаза то, что и отрицательные, и положительные герои Достоевского прежде всего и более всего являются неустрашимыми борцами за личность человека. Борясь за свободу, правду, за истину, за бессмертие, за вечность человеческой личности, они мученически ищут разгадку изначальной загадки всего мира. Ужасы жизни и смерти бьют по ним, и нет мира не только в костях, но и в мыслях их. В своих героев Достоевский вкладывает всю свою мятежную душу потрясающе и страстно.

Бесконечную тайну своей необычной личности Достоевский претворяет в невиданную гениальность. Для многих он – соблазн, ибо его не понимают. Где же больше его самого – то ли в положительных, то ли в отрицательных героях? Но это и не удивительно, ибо от великих личностей проистекает соблазн для большого числа людей. Такие личности воистину камень преткновения и соблазн для многих. И лучший пример тому – Личность Христа.

Без сомнения, Достоевский – самое загадочное «неизвестное» в очень сложном явлении, которое представляет из себя славянская культура. Много трудов вложено в то, чтобы разгадать подлинную ценность этого «неизвестного». Пусть и наши немощные усилия на то же будут направлены, если это возможно. Чтобы писать о Достоевском, смелость нам придает сам Достоевский, ибо он неизменно милостив, несмотря на свое устрашающее величие. Каждый может найти себя в нем. Если вы печальны, то он всеусердно разделит вашу печаль. Если вы в отчаянии, то тут он ваш друг, ваш брат, ваш близнец. И в то же время – утешитель. Если вы атеист, он страдает вместе с вами, мучается вашей мукой, гениально защищая атеизм, подводит вас к взрывоопасному бунту и к безумному отчаянию с тем, чтобы вместе с вами с криком броситься в ноги благородного Иисуса. Если вы преступник, он милостиво принимает вас под кров своей многострадальной души, вашу душу преобразует в свою, вместе с вами болеет вашей болезнью, ставит точный диагноз вашей болезни и излечивает вас надежным лекарством, ибо и сам болеет и искушен в болезнях. Если вас мучают «проклятые вопросы», он вас обнимет как самого родного человека, будет проводить с вами бессонные ночи и тяжелые дни и не покинет вас до тех пор, пока вы не найдете правильное решение. Если вы верующий, он умножит вашу веру до апостольской влюбленности во Христа. Если вы оптимист или пессимист, он вас убедительно будет вести к самому совершенному оптимизму, показывая вам, что чудесная Личность Богочеловека Христа – единственный источник самого совершенного оптимизма, ибо Он –

единственное истинное благовестие во всех мирах.

Достоевского нельзя изучать без муки и без слез. Его может успешно изучать только человек, который сам искренне, от всего сердца мучается его главной мукой – решением вечных проблем. Без этого его нудно читать. Людей, которые не любят заниматься опасными проблемами, охватывает ужас и трепет при чтении Достоевского. Они часто бросают ему в лицо один отчаянный вопрос: «Скажи нам, долго ли будешь мучить души наши?» – «Пока не решите вечные проблемы», – будет ответ.

И мы, хотя и мизерные во всем, как атом, и только в любви к Достоевскому великие, решились в этом исследовании отыскать основные психологические законы и главные творческие принципы, которые создали положительные и отрицательные герои Достоевского и представили человеческому роду такую дьявольскую демонологию и такую херувимскую теодицею, каких мир не видел.

Кто заморожен поверхностным оптимизмом многих современных «возродителей» и «благодетелей» человечества, тот пусть не опускается в преисподнюю православного Данте, ибо в огнедышащих безднах дьяволиады испарится его легковесный оптимизм и сгорят все его планы по переустройству мира и человека, построенные на основе возвеличивания человека, на принципах «чистого разума» и «*сompen sens'a*»⁶.

Самый отчаявшийся среди отчаявшихся. Демонология (от человекомыши к человекобогу)

Опасно и печально быть человеком, ибо ни одно существо не было так возвышаемо и так унижаемо, как человек. Это проистекает из-за чрезмерной сложности человеческого существа. В добре он идет к Богу, а во зле он опускается до дьявола, и поэтому одни его боготворят, другие же уподобляют дьяволу. Homo homini deus, и в то же время homo homini lupus est⁷. И одно и другое показывает то, что человеческое существо беспредельно и пронизано жестокими противоречиями. Кто же их примирит, приведет к согласию, усмирит?

Человека терзают дикие противоречия, непримиримые крайности. Не лучше ли сузить человека, уменьшить число чувств, поставить границы для рассудка, упростить проблемы совести, застопорить свободу духа? Тогда легче и радостнее было бы быть человеком, но и менее достойно и менее интересно. Именно в этом контексте надо рассматривать воззвание, обращенное к человечеству: «Человек есть то, что надо преодолеть». Огласил это воззвание страстный апологет западной философии и науки, несчастный Ницше.

Но Ницше во многом неправильно оценен. Его и приблизительно нельзя назвать самостоятельным мыслителем. Если вы проанализируете его сочинения, то сможете найти в них и Канта, и Фому Аквината, и Протагора, и Шопенгауэра, и Дарвина. Но его трагедия заключается в том, что известные абстрактные и анемичные идеи этих мыслителей он претворил в свои страсти и крестился в них своей кровью. Смело извлекая крайности из последних достижений философии и науки, он закончил сумасшествием. Его душа, бурная и вулканическая, не смогла не опробовать на себе некоторые убийственные философские теории и смертоносные научные гипотезы. В своем страстном сердце он повенчал волюнтаризм Шопенгауэра с селекционизмом Дарвина, и из этого брака родился сверхчеловек, который по-детски наивно показал всему миру страшную тайну своих родителей.

Своим сверхчеловеком Ницше не упростил проблему человека, но еще более ее усложнил. По своей мертвенности сверхчеловек напоминает робота, а не живое человеческое существо. Проблема человека и далее продолжает по-прежнему мучить всякого мыслящего человека, нанизывая

вопрос за вопросом: что же такое человек? в чем его сущность? существует ли «чистый человек», в котором не было бы ничего странного, чуждого, нечеловечного? какая же загадка пульсирует в человеке? кто же скрывается в человеке и за человеком? Быть может, человек – это заблудшее приведение из внешних миров, пришедшее на нашу землю и не могущее из нее вырваться? Где, на чем зиждется основание и в чем конечность человеческого существа? Ради чего существует человек?.. Но прежде всего и надо всем этим встает вопрос: что ждет человека в финале? Что? что? что?..

В решении человеческих проблем никто не может ни превзойти, ни сравниться с Достоевским. Во всех своих произведениях он неустанно ищет человека в самом человеке, исследует его суть, размышляет о его предназначении. Он подвергает человека невиданному психоанализу, подвергает его страшным испытаниям с тем, чтобы психологически и экспериментально решить «проклятые» вечные проблемы человека. И если результатом этих исследований будет убеждение: человек смертен до конца, – тогда решение другой вечной проблемы должно гласить: нет Бога. Но если же немилосердный психологический анализ покажет, что человек бессмертен, то тогда решение первой проблемы будет гласить: есть бессмертие, есть Бог.

В загадочной лаборатории своего пламенного духа гениальный аналитик расчленяет человеческое существо на его составные части, отделяет человеческое от нечеловечного, земное от небесного, доброе от злого, страстное от бесстрастного, грешное от безгрешного, человеческое от Божественного. При всем этом он провидчески следует за загадочными переходами чувств в мысли и мыслей в чувства, страстей в идеи и идей в страсти. В человеческом сердце, как на поле брани, постоянно сражаются все противоречия неба и земли, и сам Достоевский – в центре этого побоища. Чудовищные загадки мира бьют по нему, ядовитые стрелы тайн уязвляют его сердце, и он, весь израненный, вопиет: «Господа, меня мучают вопросы, разрешите их мне!»⁸

Достоевский слишком глубок и неспокоен, чтобы его могло удовлетворить или успокоить поверхностное решение главных жизненных вопросов. Он не сможет успокоиться до тех пор, пока не отыщет фундаментальное основание того, на чем стоит мир и люди в этом мире, и поэтому с такой грустью и болью в сердце вопрошает: «Как я себя успокою? Где у меня первоначальные причины, на которые я упрусь, где основание? Откуда я их возьму?»⁹

В самом начале своей мыслительной деятельности Достоевский

предчувствует, что основание человеческого существа находится не вовне, но внутри самого человека. При этом он интуитивно чувствует, что это основание завалено и захлавлено массой разнообразных эмпирических наслоений. И поэтому Достоевский ведет своего героя в подполье, ставит его в аскетическое уединение с тем, чтобы он занялся самоанализом. В подполье герой мыслит, целиком погружаясь в себя и свою проблему. Ни люди, ни вещи не рассеивают его ум. Он искренне и смело исполняет свое намерение: живет в мучительных размышлениях и упорно ищет основание и первоначальную причину своего существования. Он ищет этот смысл в мыслях, в совести, в сознании и приходит к горделивому заключению: «У меня всякая первоначальная причина тотчас же тащит за собой другую, еще первоначальнее, и так далее в бесконечность».¹⁰

Такое заключение трагично для человека из подполья. Но его мука усугубляется тем, что он пришел к заключению, что это убеждение не его личное, но такова именно сущность всякого сознания и мышления¹¹.

По своей сути главная тайна человеческой мысли, человеческого сознания уходит в бесконечность. Мы думаем, рассуждаем, но, по сути дела, не знаем сущности ни мыслей, ни сознания. Это наша вечная Соломонова мука. «Все – суета и томление духа» (Еккл. 1:2, 17), – все, но прежде всего – сам дух есть самое большое мучение для самого себя. Существует некое онтологическое родство между сознанием и страданием. Ища истоки страдания, подпольный герой находит, что страдание – «единственная причина сознания»¹². Более того, он заявляет: «Сознание, по-моему, есть величайшее для человека несчастье»¹³. Но это еще не все. Подпольный герой утверждает: «Я крепко убежден, что всякое сознание – болезнь»¹⁴. Вы не верите в это, но он вам клянется: «Клянусь вам, господа, что сознание – болезнь, настоящая, полная болезнь»¹⁵

Человек с развитым сознанием совершенно искренне «считает себя за мышшь, а не за человека»¹⁶. Похоже, что человеку сознание дано для того, чтобы он ощутил свою трагическую немощь перед всем, что вокруг него, над ним и под ним. Человек добросовестно почитает себя за мышшь, пусть даже и «усиленно сознающую мышшь», но «все-таки мышшь»¹⁷.

В недостижимой глубине человеческого сознания сокрыто нечто ужасное, нечто невыносимое, нечто проклятое. Это может почувствовать каждый, серьезно занимающийся этой проблемой. Сознание надо просветить и объяснить сознанием. Какова насмешка над человеком! Это прямо-таки некий демонический *circulus vitiosus*!¹⁸ Подпольный человек решительно движется в русле своей мрачной логики: из-за проклятых законов сознания человек, по сути, это «мыслящая мышшь»¹⁹, человек – это

человекомышь.

Человеку навязано сознание. Сознание – это «первоначальная гадость»²⁰. Но несчастная человекomyшь не остановилась на этой гадости, но умудрилась «нагородить кругом себя, в виде вопросов и сомнений, столько других гадостей, к одному вопросу подвела столько неразрешимых вопросов, что поневоле кругом ее набирается какая-то роковая бурда, какая-то вонючая грязь, состоящая из ее сомнений, волнений и, наконец, из плевков»²¹. Что остается несчастной, осмеянной человекomyши? Ничего, кроме того, чтобы с презрительной усмешкой шмыгнуть в свою нору: «там, в своем мерзком, вонючем подполье наша обиженная, прибитая и осмеянная мышь немедленно погружается в холодную, ядовитую и, главное, вековечную злость»²².

Первопричина не найдена. Рассудок, посредством которого человек ощущает самое себя и мир вокруг себя, не может понять, познать свою собственную сущность. В своей эмпирической и логической данности сознание не в состоянии найти первоначальный источник своих собственных чувствований и дел. Огорченной человекomyши остается одно – удвоить свою силу, чтобы пробиться через сознание, углубиться в бездны человеческого существа и там попытаться найти суть своей личности, без коей она ощущает себя, как дом без фундамента. Ей необходимо найти праисточник своего существа. Найти, притом любой ценой: ведь сознание, которое не ведает тайны своего собственного существования, не является ли достаточным поводом для самоубийства?

Но человекomyшь не хочет умирать. И она, как полип, судорожно хватается за рассудок, исследует его со всех сторон: выверяет его глубину, высоту, ширину; ставит ему границы; подвергает его беспристрастному анализу. Сорок лет она будет искать в рассудке праоснову человеческого существа и не находить ее. Разочарованная мышь придет к заключению: «Рассудок, господа, есть вещь хорошая, это бесспорно, но рассудок есть только рассудок и удовлетворяет только рассудочной способности человека»²³. Но в человеческой натуре рассудок составляет лишь некую «одну двадцатую долю от всех целокупных способностей человека в жизни»²⁴.

«Что знает рассудок? – спрашивает подпольный герой. – Рассудок знает только то, что успел узнать (иного, пожалуй, и никогда не узнает: это хоть и не утешение, но отчего ж этого и не высказать?), а натура человеческая действует вся целиком, всем, что в ней есть, сознательно и бессознательно, и хоть врет, да живет»²⁵. Из этого ясно видно, что, будучи одной двадцатой частью человеческой природы, будучи ее незначительным

фрагментом, рассудок не может считаться *prima causa*²⁶, не может быть ее сущностью, ее фундаментом, а потому рассудку и приблизительно не может принадлежать первенствующая и главная роль в человеческой натуре. Своей немилосердной критикой человеческого рассудка человекомышь в своем подполье создала свой сыроватый и язвительный бергсонизм; он пока не элегантен, но все же это настоящий предтеча элегантного французского бергсонизма.

Но наконец-то и одиссея человекомыши успешно завершается. Она нашла первооснову своего существа. Это нечто непонятное и надрассудочное, нечто над- и подсознательное. Это – свободная воля, это, собственно, свободное и самостоятельное хотение. «Свое собственное, свободное и самостоятельное хотение, свой собственный, хотя бы самый дикий каприз, своя фантазия, раздраженная иногда хотя бы далее до сумасшествия, – вот это-то все и есть та самая пропущенная, самая выгодная выгода, которая ни под какую классификацию не подходит и от которой все системы и теории постоянно разлетаются к черту»²⁷. Из этого следует, что человек более всего человек в своей свободе. «Человеку надо – одного только самостоятельного хотения, чего бы эта самостоятельность ни стоила и к чему бы ни привела»²⁸.

Свобода, в сравнении с человеческим рассудком, нечто более существенное, более непосредственное, нечто большее и непреодолимое. Жизнь в условиях свободы выражается в своей бесконечной парадоксальности и ужасающей противоречивости. Человекомышь философствует: «Хотение есть проявление всей жизни, то есть всей человеческой жизни, и с рассудком, и со всеми почесываниями. И хоть жизнь наша, в этом проявлении, выходит зачастую дрянцо, но все-таки жизнь, а не одно только извлечение квадратного корня»²⁹. «Вот я, например, – заявляет человекомышь, – хочу естественно жить для того, чтобы удовлетворить все свои жизненные потребности, а не для того, чтобы удовлетворить одной только моей рассудочной способности, то есть какой-нибудь одной двадцатой доле всей моей способности жить»³⁰.

Для подпольного героя хотение есть нечто, что не подлежит никакому контролю. И менее всего контролю рассудка. И в этой своей праоснове хотение, вероятно, для человека «более всего выгоднее из всего, что есть на земле»³¹. Более того, оно может быть «выгоднее всех выгод даже и в таком случае, если приносит нам явный вред и противоречит самым здравым заключениям нашего рассудка о выгодах»³². И если вы спросите подпольного философа, отчего человеческое хотение столь важно, столь неприкосновенно, столь самостоятельно, он вам, не сомневаясь, ответит:

«потому что сохраняет нам самое главное и самое дорогое, то есть нашу личность, нашу индивидуальность»³³.

Человекомышь обрела основу своего существования. Это свободная воля: она – фундамент личности, она – творческая и связующая сила личности. В ней *prima causa*, в ней заключен критерий всего человеческого. Человек – это свобода. Вне свободы нет человека и быть не может.

Но человек окружен, даже замурован в мире, в котором немилосердно властвует некая тираническая необходимость. И получается, что в нем как бы нет места для свободного хотения. На человека со всех сторон наваливаются некоторым образом неумолимые, а иногда и людоедские законы. Пойманный в прочную сеть естественных законов, человек в этом мире суровой необходимости похож на мышь, которая попала в мышеловку, из которой не может выбраться. Это трагически ощущает и осознает несчастная человекомышь.

«Природа нас не спрашивает, – с отчаянием признается человекомышь, – ей дела нет до ваших желаний и до того, нравятся ли вам ее законы или не нравятся. Вы обязаны принимать ее так, как она есть, а следовательно, и все ее результаты»³⁴. Человек есть человек своей свободой. Все, что мешает свободе, мешает и существованию человека как существа специфического. Природа и ее законы ограничивают, а иногда препятствуют проявлению человеческой воли. Из-за этого человекомышь со скрежетом зубовным восстает против естественных законов. Эти законы ее бездушно обижают и огорчают. «Законы природы постоянно и более всего всю жизнь меня обижали»³⁵, исповедует она и добавляет: «невозможно прощать законы природы»³⁶.

Но даже бурное возражение против бездушных естественных законов не в состоянии ни их изменить, ни их отменить. Это сводит с ума человекомышь. Яростно бунтуя, она исступленно негодует и с циничным отвращением подыскивает слова, которые в полноте могли бы выразить ее отвращение к естественным законам и, наконец, их находит. Вот эти слова: «Наплевать, наплевать на все естественные законы»³⁷.

Однако естественные законы образуют непробиваемую стену, неустранимо роковую, «последнюю стену»³⁸. «Человекомышь приблизилась к ней и не может найти никакого выхода»³⁹. В своем раздраженном сознании она в отчаянии бросается на штурм этой последней стенки, но каждый наскок завершается для нее поражением. «Стена, значит, и есть стена»⁴⁰, – признается измученная человекомышь. Но неужели же на этом надо остановиться? Нет, никогда. Борьба будет продолжена любой ценой. И человекомышь взывает: «Господи Боже, да

какое мне дело до законов природы и арифметики, когда мне почему-нибудь эти законы и дважды два четыре не нравятся? Разумеется, я не пробью никакой стены лбом. Если и в самом деле сил не будет пробить, то я не примирюсь с ней потому только, что у меня каменная стена и у меня сил не хватило»⁴¹.

За этой последней стеной некое метафизическое чудовище своим чародейским взглядом заколдовывает несчастную человекомышь точно так же, как впоследствии оно заколдовывало не менее несчастного Ницше, который страстно и без усталости штурмовал «Letzte Wände»⁴². Возможно, человек и не мог бы вынести существование непробиваемой стены, если бы рассудок его был устроен как-то иначе. Но рассудок ощущает боль, которая становится нестерпимой. Самое же трудное то, что эта боль является столь существенной, что становится как бы составной частью человеческого сознания. А мы, люди, недооформленные до конца млекопитающие, не знаем ни смысла своего сознания, ни смысла своей боли. Мы знаем лишь, что существует последняя стена с ее чудовищной, непроницаемой тайной. А вокруг и перед стеной – наша бесконечная боль и бескрайняя тоска. Неужели только это?

Непробиваемость последней стены настолько унижает человеческое сознание, а бесцельность боли настолько оскорбляет человеческие чувства, что человекомыши только и остается одно и последнее: плюнуть с презрением и на сознание, и на чувства, и на всю систему естественных законов⁴³. Да притом так закричать, чтобы услышали все, имеющие уши: «О, нелепость нелепостей! То ли дело все понимать, все осознать, все возможности и каменные стены; не примириться ни с одной из этих возможностей и каменных стен, если вам мерзит примириться; дойти путем неизбежных логических комбинаций до самых отвратительных заключений на вечную тему о том, что даже и в каменной-то стене как будто чем-то сам виноват и, вследствие этого, молча и бессильно скрежеща зубами, сладострастно замереть в инерции, мечтая о том, что даже излиться выходит тебе не на кого; что предмета не находится, а, может быть, и никогда не найдется, что тут подмен, подтасовка, шулерство, что тут просто бурда – неизвестно что и неизвестно кто, но, несмотря на все эти неизвестности и подтасовки, у вас все-таки болит, и чем больше вам неизвестно, тем больше болит!»⁴⁴

Жестокая тайна жизни безумно мучит человекомышь, подавляет мысли, душит ощущения. И она вне себя от этого. Она даже свое упрямство готова провозгласить целью своего существования⁴⁵. Жуть быть человеком, ибо страдание имманентно его рассудку. И неподдельный ужас

человека заключен в том, что его отношение к самому себе и к миру обуславливается трагической структурой его сознания и самоощущения. Со всех сторон он огражден только своим собственным сознанием и своими ощущениями. Но только в них и благодаря им человек – самостоятельный индивидуум и личность. Он не смог бы освободиться от них, даже если бы захотел. Человек заключен в собственном сознании и самоощущениях, как в вечной темнице, из которой нет выхода.

Человек комичен по самой структуре своего рассудка и своих ощущений. И в то же время он комичен и по своему ощущению мира. «Одним словом, человек устроен комически, во всем этом, очевидно, заключается каламбур»⁴⁶, – не говорит, но сетует подпольный философ. Человек – трусливая мишень для смертельных оскорблений и всевозможных насмешек кого-то или чего-то непонятного. Кто-то глумится над человеком, издевается над ним, но «проклятые законы» человеческого сознания и ощущений мешают человеку отыскать обидчика, а из-за этого злой рок безумно мучает человека. И отчаявшейся человекомыши не остается ничего другого, как еще сильнее биться головой о последнюю стену. В результате же – «мыльный пузырь и инерция»⁴⁷. Человекомышь душит инерция. «Ведь прямой, законный, непосредственный плод сознания – это инерция, то есть сознательное сложа-руки-сидение»⁴⁸.

Такой скептический вывод подпольного философа о природе человеческого сознания напоминает Пиррона, который всю свою философию сводит к еросхе, то есть к воздержанию от какого-либо суда над чем-либо⁴⁹. Но скептицизм подпольного философа смелее и драматичнее скепсиса Пиррона, ибо и в отчаянии он находит удовольствие: «В отчаянии-то и бывают самые жгучие наслаждения, особенно когда уж очень сильно сознаешь безвыходность своего положения»⁵⁰.

Будучи скептиком, подпольный герой страстно влюблен в эту мысль, несмотря на то, что она представляет для него страшную метафизическую муку. В таинственной лаборатории своего духа он логические мысли претворяет в страсти. А мысль страсть – это высшее проклятие для человека. Страстно погруженная в мысль человекомышь тайно грызет, точит себя таким образом, что горечь претворяет в некую срамную, проклятую сласть, прямо-таки сущую усладу. Это наслаждение происходит от чересчур ясного сознания своей униженности и от ощущения, что находишься перед последней стеной и что выхода нет. И что самое важное: все это происходит по обычным и главным законам

усиленного сознания и по инерции, проистекающей из этих законов, и, следовательно, тут невозможно ничего изменить⁵¹.

Из кровотокащих унижений и насмешек, неизвестно чьих, человекомышь извлекает наслаждение, доходящее порой до форменного сладострастия⁵². «Сок этого странного наслаждения» она находит в «холодном, омерзительном полуотчаянии, полувере, в этом сознательном погребении самого себя в подполье.., в этой усиленно созданной и все-таки отчасти сомнительной безысходности своего положения, во всем этом яде неудовлетворенных желаний, вошедших внутрь, во всей этой лихорадке колебаний, принятых навеки решений и через минуту опять наступающих раскаяний»⁵³.

В своем подполье человекомышь создает свою бунтарскую философию. Ее она использует, чтобы выразить свою исстрадавшуюся душу и проявить смелость своей воли. Она готова пойти «против всех законов, то есть против рассудка, чести, покоя, благоденствия, одним словом, против всех этих прекрасных и полезных вещей»⁵⁴. И сама цивилизация – насмешка над человеком, ибо «цивилизация вырабатывает в человеке только многосторонность ощущений и... решительно ничего больше. А через развитие этой многосторонности человек еще, пожалуй, дойдет до того, что отыщет в крови наслаждение. Ведь это уже и случилось с ним. Замечали ли вы, что самые утонченные кровопроливцы почти сплошь были цивилизованные господа... По крайней мере, от цивилизации человек стал, если не более кровожаден, то уж, наверно, хуже, гаже, чем прежде»⁵⁵.

Бунт подпольного философа в особенности беспощаден по отношению к науке. Наука опасна для человека, ибо она механизмирует жизнь и все сводит к законам необходимости. В сущности, она учит, что у человека нет ни воли, ни склонностей, он их попросту никогда и не имел. Он «нечто вроде фортепианной клавиши или органного штифтика; и что сверх того, на свете есть еще законы природы; так что все, что он ни делает, делается вовсе не по его хотению, а само собою, по законам природы. Следовательно, эти законы природы стоит только открыть, и уж за поступки свои человек отвечать не будет, и жить ему будет чрезвычайно легко. Все поступки человеческие, само собою, будут расчислены тогда по этим законам, математически, вроде таблицы логарифмов, до 108,000 и занесены в календарь; или еще лучше того, появятся некоторые благонамеренные издания, вроде теперешних энциклопедических лексиконов, в которых все будет так точно исчислено и обозначено, что на свете уже не будет более ни поступков, ни приключений. Тогда-то

наступят новые экономические отношения, совсем уже готовые и точно вычисленные с математической точностью, так что в один миг исчезнут всевозможные вопросы, собственно потому, что на них получатся всевозможные ответы. Тогда выстроится хрустальный дворец. Тогда... Ну, одним словом, тогда прилетит птица Каган»⁵⁶.

Разумеется, – язвительно добавляет подпольный философ, – никак нельзя гарантировать, что тогда не будет, например, ужасно скучно (потому что, что же и делать-то, когда все будет рассчитано по табличке), зато все будет чрезвычайно благоразумно. Конечно, от скуки чего не выдумаешь!.. «Но я нисколько не удивлюсь, если вдруг ни с того, ни с сего, среди всеобщего будущего благоразумия, возникнет какой-нибудь джентльмен и скажет нам всем: а что, господа, не столкнуть ли нам все это благоразумие с одного разу, ногой, прахом, единственно с той целью, чтоб все эти логарифмы отправить к черту, и чтоб нам опять по своей глупой воле пожить!»⁵⁷

«Наука мало знает человека; она упустила из вида главную сущность его натуры, а именно – волю, ибо «человек всегда и везде, кто бы он ни был, любил действовать так, как хотел, а вовсе не так, как повелевали ему разум и выгода»⁵⁸. И если когда-нибудь будет найдена формула всех наших хотений и прихотей, то есть, от чего они зависят, какими законами управляются, каким образом распространяются, куда устремляются в том или ином случае, то есть, когда выведут математическую формулу хотений, тогда, возможно, человек и перестанет хотеть, – наверняка перестанет, – утверждает Достоевский: «Ну что за охота хотеть по табличке? Мало того, тотчас же обратится из человека в органический штафтик или вроде того; потому что же такое человек без желаний, без воли и без хотений, как ни штафтик на органическом вале?»⁵⁹

Так человекомышь защищает человека и борется за его независимость и самостоятельность. Для нее самое важное, чтобы человек остался личностью, она не допускает, чтобы природа или наука его обезличили, механизировали, превратили в робота. «Ведь все дело-то человеческое, – убеждает он, – и действительно в том только и состоит, чтоб человек поминутно доказывал себе, что он человек, а не штафтик! Хоть своими боками, да доказывал»⁶⁰. Но если вы спросите подпольного философа, в чем суть воли, суть хотения как стержня личности и основы его индивидуальности, то он вам ответит: «...черт знает, от чего зависит!»⁶¹ Загадочностью своей сути воля теряется в некоей темной бесконечности, потому она и является мукой для человеческого духа, мукой, которой едва ли сыщется что-либо равное.

* * *

Подпольный философ закончил свой смелый и немилосердный анализ человека. Обнажил до корней и до пракорней его главные силы и возможности. Отыскал в свободе суть его личности и подчинил ей все добродетели и все ценности. В мужественной борьбе за личность он храбро боролся против всех сил, которые обезличивают человека, а это – природа, разум, сознание, цивилизация, наука.

Подпольный философ – это антигерой. Достоевский справедливо говорит: «тут собраны все черты антигероя»⁶². В нем Достоевский выразил до конца то, что другие не решались выразить и до половины⁶³. И что самое новое в нем, это то, что писатель показал в полноте и само отчаяние антигероя.

Антигерой – откровение мировой литературы, он предстает как аналитик человеческого духа и как отчаявшаяся личность. Ибо никто и никогда не доходил до апокалиптического ужасающего вывода о сути человеческого рассудка и сознания вообще. «Сознание – это болезнь»: это ли не отчаяние, выше которого нет ничего на земле? В своем аскетическом подполье славянский отчаявшийся человек пришел к этому выводу в ходе личного экспериментального анализа природы человеческого сознания. Среди отчаявшихся он – самый отчаявшийся, ибо в своем отчаянии он находит утешение, в которой доходит до сладострастия. Даже религия отчаяния – буддизм, который всякое явление пропускает сквозь призму отчаяния, не создала такую отчаявшуюся личность. Его отчаяние перерастает в помрачение, ибо он со всех сторон находится в герметическом заточении у проклятых естественных законов, а также в роковом заточении у законов самого сознания. Все это подводит его к заключению, что сознание – «самая большая беда для человека».

Бунт

1. Неприятие мира

Подпольный антигерой с трагической серьезностью, без сомнения, показал, что проблема человека – проклятая проблема. Всесторонне анализируя человека, он понял, что суть человеческой природы окружена чудовищными тайнами. Всякая же тайна, подобно яркому пламени, высвечивает некую бесконечность в человеке или указывает на некую бесконечность около человека. И чтобы загадка была еще более устрашающей, в человеке встречаются две бесконечности: его собственная, субъективная бесконечность, порожденная его сознанием, и бесконечность внешнего, транссубъективного мира, которая присуща миру.

В сознании подпольного философа эти две бесконечности непримиримы. Мучая его, они соревнуются в своей загадочности, но он решительно выступает против внешней бесконечности, которая грубо, до оскорбления, являет себя через природу и ее законы. А внутренняя бесконечность хотя и болезненно загадочна, ему мила и дорога, поскольку она – основа человеческой личности. Борясь без устали за человеческую личность, он, по сути, борется за ее бесконечность, за ее непреходящую ценность, за ее абсолютность. Личность – это то, что должно расти, а все то, что против нее, должно умяться. Природа не знает личности и ее устремлений, поэтому природа это есть то, что должно быть превзойдено. Но если это невозможно, тогда природу не надо принимать. С ней не должно примиряться.

Хотели бы мы или нет, но проблема личности содержит в себе бесконечные проблемы. По существу, проблема личности, Бога и мира включает три аспекта, три вида одной и той же проблемы. Ибо личность есть поприще всех противоречий. Часто из-за своей чрезмерной сложности личность выглядит как некая трагикомическая попытка, в которой некое непонятное существо желает примирить непримиримые противоречия.

Проблема личности глубоко проникает в проблему мира, ибо человеческая личность своей сутью глубоко скрыта в сущности мира. Решение одной проблемы влечет за собой и решение другой. Генетическое родство и онтологическую зависимость этих проблем Достоевский непревзойденно показывает в своих героях, в особенности в Иване Карамазове, в котором, в определенном смысле, наиболее полно воплощены мучения самого Достоевского, связанные с решением

извечных проклятых проблем.

Если проблема человека поставлена серьезно, то она по некоей внутренней необходимости перерастает в проблему Бога и во вселенскую проблему мира. Это нам демонстрирует Иван Карамазов. И чтобы совсем понятно выразить и верно представить суть своей личности, он излагает брату Алеше свою точку зрения в отношении Бога и мира. «Нам, прежде всего, надо решить вечные вопросы. Это наша задача»⁶⁴, – предлагает Иван Алеше. А это – вопросы: есть ли Бог, есть ли бессмертие?⁶⁵

Но каким образом человек может решить эти вопросы? Располагает ли он сознанием, которое было бы в состоянии решить вечные проблемы? Обладает ли он такой способностью, которая могла бы дать убедительный ответ на эти вопросы? Возможность поставить вечные проблемы и невозможность их разрешить была бы для человека мукой, равной которой нет ни в одном из миров. Ум человеческий задается вечными вопросами, но может ли он их разрешить?

Иван исследует природу человеческого ума как главного орудия сознания и находит, что ум человеческий создан «с понятием лишь о трех измерениях пространства»⁶⁶, притом евклидов ум человека слаб и мал, как атом⁶⁷. И если Бог существует и если Он действительно сотворил землю, то тогда, «как нам совершенно известно, создал Он ее по евклидовой геометрии»⁶⁸; «между тем находились и находятся теперь геометры и философы, и даже из замечательнейших, которые сомневаются в том, что вся вселенная, или еще обширнее – все бытие, было создано лишь по евклидовой геометрии, осмеливаются даже мечтать, что две параллельные линии, которые по Евклиду ни за что не могут сойтись на земле, может быть, и сошлись бы где-нибудь в бесконечности. Я, голубчик, решил так, что если я даже этого не могу понять, то где же мне про Бога понять. Я смиренно сознаюсь, что у меня нет никаких способностей разрешать эти вопросы, у меня ум евклидовский, земной, а потому где нам решать о том, что не от мира сего. Все эти вопросы совершенно несвойственны ему, созданному с понятием лишь о трех измерениях»⁶⁹.

Значит, по самой своей природе человеческий ум неспособен к пониманию Бога. Он, как некая геометрическая закрытая монада, никак не может быть открыт Богу. Но, несмотря на это, какая-то неодолимая внутренняя сила понуждает Ивана к решению вечных вопросов. И он говорит Алеше: «Итак, я принимаю Бога и не только с охотой, но мало того, принимаю и премудрость Его, и цель Его, нам совершенно неизвестные, верую в порядок, в смысл жизни, верую в вечную гармонию, в которой мы будто бы все сольемся, верую в Слово, к Которому стремится

вселенная и Которое Само «бе к Богу», и Которое есть Само Бог... Но представь себе, что в окончательном результате я мира этого Божьего – не принимаю, и хоть и знаю, что он существует, да не допускаю его вовсе. Я не Бога не принимаю, пойми ты это, я мира, Им созданного, мира-то Божьего не принимаю и не могу согласиться принять. Оговорюсь: я убежден, как младенец, что страдания заживут и сладятся, что весь обидный комизм человеческих противоречий исчезнет, как жалкий мираж, как гнусенькое измышление малосильного и маленького, как атом, человеческого евклидовского ума, что, наконец, в мировом финале, в момент вечной гармонии, случится и явится нечто до того драгоценное, что хватит его на все сердца. На утоление всех негодований, на искупление всех злодейств, всей пролитой ими крови хватит, чтобы не только было возможно простить, но и оправдать все, что случилось с людьми, – пусть, пусть это все будет и явится, но я-то этого не принимаю, не хочу принять! Пусть даже параллельные линии сойдутся, и я это сам увижу: увижу и скажу, что сошлись, а все-таки не приму. Вот моя суть, Алеша, вот мой тезис»⁷⁰.

Иван глубоко, во всей полноте ощущает свой мир. Похоже, что сердце его вместило все тайны, а душа бросила якорь в мировые бездны. Кругом бездна над безднами, вокруг бесконечность над бескрайностью. И среди бездн – слабый и мизерный евклидов ум человека. Как найти себя среди этих бездн? Принять мир таким, каким он является, может только глупый, наивный человек. В мире существует боль, существует зло, существует смерть. Может ли человек принять и признать такой мир? Иван его не принимает, не признает по многим причинам. Главная же – страдание человечества вообще, и детей в частности.

Ему известно одно: человечество страдает в этом, именно так созданном мире. Несчастье состоит в том, что страдания существуют. А оправдания для страданий нет. Иван не может принять мир, в котором страдают, а смысла страданий нет. И чтобы сузить рамки своих аргументов в этом направлении, Иван останавливается только на страданиях детей. Он даже об отроках не хочет говорить, ибо они «съели яблоко», познали добро и зло и стали «яко бози». Продолжают они и теперь есть его. «Но деточки ничего не съели и пока еще ни в чем не виноваты. Если они на земле тоже ужасно страдают, то уж, конечно, за отцов своих, наказаны за отцов своих, съевших яблоко, но ведь это рассуждение из другого мира, сердцу же человеческому здесь на земле непонятное. Нельзя страдать неповинному за другого, да еще такому неповинному!»⁷¹

Страдание глубже природы человеческого ума. Перед ужасающей действительностью человеческих страданий ум человека мечется, как в лихорадке. А когда речь идет о страданиях деток, тогда и мощный ум Ивана Карамазова не выдерживает, начинает бунтовать. И он, как в безумии, бросает Алеше: «Иногда выражаются про «зверскую» жестокость человека, но это страшно несправедливо и обидно для зверей: зверь никогда не может быть так жесток, как человек, так артистически, так художественно жесток»⁷².

Без сомнения, Иван прав. Его слова подтверждаются многочисленными примерами мировой истории, которые говорят нам печальную истину: человек совершенно сознательно, рационально и добровольно немилосерден, жесток, зол. И в этом – его печальное преимущество перед животными. Более того, человек влюблен во зло, и эта влюбленность перерастает в сладострастие. Ни одно животное не может со сладострастием наслаждаться отвратительными гадостями и художественными злодеяниями, которыми наслаждается человек. Любовь ко злу – чисто людская специфика на этой планете, звери по своей природе не способны на такую любовь. Земля похожа на преисподнюю, ибо люди сладострастно влюблены во зло. Ивана мучают факты людского сладострастного злодеяния. Это сладострастное наслаждение злом – кульминация в мучениях неповинных деток. И вот пример – турки, завоеватели Балкан, со сладострастием мучают именно детей: «Представь, грудной младенец на руках трепещущей матери, кругом – вошедшие турки. У них затеялась веселая штучка: они ласкают младенца, смеются, чтобы его рассмешить; им удается, младенец рассмеялся. В эту минуту турок наводит на него пистолет в четырех вершках от его лица. Мальчик радостно хохочет. Тянется ручонками, чтоб схватить пистолет, и вдруг артист спускает курок прямо ему в лицо и раздробляет ему головку...»⁷³ Артист сладострастно наслаждается своим артистизмом на глазах у матери.

А Иван? В отчаянии от боли и ужаса он говорит: «Я думаю, что если диавол не существует и, стало быть, создал его человек, то создал он его по своему образу и подобию»⁷⁴. Именно поэтому, считает Иван, Леонардо да Винчи крикнул человеку: «Человек, ты царь зверей (re della bestie), ибо воистину зверство твое величайшее»⁷⁵.

Есть некая темная суть в человеке, а именно: человек по природе деспот, он любит мучить⁷⁶.

Человек добровольно возвращает в себе любовь ко злу, совершенствует ее, рационализирует ее и, наконец, коронуется ее

сладострастной и интеллектуальной влюбленностью во зло; и, таким образом, зло становится рациональной необходимостью человеческого сознания. Зло, будучи нисколько не чуждым человеку, постепенно становится составной частью его сознания. Мученик и мудрец Паскаль изрек печальную истину: «Никогда люди не делают зла так много и с таким удовольствием, как когда делают его сознательно»⁷⁷.

Наслаждаться мукой детей – это трагическая способность, которую человек умудрился развить в себе. Во всяком человеке сокрыт зверь, утверждает Иван, «зверь гневливости, зверь сладострастной распрямляемости от криков истязаемой жертвы, зверь безудержу спущенного с цепи, зверь нажитых в разврате болезней»⁷⁸.

Иван обосновывает свои утверждения фактами, статистическими данными, примерами. Вот один из многих: маленькую пятилетнюю девочку ненавидят отец и мать, весьма уважаемые люди, чиновники, образованные и воспитанные. «Эту бедную пятилетнюю девочку эти образованные родители подвергли всевозможным истязаниям. Они били, секли, пинали ее ногами, не зная сами за что, обратили все ее тело в синяки; наконец дошли до высшей утонченности: в холод, в мороз запирали ее на ночь в отхожее место. И за то, что она не просилась ночью, за это обмазывали ей все лицо ее же калом и заставляли ее есть этот кал, и это мать, мать заставляла!.. И эта мать могла спать, когда ночью слышались стоны бедного ребеночка, запертого в подлом месте! Понимаешь ли ты это, когда маленькое существо, еще не умеющее даже мыслить, что с ней делается, бьет себя в подлом месте и в темноте, и в холоде крошечным своим кулачком в надорванную грудку и плачет своими незлобными, кроткими слезками к «Боженке», чтоб тот защитил его, – понимаешь ли ты эту ахинею, друг ли ты, для чего эта ахинея так нужна и создана! Без нее, говорят, и пробыть бы не мог человек на земле, ибо не познал бы добра и зла. Да ведь весь мир познания не стоит тогда этих слезок ребеночка к «Боженке». Я не говорю о страданиях больших, те яблоко съели, и черт с ними, и пусть их всех черт взял, но эти. Эти! Мучаю я тебя, Алешка. Ты как будто бы не в себе. Я перестану, если хочешь», – с болью говорит Иван. «Ничего, я тоже хочу мучиться», – пробормотал Алеша⁷⁹, а с ним все, которые мучаются горькой проблемой страдания, все те, кто способен «о горнем мудрствовать и горнее искать».

Страшно быть человеком. Разве не страшно обладать малюсеньким, слабеньким людским разумом и со всех сторон быть окруженным всяческими бескрайними проблемами? Человеку дано пять чувств.

Непонятно, почему ни больше, ни меньше. Будучи геометрически закупоренным в своем малюсеньком сознании и в пяти чувствах, человек проявляет свою натуру необычными способами. А когда проблема страдания ударяет по слабому человеческому сознанию, тогда не только страшно, но и фатально быть человеком. Не в этом ли состоит трагическая привилегия быть человеком и выражать свою человечность через мучения других и через причинение мучений другим людям? Но далее для самого слепого человеческого сознания очевиден факт: страдание существует всюду; все, что существует – страдает; вся вселенная утопает в страданиях; страдание – это какая-то роковая необходимость этого трехмерного мира. Наша несчастная планета пропиталась человеческими слезами от коры земной до самого центра. Ее устройство непонятно. У человеческого существа отсутствует такой орган познания, с помощью которого он смог бы понять мистерию мира.

Мыслящий человек, если он хоть чуть-чуть искренен, должен согласиться с признанием Ивана: «Я клоп и признаю, что ничего не могу понять, для чего все так устроено... О, по моему, по жалкому, земному евклидовскому уму моему, я знаю лишь то, что страдание есть, что виновных нет, что все одно из другого выходит прямо и просто, что все течет и уравнивается, – но ведь это лишь евклидовская дичь, ведь я же знаю это, ведь жить по ней я не могу же согласиться! Что мне в том, что виновных нет и что я знаю – мне надо возмездие, иначе ведь я истреблю себя. И возмездие не в бесконечности где-нибудь и когда-нибудь, а здесь уже, на земле, и чтоб я его сам увидал. Я веровал, я хочу сам и видеть, а если к тому часу буду уже мертв, то пусть воскресят меня, ибо если все без меня произойдет, то будет слишком обидно. Не для того же я страдал, чтобы собой, злодействами и страданиями моими унавозить кому-то будущую гармонию. Я хочу видеть своими глазами, как лань ляжет подле льва⁸⁰ и как зарезанный встанет и обнимется с убившим его. Я хочу быть тут, когда все вдруг узнают, для чего все так было... Но вот, однако же, детки, и что я с ними буду делать? Это вопрос, который я не могу решить. В сотый раз я повторяю, – вопросов множество, но я взял одних деток, потому что тут неотразимо ясно то, что мне надо сказать. Слушай: если все должны страдать, чтобы страданием купить вечную гармонию, то причем тут дети? Зачем им покупать страданиями гармонию? Для чего они-то тоже попали в материал и унавозили собою для кого-то будущую гармонию? Солидарность в грехе между людьми я понимаю. Понимаю и в возмездии, но не с детками же солидарность в грехе, и если правда и в самом деле в том, что они солидарны с отцами их во всех злодействах

отцов, то уж, конечно, правда эта не от мира сего и мне непонятна»⁸¹.

Реальность страдания ощущается более непосредственно, глубже, шире, нежели реальность ума. Страдание не вмещается в бедный человеческий ум. И человек с болью вопрошает: не является ли страдание необходимостью не только во времени и в пространстве, но и в бесконечности и в вечности? Если человек ощущает, знает и видит человеческие и земные реалии, то он их ощущает, знает и видит в категории страдания. По самой своей природе страдание делает невозможным или исключает всякую рациональную гармонию, ибо страдание создало многочисленные реалии, которые не могут быть уничтожены.

Мизерный ум человека должен признаться самому себе, что он не в состоянии осмыслить и оправдать страдания. А если это так, то тогда невозможна никакая высшая гармония в жизни.

Если даже мы и предположим, что гармония возможна в некоем далеком будущем, то что делать в таком случае с униженным и оскорбленным человеческим умом? Сможет ли ум простить оскорбления, которые нанесены ему необъяснимостью мира и жизни? Сможет ли он забыть страдание, которым пронизаны сами основы бытия, и это дает человеку право протеста против такой трагичной гармонии? Иван считает, что такая гармония возможна. Но это будет гармония, которую ум человеческий не сможет принять, ибо человеческое страдание осталось не объясненным, не искупленным, не оправданным.

Но даже и в таком случае Иван не возводит хулу на Бога. Он понимает, каково должно быть потрясение во вселенной, когда все на небе и под землей сольется в едином хвалебном гласе и все, что живет или жило воскликнет: «Ты прав, Господи, ибо открылись нам пути Твои». Тогда «настанет венец познания, и все объяснится. Но этого-то я и не могу принять, – в отчаянии говорит Иван. – Пока еще время, спешу оградить себя, а потому от высшей гармонии совершенно отказываюсь. Не стоит она слезинки хотя бы одного только что замученного ребенка, который бил себя кулачком в грудь и молился в зловонной конуре своей не искупленными слезками своими к «Боженьке»! Не стоит, потому что слезки его остались не искупленными. Они должны быть искуплены, иначе не может быть и гармонии. Но чем, чем ты искупишь их? Разве это возможно? Неужто тем, что они будут отомщены? Но зачем мне их отмщение, зачем мне ад для мучителей, что тут ад может поправить, когда те уже замучены? И какая же гармония, если ад: я простить хочу и обнять хочу, я не хочу, чтоб страдали большие. И если страдания детей пошли на

пополнение той суммы страданий, то вся истина не стоит такой цены. Не хочу я, наконец, чтоб мать обнималась с мучителем, растерзавшим ее сына псами!

Не смеет она прощать ему! Если хочет, пусть простит за себя, пусть простит мучителю материнское безмерное страдание свое, но страдания своего растерзанного ребенка она не имеет права простить, не смеет простить мучителя, хотя бы сам ребенок простил их ему! А если так, если они не смеют простить, где же гармония? Есть ли во всем мире существо, которое могло бы и имело право простить? Не хочу гармонии, из любви к человечеству, не хочу. Я хочу оставаться лучше со страданиями, не отомщенными... *Лучше уж я останусь при не отомщенном страдании моем и неутоленном негодовании моем, хотя бы я был и не прав*⁸². Да и слишком дорого оценили гармонию, не по карману нашему вовсе столько платить за вход. А потому свой билет на вход спешу возвратить обратно. И если только я честный человек, то обязан возвратить его как можно заранее. Это и делаю. Не Бога я не принимаю, Алеша, а только билет Ему почтительно возвращаю»⁸³.

Мучительно пытаюсь объяснить тайну жизни и мира с помощью своего евклидова ума, Иван теряет веру и в порядок вещей, и в гармонию творения. Для него мир – это «проклятый дьявольский хаос»⁸⁴, над которым не носится никакой светлый и святой дух.

«Мир на нелепостях стоит, – как в бреде утверждает Иван. – Я не хочу ничего понимать. Я хочу оставаться при факте. Я давно решил не понимать. Если я захочу что-нибудь понимать, то тотчас же изменю факты. А я решил остаться при факте... Ничего не могу понять, для чего все так устроено»⁸⁵.

С какой бы стороны мы ни взглянули на мир, он остается неразгаданной тайной, ибо человек не обладает такими умственными способностями, которые смогли бы высветить эту тайну во всех ее глубинах и высотах для того, чтобы обнаружить истинный ее смысл. В этом главная причина трагедии человеческого сознания. Здесь истоки всех анафем, которые земля шлет небу.

Все бунты против Бога начинаются с этого. И с этого же проистекает и бунт Ивана. Ибо все мучительные усилия вместить таинственную трагедию мира в рамки человеческого евклидова ума завершаются бунтом. Бунт – логическое следствие человеческой веры в разум, ибо разум едва ли может охватить бесконечные тайны, пронизывающие миры. Только наивный человек может верить, что с помощью разума можно отгадать загадку мира и решить проблему жизни. Это то же самое, как верить, что

комар может вместить в свою утробу... Млечный путь. Самый гениальный человеческий ум бесконечно мал пред бесконечно великой тайной мира. Иван – красноречивый пример этому. Не щадя себя, он напрягает свой ум, чтобы с его помощью решить жуткую проблему мира. При этом из своего личного опыта он приходит к ужасающему заключению и мучительному признанию, что малый, как атом, земной, евклидов человеческий ум абсолютно не способен решить проблему мира.

Рационализм породил нигилизм. Рационализм, какого бы цвета он ни был, когда доходит в своем развитии до последней черты, тогда он, по природе своей логики, завершается нигилистическим бунтом и анархическим неприятием мира. «Вера в категории разума – причина нигилизма»⁸⁶, – искренне утверждает Ницше. И если бы рационалистам всех мастей хватило бы мужественного смирения воспринять искренность Ивана и Ницше, то тогда они публично признали бы, что вера в человеческий разум – это самый верный путь, ведущий через разочарование к отчаянию, к бунту, к неприятию мира, к нигилизму и анархизму.

* * *

Иваново неприятие мира – завершающая фаза долго подготавливающегося бунта. То, о чем подпольный антигерой философствовал в малом, Иван развил до невиданных размеров. Идея неприятия мира зарождается в человекомыши, прорастает в Раскольникове, Свидригайлове, Ипполите, Ставрогине, Кириллове, Верховенском с тем, чтобы наконец во всей полноте выплыть в Иване. Всех их поражает очевидный факт: мучительная трагичность и бесконечный ужас этого мира. Но кульминация ужаса состоит в том, что чем страстнее и отчаяннее они погружаются в чудовищную трагичность этого мира, тем глубже и настойчивее ощущают и понимают, что горний мир – это всего лишь продолжение этого мира со всеми его ужасами и абсурдами. Да и сама вечность не что иное, как трагикомика временного и пространственного мира, перенесенная в вечное бытие. Когда Свидригайлов размышляет о вечности и полностью сосредоточивает свое внимание на этом, то вечность предстает пред ним в ужасающем облике. И он так говорит Раскольникову: «Нам вот все представляется вечность как идея, которую нам понять нельзя, что-то огромное-огромное! Да почему это непременно огромное? А вдруг вместо всего этого, представьте себе, будет там одна комната, эдак вроде деревенской бани, закоптелая, а по всем углам пауки, и вот вся вечность»⁸⁷

Неприятие мира неминуемо перерастает в неприятие вечности.

Страшный ужас пронизывает и время и вечность. Антигерои Достоевского обладают некой несчастной магнетической силой, которая притягивает к себе все, что трагично и жутко в мире и вечности. Из природы и вечности так же, как и из законов, вытекающих из них, изливается некий непреодолимый ужас, приводящий антигероев Достоевского к разрушительному и самоубийственному отчаянию.

Измученный немилосердием и тиранией природы и ее законов Ипполит приходит к самоубийственным настроениям. Он это открыто признает. Для него природа является олицетворением какого-то огромного неумолимого зверя, точнее, какой-то огромной машины самой современной конструкции, которая бессмысленно, бесчувственно, мрачно хватает, разжевывает и поглощает все⁸⁸.

И хотя природа – некое бесформенное чудовище, она видится Ипполиту все же в определенном облике: «Мне как будто казалось временами, – рассказывает он, – что я вижу в какой-то странной и невозможной форме эту бесконечную силу, это глухое, темное и немое существо. Я помню, что кто-то как будто бы повел меня за руку, со свечкой в руках, показал мне какого-то огромного и отвратительного тарантула и стал уверять меня, что это то самое темное, глухое и всесильное существо, и смеялся над моим негодованием»⁸⁹.

При таком видении у человека холодеет ум и сердце, глыбы льда леденят душу. И человек забывает свое имя. Это уже не человек, а само отчаяние. «Нельзя оставаться в жизни, которая принимает такие странные, обижающие меня формы. Это привидение меня унизило, – негодует Ипполит. – Я не в силах подчиниться темной силе, принимающей вид тарантула»⁹⁰.

Выходит, человеку дан разум для того, чтобы он понял, как он отчаянно немощен и беспомощен перед бессмысленной тиранией жизни. В таком случае сознание не есть ли самая издевательская «привилегия», которой человек обладает? Обмирая от ужаса, Ипполит приходит к предположению, что его «ничтожная жизнь, жизнь атома, понадобилась для пополнения какой-нибудь всеобщей гармонии в целом, для какого-нибудь плюса и минуса, для какого-нибудь контраста, и прочее, и прочее, точно так же, как ежедневно надобится в жертву жизнь миллионов существ, без смерти которых остальной мир не может стоять (хотя надо заметить, что это не очень великодушная мысль сама по себе). Но пусть! Я согласен, что иначе, то есть без непрерывного поедания друг друга, устроить мир было никак невозможно; я даже согласен допустить, что ничего не понимаю в этом устройстве; но зато вот что я знаю наверное:

если уж раз мне дали осознать, что «я есмь», то какое мне дело до того, что мир устроен с ошибками и что иначе он не может стоять? Кто же и за что меня после этого будет судить? Как хотите, все это невозможно и несправедливо. А между тем я никогда, несмотря даже на желание мое, не мог представить себе, – продолжает Ипполит, – что будущей жизни и Провидения нет. Вернее всего, что все это есть, но мы ничего не понимаем в будущей жизни и в законах ее. Но если это так трудно и совершенно невозможно даже понять, то неужели я буду отвечать за то, что не в силах был осмыслить непостижимое? Я умру, прямо смотря на источник силы и жизни, и не захочу этой жизни! Если б я имел власть не родиться, то, наверно, не принял бы существования на таких насмешливых условиях. Но я еще и имею власть умереть... Невеликая власть, невеликий и бунт»⁹¹

Бунт антигероев Достоевского является чем-то исключительным в сфере человеческой мысли. Мятежное расположение духа возрастает в них до умопомрачительной высоты, на которой человеческий дух распадается в диком ужасе и немом отчаянии. Для них метафизический ужас – последняя суть жизни и мира. Охваченные чудовищной силой этой метафизической свирепости, они нам с болью и отчаянием рассказывают об ужасе жизни так, как нам об этом никто никогда не рассказывал. «В произведениях Достоевского, – пишет один английский критик, – ужасов и свирепости больше, чем во всех литературах всех времен, предшествовавших ему. Дело не в том, что он «жестокий талант», как некоторые о нем говорили, но в том, что у него человеческое сознание работало живее по сравнению с другими людьми его времени и что он сам гораздо более сильно прочувствовал, что значит быть жертвой суровой действительности»⁹².

Даже прозорливый Шекспир не смог погрузиться глубже Достоевского в загадочные глубины жизни и мира. В «Короле Лире» и «Макбете» потрясающе показана трагедия человеческого существования. При этом самый гениальный трагик не смог так многогранно и так пророчески взглянуть, так глубоко прочувствовать последний ужас жизни, как Достоевский, хотя и Шекспир, временами его сильно ощущая, говорил, что жизнь – это «сказка в устах глупца»⁹³.

«Жизнь – это боль, жизнь – это страх, и человек несчастлив», – говорит Кириллов, как бы пробиваясь через некий внутренний духовный лед. «Теперь все боль и страх. Теперь человек жизнь любит, потому что боль и страх любит. И так сделали. Жизнь дается теперь за боль и страх, и тут весь обман»⁹⁴. Для Кириллова другой, горный мир – это огромный камень, который завис над человеком и готов упасть в любой момент⁹⁵.

Для Ставрогина жизнь – бескрайняя серия обманов⁹⁶.

Если бы метафизический ужас жизни был попроще, то человек смог бы его понять, а возможно, и победить. Но ужас жизни создан непонятно, из таких видимых и невидимых соединений, из которых каждое отдельное соединение бесконечно. А всякая бесконечность теряется в бесконечных загадках. И поэтому жизнь и весь мир, насколько мы его видим и воспринимаем, предстает как хаотичная евклидова бессмыслица.

В мире нет ничего ни малого, ни простого. В бесконечно малом таится закваска бескрайности. Бесконечно большое так же загадочно, как и бесконечно малое. А между ними – загадка в загадке. «Все в мире – загадка»⁹⁷, – говорит Достоевский. Все его существо открыто тайнам мира и ужасам жизни. И они падают на него, как тяжелые мельничные жернова. «Страшно много тайн! Слишком много загадок угнетают на земле человека!.. Широк человек, слишком даже широк, я бы сузил»⁹⁸.

Для человека, более ограниченного в духовном развитии, вероятно, и ужас жизни был бы поменьше, попроще и переносимее. Человек же широких духовных горизонтов мучается неизмеримо, терзается и страдает, но не может найти смысл и оправдание этому чудовищному творению, которое миром зовется. Все в нем загадка, и прежде всего, человек – самому себе загадка. «Маленькое слово «почему?», – говорит Достоевский, – заполонило вселенную с первого дня творения, и вся природа во всякий момент вопрошает Творца: «Почему?» И так уже семь тысяч лет не получает ответа»⁹⁹.

Разбитая страданиями, смущенная проблемами, ошеломленная загадками человеческая природа не может ответить на проклятые, извечные вопросы. Некий таинственный рассудок пребывает в ней. Неужели только для того, чтобы человек осознал ужасную дисгармонию мира? «Сознание мое, – пишет Достоевский в своем дневнике, приписывая это рассуждение материалисту, – есть именно не гармония, а напротив, дисгармония, потому что я с ним несчастлив»¹⁰⁰.

Похоже, что цель всемогущих законов природы состоит в том, чтобы немилосердно унижать и терзать несчастного человека. И почему дан человеку рассудок прежде того, как он на него согласился? «В самом деле: какое право имела эта природа производить меня на свет вследствие каких-то там своих вечных законов? Я создан с сознанием, и эту природу сознал¹⁰¹: какое право она имела, право производить меня без моей воли на то, сознающего? Сознающего, стало быть, страдающего, но я не хочу страдать – ибо для чего бы я согласился страдать?»¹⁰²

Грозная трагедия существования вообще рождает в человеке

невыносимые мысли: «Ну, что если человек был пущен на землю в виде какой-то наглой пробы, чтоб только посмотреть: уживется ли подобное существо на земле или нет? Грусть этой мысли, главное, в том, что опять-таки нет виноватого, никто пробы не делал, некого проклясть, а просто все-все произошло по мертвым законам природы, мне совсем непонятным, с которыми сознанию моему никак нельзя согласиться. Ergö так как на вопросы мои о счастье я через мое же сознание получаю от природы лишь ответ, что могу быть счастлив не иначе, как в гармонии целого, которой я не понимаю и, очевидно для меня, и понять никогда не в силах, так как природа не только не признает за мной права спрашивать у нее отчета, но даже не отвечает мне вовсе – и не потому, что не хочет, а потому, что и не может ответить. Так как я убедился, что природа, чтоб отвечать мне на мои вопросы, предназначила мне (бессознательно) *меня же самого*¹⁰³ и отвечает мне моим же сознанием (потому что я сам это все говорю себе); так как, наконец, при таком порядке я принимаю на себя в одно и то же время роль истца и ответчика, подсудимого и судьи, и нахожу эту комедию, со стороны природы, совершенно глупую, а переносить эту комедию, с моей стороны, считаю унижительным, то в моем несомненном качестве истца и ответчика, судьи и подсудимого я присуждаю эту природу, которая так бесцеремонно и нагло произвела меня на страдание – вместе со мною к уничтожению... А так как природу я истребить не могу, то истребляю себя одного, единственно от скуки сносить тиранию, в которой нет виноватого»¹⁰⁴.

Разум делает человека несчастным. Он разъединяет его с миром, уводит его в самолюбивое одиночество, приводит его к самоубийственному отчаянию, в то время как природа окружает его со всех сторон и злодейски мучает его слабый ум своей свирепой таинственностью. И бедный человек живет в природе, как в некоем огромном и отвратительном черепе мертвеца. «О, природа! Люди на земле одни – вот беда! – горестно взывает Достоевский. – Говорят, солнце живет вселенную. Взойдет солнце, и посмотрите на него, разве оно не мертвец? Все мертво, и всюду мертвецы. Одни только люди, а кругом них молчание – вот земля!»¹⁰⁵

Брошенный в «диавольский хаос», в пасть чудовища, чье тело – пространство, а душа – время, несчастный ум человека, малый, как атом, протестует, бунтует, не принимая так созданный, так устроенный мир, проклиная все и вся и остается верен своему проклятию, ибо это проклятие его привилегия, которая более всего отличает его от других животных¹⁰⁶. Человек проклиная, тем самым мстит Тому, Кто создал его

проклятым. «Мы прокляты, жизнь людей проклята вообще!» Поэтому
«смелей, человек, и будь горд! Не ты виноват!»¹⁰⁷

2. Неприятие Христа

Насколько ум человеческий может объять мир и погрузиться в жестокую тайну мира, настолько же он должен признать: мир этот создан так, что человеческая логика и разум не могут ни принять, ни оправдать его. Но в этом мрачном и проклятом мире есть, как его составная часть, Существо, Которое ум человеческий или должен добровольно принять, или сойти с ума. Это Существо так неразрывно соединено с судьбами мира, что этот мир на Нем и стоит, и падает. Это необычное и судьбоносное Существо есть – Христос. По Своей непреодолимой исторической сути Он весь принадлежит этому миру, но по Своей бескрайней доброте и неизмеримой любви Он как бы не от мира сего. Как быть с Ним? Куда Его деть? Наш ум не может ни обойтись без Него, ни отвергнуть Его, не может отречься от Него с тем, чтобы не отречься тем самым от самих себя и начал, на которых стоим.

Присутствие Христа в мире очень усложняет проблему мира. Если искренне и беспристрастно подойти к проблеме мира, то ее нельзя решить полностью и окончательно, если не будет в то же время решена и проблема Христа. Это ясно ощущают антигерои Достоевского. Их мятежный дух соглашается, что проблема мира не может быть решена только неприятием этого мира. Разбуженные трагедией мира, они не могут не заметить Христа, тесную и очевидную связь Христа с этим миром. А поэтому и приступают к проблеме Христа осмысленно, смело и искренне.

Они говоря: Христос – Логос мира, логика мира, Разум мира, смысл жизни и оправдание жизни. Но евклидов ум человека утверждает: мир – это безумное чудовище, вне логоса, вне логики, а жизнь – неоправданная бессмыслица, ужас и хаос. Раздираемый абсурдностью этого мира, человек судорожно корчится и вопрошает: «Возможно ли, чтобы где-то было существо, способное оправдать существование этого мира в человеческом сознании, сгладить все зло этого мира и искупить все его страдание»? Ему отвечают: «Христос и есть это Существо». Но это убеждение не снимает постановку следующего вопроса: «Возможно ли сгладить все зло и быть искупителем такого мира, который по своему устройству исключает всякую возможность искупления»? Но если и такая возможность допустима, тогда следует еще вопрос: «Может ли малюсенький евклидов ум человека признать и призвать Христа как Логос, логику, Разум мира, как смысл и оправдание жизни, если Его личность и Его план спасения

мира не вместимы в узкие категории человеческого разума?»

Иван Карамазов ставит проблему Христа шире и раскованнее, чем кто-либо. Христа и Его план спасения мира он подвергает такой критике, которой люди ранее не знали. Вся так называемая высокая критика всех этих Дреусов и Штраусов, Ренанов и Бауэров – сущая наивность в сравнении с ужасающей критикой, которой подвергает Иван Карамазов Христа. Он сильно чувствует и явно осознает богочеловеческую историчность Христа. Во Христе он видит Богочеловека. Следуя фактам, он не может не считать Христа Творцом и Спасителем мира. Он отталкивается от этих факторов, как от чего-то самого лучшего в истории нашей планеты. Глубоко убежденный во всем этом, он, тем не менее, беспощадно критикует Христа – Спасителя мира, немилосердно критикует Христа – Творца мира. А чтобы критика была более проникновенной, более искренней и реалистичной, Иван придает ей форму поэмы. Поэма называется «Великий инквизитор». В поэме Ивана главные личности – Христос и Великий инквизитор. Реализм Личности Христа вобрал в себя всю несказанную прелесть Его евангельской возвышенности и богочеловеческого совершенства, а реализм Великого инквизитора излучает тяжкую трагедию человеческого существа, существа, чья критика дышит логикой космического зла и печалью земного отчаяния. Встреча этих личностей представляет самую драматическую страницу поэмы. Очень значительно и верно евангельской историософии то, что Христос в поэме не говорит ничего, Он только приходит и уходит.

Событие происходит в Испании, в городе Севилье, в страшное время инквизиции, когда во славу Божию каждый день полыхали костры, когда на «великолепных» судилищах (аутодафе) сжигали еретиков. И Христос захотел посетить детей Своих, и именно там, где в это время сжигали еретиков. И по Своему неизмеримому милосердию Он приходит еще раз к людям в том самом человеческом облике, в котором ходил среди людей тридцать лет и три года. Он ступает на жаркие улицы Севильи, где прошедшей ночью на «великолепном аутодафе» в присутствии короля, двора витязей, кардинала и прекрасных придворных дам, перед многочисленным населением всей Севильи кардинал, Великий инквизитор, сжег почти сотню еретиков *ad maiorem Dei gloriam* – ради великой славы Божьей.

Он появляется тихо, незаметно, – но, о чудо! все Его сразу же узнают. Народ бросается к Нему, окружает Его, собирается вокруг Него толпами, следует за Ним. Он молча проходит среди них с тихой улыбкой бесконечной жалости. Солнце любви горит в Его сердце, зраки светлости,

просветления и силы сияют в Его глазах и изливаются на людей, потрясают их сердца любовью, которая откликается на все. Он простирает к ним руки, благословляет их, и от прикосновения к Нему, даже только к одеждам Его, исходит целительная сила...

Вдруг из толпы раздается голос некоего старца, слепого с детства: «Господи, исцели меня, чтобы и я увидел Тебя!» И, о чудо! пелена спадает с его очей, и слепой видит Его. Народ плачет и целует землю, по которой Он ступает. Дети бросают перед Ним цветы, поют и восклицают: «Осанна! Это Он, это Он Сам! – повторяют все. – Это должен быть Он и никто другой! Он, только Он!»

«Он останавливается на паперти Севильского собора в ту самую минуту, когда во храм вносят с плачем детский открытый белый гробик: в нем семилетняя девочка, единственная дочь одного знатного гражданина. Мертвый ребенок лежит весь в цветах. «Он воскресит твое дитя», – кричат из толпы плачущей матери. Вышедший навстречу гроба соборный патер смотрит в недоумении и хмурит брови. Но вот раздается вопль матери умершего ребенка. Она повергается к ногам Его: «Если это Ты, то воскреси дитя мое!» – восклицает она, простирая к Нему руки. Процессия останавливается, гробик опускают на папёрть к ногам Его. Он глядит с состраданием, и уста Его тихо и еще раз произносят: «Талифа куми» – «и возста девица». Девочка подымается во гробе, садится и смотрит, улыбаясь, удивленными раскрытыми глазками кругом. В руках ее букет белых роз, с которым она лежала в гробу. В народе смятение, крики, рыдания, – и вот, в эту самую минуту вдруг проходит мимо собора по площади сам кардинал, великий инквизитор. Это девяностолетний, почти старик, высокий и прямой, с иссохшим лицом, со впалыми глазами, но из которых еще светится, как огненная искорка, блеск. О, он не в великолепных кардинальских одеждах своих, в каких красовался вчера перед народом, когда сжигали врагов римской веры, – нет, в эту минуту он лишь в старой, грубой монашеской своей рясе. За ним на известном расстоянии следуют мрачные помощники и рабы его и «священная» стража. Он останавливается перед толпой и наблюдает издали. Он все видел, он видел, как поставили гроб у ног Его, видел, как воскресла девица, и лицо его омрачилось. Он хмурит седые густые брови свои, и взгляд его сверкает зловещим огнем. Он простирает перст свой и велит стражам взять Его. И вот, такова его сила и до того уж приучен, покорен и трепетно послушен ему народ, что толпа немедленно раздвигается перед стражами, и те, среди вдруг наступившего гробового молчания, налагают на Него руки и уводят Его. Толпа моментально, вся, как один человек,

склоняется головами до земли пред старцем-инквизитором; тот молча благословляет народ и проходит мимо. Стража проводит Пленника в тесную и мрачную сводчатую тюрьму в древнем здании Святого Судилища и запирает в нее. Проходит день, наступает темная, горячая и «бездыханная севильская ночь». Воздух «лавром и лимоном пахнет». Среди глубокого мрака вдруг отворяется железная дверь тюрьмы, и сам старик великий инквизитор со светильником в руках медленно входит в тюрьму. Он один, дверь за ним тотчас запирается. Он останавливается при входе и долго, минуту или две всматривается в лицо Его. Наконец тихо подходит, ставит светильник на стол и говорит Ему:

– Это Ты? Ты?

Но не получая ответа, быстро прибавляет:

– Не отвечай, молчи. Да и что бы Ты мог сказать? Я слишком знаю, что Ты скажешь. Да Ты и права не имеешь ничего прибавлять к тому, что уже сказано Тобой прежде. Зачем Ты пришел нам мешать? Ибо Ты пришел нам мешать, и Сам это знаешь. Но знаешь ли, что будет завтра? Я не знаю, кто Ты, и знать не хочу. Ты ли это или только подобие Его, но завтра я осужу и сожгу Тебя на костре, как злейшего из еретиков, и тот самый народ, который сегодня целовал Твои ноги, завтра же по одному моему мановению бросится подгребать к Твоему костру угли, знаешь Ты это? Да, Ты, может быть, это знаешь, – прибавил он в проникновенном раздумье, ни на мгновение не отрываясь взглядом от своего Пленника»¹⁰⁸.

Никогда и никто не смел так дерзко разговаривать с Христом, как Великий инквизитор Ивана. По схоластической логике и по казуистической этике Великого инквизитора, для настоящего евангельского Христа нет больше места на этой планете. Все, что Он заслуживает – это смерть на костре. Идеолог и апологет инквизиции, Великий инквизитор вершит в действительности страшный суд над Христом. Если бы род людской по каким-либо причинам когда-нибудь захотел учинить страшный суд над Христом, он спокойно мог бы для этой цели прибегнуть к услугам Великого инквизитора Ивана как к неизменному исполнителю этого суда, ибо он страшнее, немилосерднее и логичнее чем кто-либо осуждает Христа и Его план спасения мира.

В мире, основанном на абсурде, не может быть осуществлен идеальный план Христа по спасению мира. Поэтому инквизитор предлагает свой план, утверждая следующее: человеческая природа слишком низка, грязна, несовершенна в сравнении с тем, какой ее Себе представляет мечтатель Христос, предлагая фантастический план спасения мира. Христос проявил Себя как «самый худший еретик» по

отношению к человеческой натуре, еретик, которого необходимо немедленно сжечь.

По мнению Великого инквизитора, Свой идеалистический план о спасении мира Христос представил в Своих ответах Искусителю в пустыне. А своими вопросами Искуситель изложил свое понимание мира и его проблем. Три вопроса Искусителя представляют самое великое, потрясающее чудо, происшедшее на земле, ибо в них выражена вся история рода людского. В них воплощаются все неразрешимые исторические противоречия человеческой природы, к этому ничего нельзя ни добавить, ни от этого отнять.

Без сомнения, и Искуситель, и Искушаемый выражают свои философские взгляды на мир и свои планы об устройстве мира; первый – своими вопросами, Второй – Своими ответами. Во всех трех вопросах Искуситель гениально выразил себя, показал свою сущность, изложил свою биографию, определил свою суть. Чтобы соблазнить Искушаемого, он собрал все зло, мобилизовал все темные силы и явил себя духом умным и страшным, воплощающим космическое зло. Он искушал Христа всеми искушениями (Мф.4:1–11; Мк.1:12–13; Лк.4:1–13; ср. Евр.4:15) и тем самым раскрыл планы и методы своей работы в мире.

Ибо все искушения, которыми Искуситель искушает людей во все времена, это ничто другое, как подробно разработанные три искушения, предложенные Христу в пустыне.

«Если бы возможно было помыслить, – говорит инквизитор Христу, – лишь для пробы и для примера, что три вопроса страшного духа бесследно утрачены в книгах и что их надо восстановить, вновь придумать и сочинить, чтоб внести опять в книги, и для этого собрать всех мудрецов земных – правителей, первосвященников, ученых, философов, поэтов, и задать им задачу: придумайте, сочините три вопроса, но такие, которые мало того, что соответствовали бы размеру события, но и выражали бы сверх того, в трех словах, в трех только фразах человеческих всю будущую историю мира и человечества, то думаешь ли Ты, что вся премудрость земли, вместе соединившаяся, могла бы придумать хоть что-нибудь подобное по силе и глубине тем трем вопросам, которые действительно были предложены Тебе тогда могучим и умным духом в пустыне? Уж по одним вопросам этим, лишь по чуду их появления, можно понимать, что имеешь дело не с человеческим текущим умом, а с вековечным и абсолютным. Ибо в этих трех вопросах как бы совокуплена в одно целое и предсказана вся дальнейшая история человеческая и явлены три образа, в которых сойдутся все неразрешимые исторические противоречия

человеческой природы на всей земле. Тогда это не могло быть еще так видно, ибо будущее было неведомо, но теперь, когда прошло пятнадцать веков, мы видим, что все в этих трех вопросах до того угадано и предсказано и до того оправдалось, что прибавить к ним или убавить от них ничего нельзя более»¹⁰⁹.

Великий инквизитор, без сомнения, прав, когда подчеркивает исключительную важность искушения Христа в пустыне. Он искусно сравнивает два плана спасения мира: план Искусителя и план Искушаемого, он проверяет их осуществимость в этом мире, сравнивает их, насколько они полезны для людей, и приходит к поразительному заключению: только советы великого и страшного духа могли бы при поддержании сносного порядка создать условия безопасного существования этим слабосильным бунтовщикам, этим недозавершенным созданиям, которые созданы «как бы для опыта и как бы в насмешку»¹¹⁰.

Великий инквизитор обвиняет Христа в том, что Он отверг советы «умного и страшного духа». «Таким образом, – говорит он Христу, – Сам Ты положил основание к разрушению Своего же Царства, и не вини никого в этом более. А между тем, то ли предполагалось Тебе? Есть три силы, единственные три силы на земле, могущие навеки победить и пленить совесть этих слабосильных бунтовщиков для их счастья; эти силы: чудо, тайна и авторитет. Ты отверг и то, и другое, и третье, и Сам подал пример тому»¹¹¹.

Диалектика критики Христа Великим инквизитором соблазнительно неопровержима. Во имя человека инквизитор восстает против Богочеловека. Это главный мотив неприятия Христа. Любовь к человеку заставляет инквизитора отвергнуть Богочеловека. Он стоит на стороне Искусителя и восстает против Искушаемого. Первый совет Искусителя, предложенный Христу – претворить камни в хлебы, то есть вначале решить экономический вопрос, а потом начать исповедовать Евангелие – Христос решительно отвергает, подчеркивая, что человек жив не только хлебом единым, но и всяким словом, исходящим из уст Божиих.

Кто же прав: Христос или Искуситель? Искуситель, отвечает Великий инквизитор, ибо он предлагает человеку, этому слабому и мятежному созданию, то, что отвечает потребностям его естества. А Христос – Он слишком идеализирует человека. Он не хочет, чтобы послушание и любовь людей к Нему были куплены хлебами, но предоставляет им свободу, чтобы они сами сделали выбор в отношении вечных ценностей, которые Он им предлагает. Первым советом Искуситель как бы говорит Христу: «Ты хочешь идти в мир и идешь с голыми руками, с каким-то обетом свободы,

которого они, в простоте своей и в прирожденном бесчинстве своем, не могут осмыслить, которого боятся они и страшатся, ибо ничего и никогда не было для человека и для человеческого общества невыносимее свободы! А видишь ли сии камни в этой нагой и раскаленной пустыне? Обрати их в хлебы, и за Тобой побежит человечество, как стадо, благодарное и послушное, хотя и вечно трепещущее, что Ты отымешь руку Свою и прекратятся им хлебы Твои. Но Ты не захотел лишить человека свободы и отверг предложение, ибо какая же свобода, рассудил Ты, если послушание куплено хлебами? Ты возразил, что человек жив не единым хлебом, но, знаешь ли, что во имя этого самого хлеба земного и восстанет на Тебя дух земли и сразится с Тобою и победит Тебя, и все пойдут за ним, восклицая: «Кто подобен зверю сему, он дал нам огонь с небеси!»¹¹²

Инквизитор сужает рамки человеческого естества, а тем самым и потребности его природы. Человек, чья суть тяготеет к телу, мучается свободой совести, которую ему Творец вложил в душу. Все мучения человека происходят от свободы, ибо человек не может с ней совладать в этом загадочном и проклятом мире. Не лучше ли свести человека к телу и все его потребности – к потребностям телесным? Тогда насколько было бы проще быть человеком! Если парализовать совесть в человеке и свободу его выбора, тогда для него не будет существовать ни добро, ни зло, ни грех, ни преступление. Такому человеку легко быть человеком в этом трагическом мире.

Охваченный этим мучительным рассуждением инквизитор говорит Христу: «Знаешь ли Ты, что пройдут века и все человечество провозгласит устами своей мудрости и науки, что преступления нет, а стало быть, нет и греха, есть только голодные. «Накорми, тогда и спрашивай с них добродетели!» – вот что напишут на знамени, которое воздвигнут против Тебя и которым разрушится храм Твой. На месте Твоего воздвигнется новое здание, воздвигнется вновь страшная Вавилонская башня, хотя и эта не достроится, как и прежняя, но все же Ты бы мог избежать этой новой башни и на тысячу лет сократить страдания людей, – ибо к нам же ведь придут они, промучившись тысячу лет со своей башней! Они отыщут нас тогда опять под землей, в катакомбах скрывающихся (ибо мы будем вновь гонимы и мучимы), найдут нас и возопиют нам: «Накормите нас, ибо те, которые обещали нам огонь с небеси, его не дали». И тогда уже мы и достроим их башню, ибо достроит тот, кто накормит, а накормим лишь мы – во имя Твое, и солжем, что во имя Твое. О, никогда, никогда без нас они не накормят себя! Никакая наука не даст им хлеба, пока они будут оставаться свободными. Но кончится тем, что они принесут свою свободу

к ногам нашим и скажут нам: «Лучше поработите нас, но накормите нас». Поймут наконец сами, что свобода и хлеб земной вдоволь для всякого вместе немислимы, ибо никогда, никогда не смеют они разделиться между собой! Убедятся тоже, что не могут быть никогда и свободными, потому что малосильны, порочны, ничтожны и бунтовщики»¹¹³.

Свобода – самый загадочный и самый страшный дар Творца человеку. Пользоваться свободой совести и не злоупотреблять ею – это самое проклятое мучение в жизни человека на земле. Христос же свободу ставит превыше всего, ибо свобода делает человека человеком. Поэтому во имя свободы Он отвергает первое предложение Искушителя. Между тем, по мнению Великого инквизитора, в этом предложении заключена великая тайна сего мира. Если бы Христос согласился принять «хлебы», Он бы тем самым снял всеобщую, вековечную тоску, муку человека, как отдельного существа, так и всего человечества в целом, этот груз неизвестности – кому поклониться? «Ибо нет заботы непрерывнее и мучительнее для человека, как, оставшись свободным, сыскать поскорее того, пред кем преклониться»¹¹⁴.

Во имя свободы и хлеба небесного Христос отверг единственное надежное средство, с помощью которого Он мог бы покорить всех людей. Средство это – хлеб земной. С печалью инквизитор укоряет Христа за это: «Ты отверг единственное и абсолютное знамя, которое предлагалось Тебе, чтобы заставить всех преклониться пред Тобою бесспорно, – знамя хлеба земного, и отверг во имя свободы и хлеба небесного. Взгляни же, что сделал Ты далее. И все опять во имя свободы! Говорю Тебе, что нет у человека заботы мучительнее, как найти того, кому бы передать поскорее тот дар свободы, с которым это несчастное существо рождается. Но овладевает свободой людей лишь тот, кто успокоит их совесть. С хлебом Тебе давалось бесспорное знамя: дашь хлеб, и человек преклонится, ибо ничего нет бесспорнее хлеба, но если в то же время кто-нибудь овладеет его совестью помимо Тебя, – о, тогда он даже бросит хлеб Твой и пойдет за тем, который обольстит его совесть. В этом Ты был прав. Ибо тайна бытия человеческого не в том, чтобы только жить, а в том, для чего жить. Без твердого представления себе, для чего ему жить, человек не согласится жить и скорей истребит себя, чем останется на земле. Хотя бы кругом его все были хлебы. Это так, но что же вышло: вместо того чтобы овладеть свободой людей, Ты увеличил им ее еще больше! Или Ты забыл, что спокойствие и даже смерть человеку дороже выбора в познании добра и зла?

Нет ничего обольстительнее для человека, как свобода совести, но нет

ничего и мучительнее. И вот, вместо твердых основ для успокоения совести человеческой раз и навсегда – Ты взял все, что есть необычайного, гадательного и неопределенного, взял все, что было не по силам людей, а потому поступил как бы и не любя их вовсе, – и это кто же: Тот, Который пришел отдать за них жизнь Свою! Вместо того, чтоб овладеть людской свободой, Ты умножил ее и обременил ее мучениями душевное царство человека веками. Ты возжелал свободной любви человека, чтобы свободно пошел он за Тобою, прельщенный и плененный Тобою. Вместо твердого древнего закона, свободным сердцем должен был человек решать впредь сам, что добро и что зло, имея лишь в руководстве Твой образ пред собою, – но неужели Ты не подумал, что он отвергнет же наконец и оспорит даже и Твой образ и Твою правду, если его угнетут таким страшным бременем, как свобода выбора? Они воскликнут наконец, что правда не в Тебе, ибо невозможно было оставить их в смятении и мучении больше, чем сделал Ты, оставив им столько забот и неразрешимых задач»¹¹⁵.

Бунт инквизитора против Христа, по существу – бунт против Творца, Который создал такого человека и такой мир. Зачем человек создан таким, с такими качествами и недостатками? Для чего человеку дана свобода, если он со всех сторон находится в плену обязательных естественных законов, которые по-людоедски управляют этим миром, худшим из всех возможных миров? В свободе, с которой человек рождается, сокрыта главная причина всех его невзгод и мучений.

Критика инквизитором человека, того, как он устроен, во многом схожа с учением современной позитивистской науки о человеке. По этому учению, человек является неизбежным продуктом всех творческих сил, действующих в этом мире по законам некоей неотвратимой необходимости. Свобода человека – это иллюзия или обман, или же необъяснимое исключение из правила, которое в царстве необходимости имеет особое значение. По логике позитивистской науки свобода невозможна в мире необходимости. Наличие свободы в царстве всеобщей необходимости представляет неразрешимую проблему для научной позитивистской мысли. Для науки легче иметь дело с человеком, который не обладает свободой. Человек без свободы несравненно проще, примитивнее и более понятное существо, нежели человек со свободой. В этом упрощении человека они дошли в конце концов до механического человека – робота. Необходимость властвует над всем механизмом мира, человек – лишь часть этого механизма; все, что в нем происходит – происходит из-за необходимости; все, что он делает – он делает по необходимости; свобода не только не осуществима, но и не нужна, ибо

необходимость – это все и вся. Если эту логику перевести на язык этики, то она звучала бы следующим образом: нет преступления, нет греха, нет зла, а если есть преступление, есть грех, есть зло, то тогда преступление, и грех, и зло необходимы, и человек ни в чем не повинен. Великий инквизитор и современная позитивистская наука оказались в согласии, и нам их зловещая, бредовая логика говорит: все свершается по необходимости: и страдания, и радость, и смерть, и жизнь, и зло, и добро, и грех, и преступление. Но именно из-за того, что все происходит по необходимости, именно поэтому жизнь – невыносимый ужас, а человек – непоправимая ошибка мироздания.

Великий инквизитор терзается мыслью о том, что человек неправильно создан, ибо создан свободным. И тот, кто способствует свободе – враг человеку. Христос все основывает на свободе человеческой воли, поэтому Великий инквизитор восстает против Него. Цель второго предложения Искусителя состоит в том, чтобы уговорить Христа узаконить чудо как единственное средство осуществления Христова плана искупления. Другими словами, он предлагает Христу привлечь людей к Себе не любовью, но страшной силой чудотворения, силой, которая своим величием принуждала бы малюсенькое людское сознание к принятию Христа не по любви и не по свободе личного определения, но из-за растерянности, из-за страха, из-за необходимости. По сути, Искуситель предлагает Христу уничтожить в человеке свободу воли и совести и тем самым показать Творцу, что Он ошибся, создав человека свободным. И эта ошибка Творца – источник всех человеческих страданий и мучений. В ней же (ошибке) – причина и всех неудач Творца относительно человека и мира.

Как двойник Искусителя, инквизитор говорит: «Когда страшный и премудрый дух поставил Тебя на вершине холма и сказал Тебе: «Если хочешь узнать, Сын ли Ты Божий, то верзись вниз, ибо сказано про Того, что Ангелы подхватят и понесут Его и не упадет и не расшибется, и узнаешь тогда, Сын ли Ты Божий. И докажешь тогда, какова вера Твоя в Отца Твоего». Но Ты, выслушав, отверг предложение и не поддался и не бросился вниз. О, конечно, Ты поступил и тут великолепно, как Бог, но люди-то, но слабое бунтующее племя это – они-то боги ли?.. Но, повторяю, много ли таких, как Ты? И неужели Ты в самом деле мог допустить хоть на минуту, что людям будет под силу подобное искушение? Так ли создана природа человеческая, чтоб отвергнуть чудо и в такие страшные моменты жизни, моменты самых страшных основных и мучительных вопросов своих, оставаться со свободным решением

сердца?.. Но Ты не знал, что чуть лишь человек отвергнет чудо, то тотчас отвергнет и Бога, ибо человек ищет не столько Бога, сколько чудес. И так как человек остаться без чуда не в силах, то насоздаст себе новых чудес, уже собственных, и поклонится уже знахарскому чуду, бабьему колдовству, хотя бы он сто раз был бунтовщиком, еретиком и безбожником»¹¹⁶.

Человек – бедная частица несчастной евклидовой бессмыслицы, называемой миром. Христос слишком высокого мнения о человеке. Он не желает чудом пленить и поработить человека и властвовать над ним. Он жаждет свободной веры, а не «чудес». Он жаждет свободной любви, а не рабского восхищения раба силой господина, которая потрясла бы его навеки. Люди – рабы, хотя и созданы бунтовщиками. «Клянусь Тебе, – говорит инквизитор Христу, – человек слабее и ниже создан, чем Ты о нем думал! Может ли, может ли он исполнить то, что и Ты? Столь уважая его, Ты поступил, как бы перестав ему сострадать, потому что слишком много от него потребовал, – и это кто же, Тот, Который возлюбил его более Самого Себя! Уважая его менее, менее бы от него потребовал, а это было бы ближе любви, ибо легче была бы ноша его. Он слаб и подл»¹¹⁷.

Люди бунтовщики, но «бунтовщики слабосильные, собственного бунта своего не выдерживающие. Обливаясь глупыми слезами своими, они сознаются наконец, что создавший их бунтовщиками, без сомнения, хотел посмеяться над ними. Скажут они это в отчаянии, и сказанное ими будет богохульством, от которого они станут еще несчастнее, ибо природа человеческая не выносит богохульства и, в конце концов, сама же себе всегда и отомстит за него»¹¹⁸.

Своей Личностью, делами и учением Христос внес невиданную путаницу в человеческую совесть. Не велико, весьма не велико число тех, которые могут идти за Ним. А неизбежное большинство страдает и пропадает в своей врожденной немощи, невольной испорченности и беспомощной ничтожности. Ну как же не исправить «человеколюбивому» инквизитору дело Христа, подвиг Христов? Это он и делает, освобождая сердца людей от страшного дара свободы и тем самым освобождая людей от ответственности за грехи, зло и преступления.

Воодушевленный своей идеей, инквизитор говорит Христу: «...Беспокойство, смятение и несчастье – вот теперешний удел людей после того, как Ты столь претерпел за свободу их! Великий пророк Твой в видении и в иносказании говорит, что видел всех участников первого воскресения и что было их из каждого колена по двадцати тысяч. Но если их было бы столько, то были и они как бы не люди, а боги. Они вытерпели

крест Твой, они вытерпели десятки лет голодной и нагой пустыни, питаюсь акридами и кореньями, – и уж конечно, Ты можешь с гордостью указать на этих детей свободы, свободной любви, свободной и великолепной жертвы их во имя Твое. Но вспомни, что их было всего только несколько тысяч, да и то богов, а остальные? И чем виноваты остальные слабые люди, что не могли вытерпеть того, что могучие? Чем виновата слабая душа, что не в силах вместить столь страшных даров? Да неужто же и впрямь приходил Ты лишь к избранным и для избранных? Но если так, то тут тайна, и нам не понять ее. А если тайна, то и мы вправе проповедать тайну и учить их, что не свободное решение сердец их важно и не любовь, а тайна, которой они повиноваться должны слепо, даже мимо совести. Так мы и сделали. Мы исправили подвиг Твой и основали его на чуде, тайне и авторитете. И люди обрадовались, что их вновь повели, как стадо, и что с сердец их снят наконец столь страшный дар, принесший им столько муки»¹¹⁹.

И если чувствует инквизитор тоску, бесконечную человеческую тоску, то вся она сосредоточена на трагическом осознании и болезненном чувстве, что Христос не познал человека до конца. Он слишком много от него ожидал, слишком много вечных ценностей ему предложил, а тем самым Себя и Свое дело обрек на поражение.

Тайная цель третьего предложения Искусителя Христу состоит в пламенном желании Искусителя принудить Христа принять «все царства мира сего» как средство, с помощью которого Он смог бы осуществить свой план по спасению рода людского, то есть основать Царство Небесное на зыбком фундаменте земных царств. Христос отверг предложение Искусителя и его метод во имя метода Божьего, во имя созидания Своего Небесного Царства, имеющего основание в Боге.

Великий инквизитор осуждает Христа, что Он отверг третье, последнее предложение Искусителя и тем самым обрек Свое Царство на провал и уничтожение. «Зачем Ты отверг этот последний дар? – спрашивает инквизитор Христа. – Приняв этот третий совет могучего, Ты восполнил бы все, что ищет человек на земле, то есть: пред кем преклониться, кому вручить совесть и каким образом соединиться наконец всем в бесспорный и согласный муравейник, ибо потребность всемирного соединения есть третье и последнее мучение людей. Всегда человечество в целом своем стремилось устроиться непременно всемирно. Много было великих народов с великой историей, но чем выше были эти народы, тем были и несчастнее, ибо сильнее других сознавали потребность всемирности соединения людей. Великие завоеватели, Тимуры и Чингисханы, пролетели как вихрь по земле, стремясь завоевать вселенную, но и

те же, хотя и бессознательно, выразили ту же самую великую потребность человечества ко всемирному и всеобщему единению. Приняв мир и порфиру Кесаря, основал бы всемирное царство и дал всемирный покой»¹²⁰.

Из-за того, что Христос отверг все три предложения Искуителя, с помощью которых, по мнению инквизитора, человечество единственно могло быть осчастливлено, и из-за того, что инквизиторский Рим принял предложения Искуителя и на них возводит здание человеческого счастья, – вследствие этого Христу нет больше места в царстве инквизитора. Более того, Его присутствие не только излишне, но и опасно. Инквизитор говорит Христу: «К чему же теперь пришел Ты нам мешать? И что Ты молча, проникновенно глядишь на меня кроткими глазами Своими? Рассердись, я не хочу любви Твоей, потому что сам не люблю Тебя. И что мне скрывать от Тебя? Или я не знаю, с Кем говорю? То, что я имею сказать Тебе, все Тебе уже известно, я читаю это в глазах Твоих. И я ли скрою от Тебя тайну нашу? Может быть, Ты именно хочешь услышать ее из уст моих, слушай же: «Мы не с Тобой, а с ним, вот наша тайна! Мы давно уже не с Тобой, а с ним»¹²¹ (т.е. Искуителем). Мы взяли от него Рим и меч Кесаря и объявили лишь себя царями земными, царями едиными, хотя и доньше не успели еще привести наше дело к полному окончанию... О, дело это до сих пор лишь в начале, но оно началось. Долго еще ждать завершения его и еще много выстрадает земля, но мы достигнем и будем кесарями, и тогда уже помыслим о всемирном счастье людей... То, что я говорю Тебе, сбудется, и царство наше созиждется. Повторяю Тебе, завтра же Ты увидишь это послушное стадо, которое по первому мановению моему бросится подгрести горячие угли к костру Твоему, на котором сожгут Тебя за то, что пришел нам мешать. Ибо если был, кто всех более заслужил наш костер, то это Ты! Завтра сожгут Тебя. Dixi»¹²².

Евклидов ум человека не принимает мир, не принимает и Христа, ибо таким образом созданный и построенный мир – бессмыслица, которую невозможно ни оправдать, ни искупить. Искупительный план Христа и Его спасительный подвиг – «безумие». Жестокая необходимость – суть немилосердных естественных законов. Они не позволяют войти в этот мир ничему Божественному. Они кровожадно уничтожают не только все человеческое, но и все Божественное. «Слушай большую идею: был на земле один день, и в середине земли стояли три креста. Один на кресте до того веровал, что сказал другому: «будешь сегодня со Мною в раю». Кончился день, оба померли, пошли и не нашли ни рая, ни воскресения. Не оправдалось сказанное. Слушай: этот Человек был высший на всей земле,

составлял то, для чего ей жить. Вся планета, со всем, что на ней, без этого Человека – одно сумасшествие. Не было ни прежде, ни после Его такого же, никогда, даже до чуда. В том и чудо, что не было и не будет такого уже никогда. А если так, *если законы природы не пожелали этого*¹²³, даже чудо свое не пожалели, а заставили Его жить среди лжи и умереть за ложь, то, стало быть, вся планета есть ложь и стоит на лжи и глупой насмешке. Стало быть, самые законы планеты – ложь и диаволов водевиль. Для чего же жить, отвечай, если ты человек?»¹²⁴

Мир со всей его ужасающей действительностью и человек со всеми своими жестокими свойствами не только доказывают, что есть Бог, но и полностью Его отрицают. В таком мире и из-за такого мира невозможно найти Бога. Так называемое космологическое доказательство существования Бога всего лишь наивная глупость. «И действительно, человек выдумал Бога, – говорит Иван. – И не то странно, не было бы дивно, что Бог в самом деле существует, но то дивно, что такая мысль – мысль о необходимости Бога – могла засесть в голову такому дикому и злему животному, каков человек, до того она свята, до того трогательна, до того премудра и до того она делает честь человеку»¹²⁵.

Измученный решением вековой проблемы существования Бога и бессмертия души, слабый евклидов ум человека наконец приходит к единственно возможному решению: нет Бога, нет и бессмертия.

– Иван, говори: есть ли Бог или нет?

– Нет, нету Бога.

– Иван, а бессмертие есть, ну там какое-нибудь, ну хоть маленькое, малюсенькое?

– Нет и бессмертия.

– Никакого?

– Никакого.

– То есть совершенный нуль или ничего. Может быть, нечто какое-нибудь есть? Все же ведь не ничто!

– Совершенный нуль.

– Кто же так смеется над человеком, Иван? В последний раз и решительно: есть Бог или нет? Я в последний раз!

– И в последний раз – нет.

– Кто же смеется над людьми, Иван?

– Черт, должно быть, – усмехнулся Иван Федорович.

– А черт есть?

– Нет, и черта нет¹²⁶.

Lafé's but a walking shadow, a poor player,

That spruts and frets his hour upon the stage
And then is heart no morè it is a tale
Told by an idion, full of sound and fury
Signifying nothing.

«То жизнь? Тень мимолетная, фигляр,
Неистово шумящий на подмостках
И через час забытый всеми; сказка
В устах глупца, богатая словами
И звоном фраз, но нищая значеньем».
(«Макбет» в переводе С.А. Венгерова)

Идеологи и творцы нового человека

Нет Бога, нет бессмертия, нет дьявола, но есть проклятые естественные законы, есть жуткие страдания, есть умопомрачающие ужасы. Что делать со всем этим бедному евклидову уму человека? Нет Бога, но есть боль, есть больное, несчастное, осмеянное существо, называемое человеком, существо, награжденное малым, как атом, умом. Вся природа его ума исчерпывается сознанием того, что этот мир – непереносимая бессмыслица, которая почивала на абсурдах.

Кажется, будто намеренно человеку дан ум, который не может ни мир принять, ни Бога понять. Он не находит в себе самой силы, которая приспособила бы его к этому миру и примирила бы с Богом. В нем (человеке), таком маленьком и слабеньком, есть нечто бескрайнее и безмерное. А это – страдание, исходящее от людоедского чудовища, которое миром зовется. Человеческая дилемма очевидна и ужасающа: или человек должен победить мир, или быть побежденным этим миром. Третьего не дано.

Призрачный ужас таким образом созданного мира приводит бедный человеческий ум в отчаяние, которое постепенно перерастает в сумасшествие. Человек или должен полностью измениться физически и духовно, или же принять мир таковым, каков он есть. Без этого же его судьба печальна и трагична: неустанно переносить нестерпимую тиранию всемогущего чудовища и осознанно быть рабом отвратительного насильника. Чтобы овладеть миром и изменить его облик, человек должен изменить себя. А чтобы овладеть идеей и планом мира, человек должен изменить свой евклидов ум.

Без этого, будучи таким, каким он является, человек – раб бессмысленной трагедии и бесстыдной комедии жизни. Некий причудливый ужас кромсает все, что есть человеческого в мире. И запуганный человек постоянно ощущает себя беспомощным человекокорабом в этом мире. В таком случае сознание есть самый проклятый дар, ибо зачем мне сознание, смысл которого в том, чтобы дать мне знание ужасающего факта: я – раб некоего отвратительного, но всемогущего чудовища. И чтобы спастись от гнусного рабства, человек должен перестать быть человекокорабом и стать человекобогом – другого выхода нет.

От человекокораба до человекобога – огромное расстояние. Чтобы стать человекобогом, бедный человекокораб должен вначале *de idea* и *de facto*¹²⁷

уничтожить всех остальных рабов. И не только это. Он должен обоготворить себя, чтобы было возможно собою заменить всех богов и все их законы. Только на кладбище богов своих предшественников человек может провозгласить себя человекобогом. В новом пантеоне человек должен быть единственным божеством, единственным идолом, которому поклонится вся тварь и ему, единственному, будет служить.

Человеческий ум не может мыслить иначе, нежели так: если Бог есть, то должен быть и Абсолют. Но когда человек сам хочет стать богом, он, по сути, хочет стать другим Абсолютом. Но два Абсолюта не могут существовать вместе в этом мире, ибо один исключает другой. Чтобы стать абсолютным господином этого мира, человекобог должен уничтожить всякий другой Абсолют. А поскольку Бог, если Он существует, это единственный Абсолют, то главная задача человекобога – уничтожить Бога и саму идею о Боге с корнем вырвать из душ людских. С уничтожением идеи о Боге одновременно уничтожается и идея бессмертия души. Перед кандидатом на должность человекобога стоит двойная задача: уничтожение идеи о Боге и бессмертии и управление миром в соответствии со своей самодержавной волей и могуществом.

Иван Карамазов

«По-моему, – утверждает Иван Карамазов, – разрушать ничего не надо, а надо всего только разрушить в человечестве идею о Боге, вот с чего надо приниматься за дело!.. Раз человечество отречется поголовно от Бога (а я верю, что этот период, параллель геологическим периодам, свершится), то само собой, без антропофагии, падет все прежнее мировоззрение и, главное, вся прежняя нравственность и наступит все новое. Люди совокупятся, чтобы взять от жизни все, что она может дать, но непременно для счастья и радости в одном только здешнем мире. Человек возвеличится духом божеской, титанической гордости и явится человекобог. Ежечасно побеждая уже без границ природу волею своею и наукой, человек тем самым ежечасно будет ощущать наслаждение столь высокое, что оно заменит ему все прежние упования наслаждений небесных. Всякий узнает, что он смертен весь, без воскресения, и примет смерть гордо и спокойно, как бог. Он из гордости поймет, что ему нечего роптать на то, что жизнь есть мгновение, и возлюбит брата своего уже без всякой мзды. Любовь будет удовлетворять лишь мгновению жизни, но одно уже сознание ее мгновенности усилит огонь ее настолько, насколько прежде расплывалась она в упованиях на любовь загробную и бесконечную»¹²⁸.

В человеческой гордости есть некая темная бесконечность. Завороженный ею человек считает, что все может, ибо контроль совести прекращается, как только начинается господство гордыни. Гордыня начинает всячески вытеснять из души человека все здравые мерки истины и навязывает себя как верховное мерило. Философия Ивана о человекобоге, возможно, могла бы представлять лишь только теоретическую значимость при условии, если бы человек и человечество не обладали такой созидательной силой, которая смогла бы осуществить в жизни основной замысел этой философии. Но если человек и человечество располагают *in pace*¹²⁹ этой силой, то возникает вопрос: сможет ли когда-нибудь наступить такое время, когда идея человекобожества сможет овладеть всем человечеством и воплотиться в полноте и абсолютно?

Сможет ли человек и сможет ли когда-нибудь человечество полностью уничтожить идею о Боге в своей душе? Может ли наступить когда-нибудь такое время? «Если наступит, то все решено, – думает Иван, – и человечество устроится окончательно. Но так как, ввиду закоренелой глупости человеческой, это, пожалуй, еще в тысячу лет не устроится, то

всякому, сознающему уже и теперь истину, позволительно устроиться совершенно как ему угодно, на новых началах. В этом смысле ему «все дозволено». Мало того: если даже период этот и никогда не наступит, и то, как Бога и бессмертия все-таки нет, то новому человеку позволительно стать человекобогом, даже хотя бы одному в целом мире, и уж, конечно, в новом чине с легким сердцем перескочить всякую прежнюю нравственную преграду прежнего человека-раба, если оно понадобится. Для Бога не существует закона! Где станет Бог – там уже место Божие! Где стану я, там сейчас же будет первое место... «Все дозволено» и шабаш!»¹³⁰.

Атеизм неизбежно перерастает в анархизм. Мортализм – близнец атеизма. Без-божие по своей природе всегда – без-законие. Иван, без сомнения прав, когда по всем законам логики анархизм выводит из атеизма и мортализма. Но анархизм – это только один из видов аморализма. Иван погружается в мир человеческих ценностей все глубже и глубже. Его смелая мысль виртуозно анализирует атеизм и мортализм и наглядно показывает, что аморализм – их родное дитя. Если нет Бога и нет бессмертия, тогда нет ни добра, ни зла. Человек – высшая ценность и единственный творец всех законов и мерил.

Если будет уничтожена в человечестве вера в Бога и бессмертие души, то человек окажется по другую сторону добра и зла и для него ничто не будет аморально. Более того, ему будет все дозволено, даже людоедство. Но Иван – человек, который любит законченную и обоснованную мысль. И в этом случае он доводит свою мысль до конца. Он утверждает, что для каждого частного лица, не верующего ни в Бога, ни в бессмертие свое, «нравственный закон природы должен немедленно измениться в полную противоположность прежнему религиозному, и что эгоизм даже до злодейства не только должен быть дозволен человеку, но даже признан необходимым, самым разумным, чуть ли не благороднейшим исходом в его положении»¹³¹. «Злодейство не только должно быть дозволено, но даже признано самым необходимым и самым умным выходом из положения всякого безбожника»¹³².

Человекобогу и кандидату в человекобога «все дозволено». Но против этого восстает человеческая совесть. «Совесть! Что совесть? Я сам ее делаю. Зачем же я мучаюсь? По привычке. По всемирной человеческой привычке за семь тысяч лет. Так отвыкнем и будем боги!»¹³³

Кириллов

Идея о человекобоге поглощает Кириллова. Из головы она перешла в его сердце, разлилась в крови, впиталась в тело, воплотилась в душе. Не он имеет эту идею, а идея имеет его, властвует над ним, ибо проросла в нем. Силой своей воли он перенес ее в свои инстинкты, и она стала его главным инстинктом.

Сознательно и неосознанно, вольно и инстинктивно он мучается постоянной мукой: как идею о человекобоге сделать понятной, доступной и приемлемой для всех людей. Но чтобы человек стал богом, нужно отреститься от старого Бога, прогнать Его из людской природы, из человеческого мира.

Как только Кириллов начинает заниматься собой, он всюду натывается на проблему Бога: «Я не могу о другом, я всю жизнь об одном. Меня Бог всю жизнь мучил»¹³⁴.

Исследуя происхождение идеи о Боге, Кириллов приходит к выводу, что человек не только носит эту идею в себе, но и болен ею. Эта идея – его главная боль, а ее причина – страх смерти. «Бог есть боль страха смерти. Кто победит боль и страх, тот сам станет бог. Тогда новая жизнь, тогда новый человек, все новое... Тогда историю будут делить на две части: от гориллы до уничтожения Бога, и от уничтожения Бога до...

– До гориллы?

– ... до перемены Земли и человека физически. Будет богом человек и переменится физически. И мир переменится, и дела переменятся, и мысли, и все чувства»¹³⁵. Боль как чувство – это нечто более глубокое и более естественное, нежели чувство страха. Большее число страданий связано с болью, нежели со страхом. Болевые ощущения несравненно теснее связывают человека с горним миром и Богом, нежели чувство страха. Поэтому Кириллов прав, когда идею о Боге тесно увязывает с чувством боли. Если надо уничтожить идею о Боге в человеке и человечестве, тогда прежде надо уничтожить ощущение боли. «Страх создал первых богов», – утверждал Лукреций. Это поверхностная и ограниченная мысль. Кириллов намного глубже погрузился в психологические истоки идеи о Боге. И если допустить на момент гипотезу, что некое психическое свойство создало богов, то этим свойством должна быть, прежде всего, боль, а не страх. В таком случае освободить человека от боли означает освободить его от богов. А убить богов – не что другое, как убить обман. Кириллов весь в этом мутном ощущении и мрачном размышлении.

– «Всякий, кто хочет главной свободы, тот должен сметь убить себя. Кто смеет убить себя, тот тайну обмана узнал. Дальше нет свободы; тут все, а дальше нет ничего. Кто смеет убить себя, тот бог. Теперь всякий может сделать, что Бога не будет и ничего не будет. Но никто еще ни разу не сделал.

– Самоубийц миллионы были. Но все не за тем, все со страхом и не для того. Не ради того, чтобы страх убить. Кто убьет себя только для того, чтобы страх убить, тот тотчас бог станет»¹³⁶.

Свобода, какого бы свойства она ни была, представляет величие человека, в положительном или отрицательном смысле. В свободе человек более всего похож на своего Творца, кто бы Он ни был.

Свобода более всего соединяет его с абсолютным. Если есть в человеке нечто абсолютное, то это – свобода. Человек проявляет свою суть более всего в собственной свободе. Апогей свободы – сделать нечто такое, что позволит ему возвыситься над всеми законами и будет направлено против всех законов. А это – свободно и сознательно лишить себя свободы, в которой суть личности человека и самосознания. А это значит – совершить самоубийство.

По диалектической арифметике Кириллова высший долг первого человекобога – совершить самоубийство, а через самоубийство – богоубийство. Ища судорожно и упорно свойство, которое могло бы выразить суть нового божества, Кириллов находит его в собственной воле, неограниченной и абсолютной.

– «Если Бог есть, то вся воля Его, из воли Его я не могу выйти. Если нет, то вся воля моя, и я обязан заявить своеволие.

– Своеволие? А почему обязаны?

– Потому что вся воля стала моя. Неужели никто на всей планете, кончив Бога и уверовав в своеволие, не осмелится заявить своеволие, в самом полном пункте? Это так, как бедный получил наследство и испугался, и не смеет подойти к мешку. Почитая себя малосильным владеть, я хочу заявить своеволие. Пусть один, но сделаю.

– И делайте.

– Я обязан себя застрелить, потому что самый полный пункт моего своеволия – это убить себя самому.

– Да ведь не один же вы себя убиваете; много самоубийц.

– С причиною. Но безо всякой причины, а только для своеволия – один я»¹³⁷.

Рядом с совершенно свободным Богом не может находиться абсолютно свободный человекобог. Чем более возвышается человек, тем

более должен умяляться Бог, до тех пор, пока человек не свергнет Его в небытие. Абсолютное всевластие и совершенство человекобога может наступить только на могиле убитого Бога и уничтоженной веры в Него.

«Я обязан неверие заявить, – утверждает Кириллов. – Для меня нет выше идеи – что Бога нет. За меня человеческая история. Человек только и делал, что выдумывал Бога, чтобы жить, не убивая себя, в этом – вся всемирная история до сих пор. Я один во всемирной истории не захотел первый раз выдумывать Бога. Пусть узнают раз и навсегда»¹³⁸.

Нет Бога. «Если нет Бога, тогда я сам бог, – заявляет Кириллов. – Вся ложь от того, что был прежний Бог... все спасение для всех – всем доказать эту мысль. Кто докажет? Я! Я не понимаю, как мог до сих пор атеист знать, что нет Бога, и не сознать в тот же раз, что сам богом стал – есть нелепость, иначе непременно убьешь себя сам. Если осознаешь – ты царь и уже не убьешь себя сам, а будешь жить до самой главной славы. Но один, тот, кто первый, должен убить себя сам непременно, иначе кто же начнет и докажет? Это я убью себя сам непременно, чтобы начать и доказать. Я еще только бог поневоле, *и я несчастен, ибо обязан*¹³⁹ заявить своеволие. Все несчастны, потому что все боятся заявлять своеволие. Человек потому и был до сих пор так несчастен и беден, что боялся заявить самый главный пункт своеволия и своевольничал с краю, как школьник. Я ужасно несчастен, ибо ужасно боюсь. Страх есть проклятие человека... Но я заявляю своеволие, я обязан уверовать, что не верую. Я начну и дверь отворю и спасу. Только это одно спасет всех людей и в следующем же поколении переродит физически; ибо в теперешнем физическом виде, сколько я думал, нельзя было человеку без прежнего Бога никак. Я три года искал атрибут божества моего и нашел: атрибут божества моего – своеволие! Это все, чем я могу в главном пункте показать непокорность и новую страшную свободу мою. Ибо она очень страшна. Я убиваю себя, чтобы показать непокорность и новую страшную свободу мою»¹⁴⁰

Логические критерии подпольного философа находят в Кириллове своего нового апологета. Свободная воля становится абсолютной ценностью и непогрешимым критерием всего человеческого и Божественного. Избирая свободную волю своим главным критерием, Кириллов ею оценивает все – все, что составляет человека, и все, что исходит от человека. Кириллов приходит к выводу: все на свете и в человеке – хорошо, все есть добро. Он первый человекобог, не различающий добро и зло. На высоте его небес добро и зло переливаются одно в другое. Он – вне добра и вне зла, он уравнивает добро со злом. Для Ивана – «все дозволено», для Кириллова – «все хорошо». И крайний

рационализм, и крайний волюнтаризм в своих конечных формах отрицают всякую возможность присутствия этики.

– «Все хорошо. Все, – говорит Кириллов. – Человек несчастлив потому, что не знает, что он счастлив; только поэтому. Это все, все! Кто узнает, тотчас сейчас станет счастлив, сию минуту... все хорошо. Я вдруг открыл.

– А кто с голоду умрет, а кто обидит и обесчестит девочку – это хорошо?

– Хорошо. И кто разmozжит голову ребенка, и то хорошо, и кто не разmozжит, и то хорошо. Все хорошо, все. Всем тем хорошо, кто знает, что все хорошо. Если бы они знали, что им хорошо, то им было бы хорошо, но пока они не знают, что им хорошо, то им будет нехорошо. Вот вся мысль, вся, больше нет никакой... Кто научит, что все хороши, тот мир закончит.

– Кто учил, Того распяли.

– Он придет, и имя ему будет – человекобог.

– Богочеловек?

– Человекобог, в этом разница»¹⁴¹.

Ставрогин

Ставрогин, как мне кажется, самая ужасная личность в мировой литературе. Ни у кого нет такого жестокого ума и такого ледяного сердца. По дерзости мысли и циничности поступков никто с ним не сравнится, даже сверхчеловек Ницше. «Цветы зла» Бодлера в сравнении с сатанинско-художественным злом Ставрогина – это как бы райское благоухание. Каждая его мысль, всякое чувство – это смердящий гнойник. Сам бог зла мог бы у него поучиться разнообразию, глубине и искусству зла.

Ставрогин – «гордый, как бог» и живет, как бог. Для него нет законов, он гордо и хладнокровно попирает все. Для него ничего не стоит пожертвовать жизнью, безразлично, чужой или своей¹⁴². Он отличается необыкновенной способностью ко злу, способностью, доходящей до гениальности¹⁴³. Никакая человеческая страсть не может овладеть им. Совершая самые гнусные преступления, он не теряет рассудка¹⁴⁴. Самые страшные вещи он осуществляет по задуманному плану, абсолютно осознанно¹⁴⁵.

Ни какая бы то ни было боль, ни чье-либо страдание не могут поколебать Ставрогина, точно так же ничто не может привести его в отчаяние. Ему не ведомо, почему зло – это плохо, а добро – хорошо. Он «не знает различия в красоте между какою-нибудь сладострастной зверскою шуткой и каким угодно подвигом, хотя бы даже жертвой жизнью для человечества...» В обоих полюсах он находит «совпадение красоты, одинаковость наслаждения»¹⁴⁶.

Тайна зла, похоже, воплотилась в Ставрогине. Он дышит ею. Ему не знакомы никакие препоны, никакой страх. На дуэли он хладнокровно стоит под пулей противника и сам убивает невозмутимо спокойно. «Если бы кто ударил его по щеке, то он бы и на дуэль не вызывал, а тут же, тотчас же убил бы обидчика: он именно был из таких. И убил бы с полным сознанием, а вовсе не вне себя». Похоже, «что он никогда и не знал тех ослепляющих порывов гнева, при которых уже нельзя рассуждать. При бесконечной злобе, овладевавшей им иногда, он все-таки всегда мог сохранить полную власть над собой»¹⁴⁷.

Ставрогин – атеист и чародей во зле¹⁴⁸. Как олицетворение крайнего атеизма и аморализма – это новый тип человека¹⁴⁹. Самые крайние формы атеизма и аморальности ему глубоко присущи. Ничто его не смущает, и в разочарование этот человек не впадает¹⁵⁰. И дух и тело его как бы оледенели в каком-то умопомрачительном ужасе. Никакие лучи Солнца не

могут растопить этот лед.

Все чуждо Ставрогину, и он чужд всему. Его, оледеневшего от жизненного ужаса, не соединяет с миром ни один нерв любви. Он не может ужиться с этим миром. Нечто беспредельно роковое и мрачное не дает ему наладить связь, мысленную или чувственную, между собой и вселенной. «Вызов здравому смыслу для него слишком прельстителен»¹⁵¹, В нем «позор и бессмыслица доходили до гениальности». Шатов говорит ему: «Вы не бродите с краю пропасти, а смело летите вниз головой»¹⁵².

Ставрогин – ледяное и жуткое Nicht-Sagung¹⁵³ этому миру, из него истекает только отрицание¹⁵⁴. Злость его хладнокровна, спокойна, если можно так выразиться, «разумная»¹⁵⁵, стало быть «самая отвратительная и самая страшная, какая может быть»¹⁵⁶. Он – как некий демон иронии во плоти, который иронизирует над всем миром. Иногда этот демон иронии проявляется в нем так необычайно цинично и так отвратительно, что «станет до ужаса гадко человеку»¹⁵⁷.

Некоторые знакомые Ставрогина называют его «премудрым змием», лукавым змием. Он очень умен, но, возможно, и помешан¹⁵⁸. «Лицо было бледное и суровое, но совсем как бы застывшее, неподвижное; брови немного сдвинуты и нахмурены: решительно он походил на бездушную восковую фигуру»¹⁵⁹. «Волосы его были что-то уж очень черны, светлые глаза его что-то уж очень спокойны и ясны, цвет лица что-то уж очень нежен и бел, румянец что-то уж слишком ярок и чист, зубы как жемчужины, губы как коралловые, – казалось бы, писанный красавец. А в то же время как будто и отвратителен... Лицо его напоминало маску»¹⁶⁰.

Ставрогин беспредельно горд; он не говорит или почти не говорит, но о нем говорят все. Он с самым большим презрением относится ко всем людским словам и выражениям, ибо никакие слова не в состоянии выразить его личность. Несмотря на свою обычную молчаливость, он вдохновитель и идеолог всех бесов. Вокруг него всегда атмосфера, полная мистики и ужасного предчувствия. Его идеи, как заразные микробы, проникают в души его знакомых и вызывают необычные брожения и болезни. По сути, приятели Ставрогина ничего другого и не делают, как только развивают его идеи до последних пределов. Благодаря им он живет жизнью настоящего человекобога.

Раскаявшийся атеист Шатов, некогда ученик Ставрогина, так ему говорит: «В Америке я лежал три месяца на соломе, рядом с одним... несчастным и узнал от него, что в то же самое время, когда вы насаждали в моем сердце Бога и родину, в то же самое время, даже, может быть, в те же самые дни, вы отравили сердце этого несчастного, этого маньяка,

Кириллова, ядом... Вы утверждали в нем ложь и клевету и довели разум его до иступления... Пойдите, взгляните на него теперь, это ваше создание...»¹⁶¹.

Но предельно искренний Шатов и о себе говорит как о ставрогинском создании. «Ставрогин, – воскликнул Шатов, – для чего я осужден в вас верить во веки веков? Разве мог бы я так говорить с другим? Я целомудрие имею, но я не побоялся моего нагиша, потому что со Ставрогиним говорил. Я не боялся окарикатурить великую мысль прикосновением моим, потому что Ставрогин слушал меня... Разве я не буду целовать следов ваших ног, когда вы уйдете? Я не могу вас вырвать из своего сердца, Николай Ставрогин!»¹⁶²

«Ставрогин, вы красавец! – вскричал Петр Верховенский почти в упоении, – знаете ли, что вы красавец! В вас всего дороже то, что вы иногда про это не знаете. О, я вас изучил! Я люблю красоту. Я нигилист, но люблю красоту. Разве нигилисты красоту не любят? Они только идолов не любят, ну а я люблю идола! Вы мой идол! Вы никого не оскорбляете, и вас все ненавидят; вы смотрите всем ровней, и вас все боятся, это хорошо. К вам никто не подойдет вас потрепать по плечу. Вы ужасный аристократ. Аристократ, когда идет в демократию, обаятелен! Вам ничего не значит пожертвовать жизнью своей и чужой. Вы именно таков, какого надо. Мне, мне именно такого надо, как вы. Я никого кроме вас не знаю. Вы предводитель, вы солнце, а я ваш червяк... Мне вы, вы надобны, без вас я нуль... Без вас я муха, идея в склянке, Колумб без Америки»¹⁶³.

Увлеченный идеей о преобразении мира Верховенский заявляет Ставрогину, что он личность, от которой зависит осуществление их плана по переделке мира. «Реформатор» Шигалев, чью разнузданную мечтательность опустошает злой дух насильственного преобразования мира, создал новый план мира, и Верховенский сообщает Ставрогину, что только от него одного зависит осуществление это плана. «Слушайте, – воскликнул Верховенский, – папа будет на западе, а у нас – у нас будете вы!»¹⁶⁴

По плану Шигалева «...каждый член общества смотрит один за другим и обязан доносом. Каждый принадлежал всем, а все каждому. Все рабы и в рабстве равны. Первым делом понижается уровень образования, наук и талантов. Высшие способности всегда захватывали власть и были деспотами. Высшие способности не могут не быть деспотами и всегда развращали более, чем приносили пользы; их изгоняют или казнят. Цицерону отрезывается язык, Копернику выкалывают глаза, Шекспир побивается камнями, вот шигалевщина! Рабы должны быть равны: без

деспотизма еще не бывало ни свободы, ни равенства, но в стаде должно быть, равенство, и вот шигалевщина!»¹⁶⁵

«Слушайте, Ставрогин, – говорит Верховенский, – я за Шигалева! Не надо образования, довольно науки. И без науки хватит материалу на тысячу лет, но надо устроиться послушанию. В мире одного только недостает – послушания. Жажда образования есть уже жажда аристократическая. Чуть-чуть семейство или любовь, вот уже и желание собственности. Мы уморим желание: мы пустим пьянство, сплетни, донос; мы пустим неслыханный разврат; мы всякого гения потушим в младенчестве. Все к одному знаменателю, полное равенство. Необходимо лишь необходимое, вот девиз земного шара отселе... Теперь надо одно или два поколения разврата, разврата неслыханного, подленького, когда человек обращается в гадкую, трусливую, жестокую, себялюбивую мразь – вот чего надо... Мы провозгласим разрушение, эта идея так обязательна! Но надо, надо косточки поразмять. Мы пустим пожары... Мы пустим легенды... И начнется смута! Раскачка такая пойдет, какой еще мир не видел... Затуманится Русь, заплачет земля по старым богам... Ну-с, тут-то мы и пустим... Кого?

– Кого?

– Ивана-Царевича.

– Кого-о?

– Ивана-Царевича; вас, вас!»¹⁶⁶

Есть в человеке некая бездонная тьма, праисконный мрак. В эту тьму, в этот мрак Достоевский погрузился глубже, чем кто-либо из людей. Во мраке он открыл некие жуткие силы, которые дух человека незаметно претворяет в бесовский дух, и тогда человеческое существо растворяется в небытии. Там, в этих необозримых глубинах, человеческая тьма сливается с некоей метафизической тьмой, которая имеет все признаки абсолютного и бесконечного. Эти темные провалы и есть те самые лаборатории, где бесы, эти ревнивые идеологи человекобожества, неустанно изобретают орудия, с помощью которых они хотят осуществить свой план на нашей планете. Главное правило для всей деятельности заключается в следующем: все – дозволено, если речь идет об осуществлении цели в жизни. Смело, как боги, они преступают все границы и все препоны. Они сами по себе, высшая ценность и высшее мерило. Используя все средства, они не нуждаются ни в чем разрешении. Само преступление для них уже «не помешательство, а именно здравый смысл, почти долг, по крайней мере, благородный протест»¹⁶⁷.

Ради осуществления своего плана по переустройству мира они

исходят из неограниченной свободы, а завершают неограниченным деспотизмом. Как окончательное решение вопроса, они предлагают разделить человечество на две неравные части. «Одна десятая доля получает свободу личности и безграничное право над остальными девятью десятими. Те же должны потерять личность и обратиться вроде как в стадо», живя и работая «в безграничном повиновении»¹⁶⁸.

Для всех творцов человекобога существует только одна высшая творческая сила, всемогущая, неограниченная и незаменимая. Сила эта – свободная воля. Зачарованные ею, как единственным божеством, они приносят ей в жертву все и вся. Всеми своими силами они стараются с помощью свободной воли достичь вершины в развитии личности. Поэтому они без колебаний сбрасывают с себя все оковы моральных, религиозных, культурных понятий и традиций. В этом они верны своему прародителю – подпольному антигерою: созидают самое себя на свободной воле как на фундаменте. Для них свободная воля – синоним человека, синоним личности. Если бы слово «человек», слово, определяющее специфические его особенности как существа, можно было бы заменить каким-то другим словом, то этим словом было бы слово «воля». В этом смысле правомерно сказать: человек есть воля, и воля есть человек. Всякий творец человекобога – это полное отрицание человека как свободного существа.

Раскольников

Раскольников – человек, олицетворяющий собой тип человека как воли. В этом смысле он серьезно отвечает на вопрос подпольного антигероя: что такое воля? от чего она зависит? Чрезвычайно глубоко и смело решает Раскольников эти вопросы. Он первый серьезно и мучительно погружается в эти проблемы, экспериментируя на себе. Воля чудится ему в образе безответственного горшечника, который по своему свободному усмотрению месит и придает форму черной глине, которая зовется миром. Если существуют ценности, то воля – самая высшая из них; если есть мерило, то воля – самое высокое мерило в этом мире. Всякое существо и всякое явление надо рассматривать с точки зрения воли, *sub specie voluntatis*.

«Все в руках человека»¹⁶⁹ – это главная аксиома, которой руководствуется Раскольников. Это значит: человек в этом мире единственный и абсолютный господин самому себе. И если это не так, то он сам в этом виноват, ибо сам себя закабалает призраками и байками, законами и обстоятельствами. Пойманный в свои собственные сети человек боится каждого нового шага, новых слов, новых поступков. Такой человек – обыкновенный человек, и такие люди – обыкновенные люди. Но помимо таких, обыкновенных, существуют новые люди – необыкновенные.

Всех новых людей Раскольников делит на обыкновенных и необыкновенных. Обыкновенные люди должны жить в покорности и не имеют права преступать закон, ибо они обыкновенные. А необыкновенные имеют право совершать различные преступления и всячески нарушать законы, ибо они необыкновенные¹⁷⁰. Все «законодатели и установители человечества, начиная с древнейших, продолжая Ликургами, Соломонами, Магометами, Наполеонами и так далее, все до единого, были преступниками уже тем одним, что, давая новый закон, тем самым разрушали древний, свято чтимый обществом и от отцов перешедший, и уж, конечно, не останавливались и перед кровью, если только кровь (иногда совсем невинная и доблестно пролитая за древний закон) могла им помочь. Замечательно даже, что большая часть этих благодетелей и установителей человечества были особенно страшные кровопроливцы»¹⁷¹. «Одним словом, – делает вывод Раскольников, – я вывожу, что все не то что великие, но и чуть-чуть из колеи выходящие люди, то есть чуть-чуть даже способные сказать что-нибудь новенькое, должны по природе своей

быть непременно преступниками, – более или менее, разумеется»¹⁷².

Что касается разделения людей на обыкновенных и необыкновенных, то Раскольников считает: «Я только в главную мысль мою верю. Она именно состоит в том, что люди по закону природы разделяются, *вообще*¹⁷³, на два разряда: на низший (обыкновенных), то есть, так сказать, на материал, служащий единственно для зарождения себе подобных, и собственно на людей, то есть имеющих дар или талант сказать в среде своей *новое слово*¹⁷⁴. Подразделения тут, разумеется, бесконечные, но отличительные черты обоих разрядов довольно резкие: первый разряд, то есть материал, говоря вообще, люди по натуре консервативные, чинные, живут в послушании и любят быть послушными. По-моему, они и обязаны быть послушными, потому что это их назначение, и тут решительно нет ничего для них унижительного. Второй разряд – все преступают закон, разрушители, или склонны к тому, судя по способностям. Преступления этих людей, разумеется, относительноны и многообразны: большею частью они требуют, в весьма разнообразных заявлениях, разрушения настоящего во имя лучшего. Но если ему надо для своей цели перешагнуть хотя бы и через труп, через кровь, то внутри себя, по совести, он может дать себе разрешение перешагнуть через кровь»¹⁷⁵.

Гениальный диалектик Раскольников смело развивает свою главную мысль: «Людей с новой мыслью, даже чуть-чуть только способных сказать хоть что-нибудь *новое*¹⁷⁶, необыкновенно мало рождается, даже до странности мало. Ясно только одно, что порядок зарождения людей всех этих разрядов и подразделений должен быть верно и точно определен каким-нибудь законом природы. Закон этот, разумеется, теперь неизвестен, но я верю, что он существует и впоследствии может стать и известным. Огромная масса людей, – материал, для того только и существует на свете, чтобы наконец через какое-то усилие, каким-то таинственным до сих пор процессом, посредством какого-нибудь перекрещивания родов и пород понатужиться и породить наконец на свет, ну, хоть из тысячи одного хоть сколько-нибудь самостоятельного человека. Еще с более широкою самостоятельностью рождается, может быть, из десяти тысяч один... Еще с более широкою – из ста тысяч один. Гениальные люди – из миллионов, а великие гении, завершители человечества, может быть, по истечении многих тысяч миллионов людей на земле»¹⁷⁷.

Необыкновенному человеку «все дозволено, все разрешается», – утверждает Раскольников¹⁷⁸. Идеальный наследник Раскольникова, Иван Карамазов, гениально развивает этот этический принцип Раскольникова и

превращает его в категорическое требование, которое гласит: «...все дозволено». Но страшная оригинальность Раскольникова в том, что он *по чистой совести*¹⁷⁹ разрешает себе пролитие крови¹⁸⁰.

К этому выводу Раскольников приходит самостоятельно, увлеченный прелестью своей собственной диалектики. Он, как паук, заползает в угол и не спеша прядет паутину своей философии и этики. Лежа в темноте, он решает свою мучительную проблему, в которую он полностью погружен. Он до мелочей анализирует все в себе, мысленно прослеживает весь путь своей главной идеи от ее зачатия до расцвета, настойчиво спорит сам с собой с целью выяснить, вошь ли он, как все остальные люди, или человек, власть имеющий. Сможет ли он преступить закон, осмелится ли нарушить моральные запреты или не сможет? «Тварь ли он дрожащая или право имеет?»¹⁸¹

Каждая мысль Раскольникова незаметно переходит в желание, а все мысли вместе сливаются в одно огромное, притягательное и неодолимое желание: стать необыкновенным человеком, стать Наполеоном¹⁸². Но для этого «сила, сила нужна, без силы ничего не возьмешь; а силу надо добывать силой же»¹⁸³. И если на пути к этому стоят преграды, то их надо любым способом устранить. «Довольно, прочь миражи, – восклицает Раскольников, – прочь напускные страхи, прочь привидения. Царство рассудка и света теперь! И... и воли, и силы!»¹⁸⁴ «Кто крепок и силен умом и духом, тот и властелин! Кто много посмеет, тот и прав! Кто на большее может плюнуть, тот и законодатель, кто больше всех может посметь, тот и всех правее! Так доселе велось, и так всегда будет! Власть дается только тому, кто посмеет наклониться и взять ее. Тут одно только, одно: стоит только посметь!»¹⁸⁵ Надо взять свободу и власть! Власть «над всей дрожащей тварью и над всем муравейником! Вот цель!»¹⁸⁶

Чтобы добиться этой цели, Раскольников собирает силы и все свое существо подчиняет главной аксиоме своей жизненной философии: «все в руках человека». Есть какой-то опиум в этой аксиоме для Раскольникова. Посредством своей тонкой диалектики он умудряется этим опиумом пропитать все свое существо. Поэтому он упорно отрекается от всех абсолютных ценностей и исходит из того, что для необыкновенного человека «все условно, все относительно»¹⁸⁷.

Находясь под непреодолимым воздействием своего основного принципа «все в руках человека», Раскольников приходит к неизбежному логическому заключению, что убить одну старуху «не есть преступление»¹⁸⁸, если кто-то при помощи этого хочет стать необыкновенным человеком. Он приходит к этому выводу, ибо весь его

анализ в плане моральном исчерпан: его казуистическое искусство доказательств заострилось как бритва, и он сам в себе уже не находит разумных доводов и возражений против принятого решения..¹⁸⁹ И Раскольников убивает старуху...

Но вместо того, чтобы стать необыкновенным человеком, исполненным титанической силой, венчающей власть великих гениев, он в ужасе бормочет: «Господи! С ума что ли схожу?»¹⁹⁰ Мучительная, мрачная мысль поднималась в нем, «мысль, что он сумасшествует и что он не в силах ни рассудить, ни себя защитить»¹⁹¹. Весь, как в бреду, он не может собраться с мыслями, не в состоянии контролировать свои чувства, не в состоянии владеть собой. В отчаянии он вопиет: «Господи, что же делать?»¹⁹² «Боже мой, что со мною? Подлинно, разум меня оставляет!»¹⁹³

Убивая старуху, Раскольников ударом топора как бы раскромсал свою душу, а не убил старуху: все в нем начало содрогаться, распадаться, рассыпаться, дробиться. Сила мышления ослабилась, раздробилась, ум помрачился¹⁹⁴. Изю всех сил он напрягается, чтобы собрать свои душевные силы. Он почувствовал в себе самый страшный беспорядок. «Он сам боялся не совладеть с собой. Он старался прицепиться к чему-нибудь и о чем-нибудь думать, но это совсем ему не удавалось»¹⁹⁵. Что-то совсем непонятное, новое, необычайное, исключительно необычное происходило с ним. Такого страшного чувства и странного он ранее никогда не ощущал. «И что всего мучительнее – это было более ощущение, чем сознание, чем понятие; непосредственное ощущение, мучительнейшее ощущение из всех до сих пор жизнью пережитых им ощущений»¹⁹⁶.

Это новое катастрофическое чувство своей болью сокрушает тело и кости в нем, расстраивает нервы, помрачает мысли, отлучает душу от тела. Это чувство постепенно перерастает в огонь, в котором Раскольников горит и не сгорает. Все в нем раздваивается и рассыпается на какие-то кусочки, мельчайшие, как атомы; похоже, что все его существо становится сыпучим как живой песок; и нет в нем мира, более того, он не знает, что это такое – мир. Его личность потеряла свое основание, он не может сконцентрироваться ни на чем, не может собрать свои мысли.

Распад личности Раскольникова происходит постепенно, но неуклонно. Его душа рассыпалась, раскололась на легион мелких душонок. Его дух рассеялся на легион духов, его «я» раздробилось на легион «я». Одним словом, Раскольников стал – легионом. И поэтому каждая его мысль – это мысль-легион, всякое ощущение – ощущение-легион, каждое слово – слово-легион, ибо все они имеют в себе

бесконечное число значений. Ни в одной своей мысли, ощущении, слове он не участвует полностью, до конца, ибо все его существо разбито, расколото, разобщено. Именно поэтому критики пребывают в большом недоумении, покался ли Раскольников на самом деле или нет? А истина заключается в том, что покался он частично, не до конца. В глубине своего существа, в самом главном чувствовании он действительно покался, но рационально и логически он этого не сделал.

Эта раздвоенная личность – главный стержень трагедии Раскольникова. С одной стороны, с помощью своей казуистической аргументации Раскольников настойчиво уверяет себя сам, что убийство старухи не есть преступление, но «естественный» поступок необыкновенного человека; с другой стороны, нечто изначальное в его существе энергично возражает против такой аргументации и сокрушает стержень его души. Это нечто изначальное быстро разрастается в нем во всех направлениях и воплощается в одно главное, всестороннее и доминирующее чувство, в некую живую, неистребимую и непреклонную психологическую силу. И это чувство, и эта сила убедительно и ясно свидетельствовали Раскольникову, что убийство есть преступление, убийство – действие противоестественное, убийство – это грех, в котором человек должен покаяться, ибо человеческая природа не может вынести преступления, не может понести грех как нечто естественное и логическое, не может его оправдать как закономерное в человеческой жизни¹⁹⁷.

Раненая и измученная преступлением душа Раскольникова не смогла вынести огненных мук своего греха. Все то, что в душе тоскует по Богу, то, что в ней божественно, подталкивало, тянуло и подсказывало Раскольникову необходимость исповедания своего греха, своего преступления. И действительно, ведомый некоей неодолимой внутренней силой, он идет к следователю, признается в своем преступлении, исповедует свой грех.

Из всей драмы Раскольникова ясно напрашивается важный вывод: его главная жизненная аксиома «все в руках человека» полностью рассыпалась и обанкротилась. Более того, эта аксиома, как некий руководящий принцип жизни и мышления, убита, убита самим Раскольниковым: «Я не человека убил, я принцип убил»¹⁹⁸. Но и это еще не все: убив старуху, Раскольников убил самого себя. Он исповедуется Соне: «Разве я старушонку убил? Я себя убил, а не старушонку! Тут так-таки разом и ухлопал себя, навеки!»¹⁹⁹

В Раскольникове потерпел полное поражение и до конца

обанкротился «человек как воля». Стало ясно: в человеке и в мире существует что-то несравненно более сильное, нежели человеческая воля. Раскольников сам убил свой принцип и принцип своего духовного предтечи – подпольного антигероя, по учению которого свободная воля есть *prima causa* и стержень человеческой личности.

Кириллов сделал то же самое, но способом, присущим только ему. Он, первый человекобог, убил самого себя, чтобы экспериментально и воочию показать и доказать, что свободная воля – самое полное проявление человеческой личности, а самоубийство – наивысшая степень человеческой свободы. Но по меркам нормального человеческого разума самоубийство есть не что другое, как бессмысленная дезинтеграция человеческой личности.

Ставрогин – олицетворение тайны беззакония и извращения свободной воли, повесился и тем самым уничтожил принцип своей жизни. Он убил многие души, разбил многие сердца, помрачил многие умы, очаровав их прелестью своей оригинальной диалектики. Однако своим самоубийством он явил, что тот, кто убивает другие души, в конце концов должен убить свою собственную душу, и таким образом завершил полный распад своей личности.

Иван, гениальный творец и чудесный апологет человекобога, не смог выдержать бунтарской антиномии своего евклидова ума и сошел с ума. Ужасающая действительность открылась ему, когда он в жизни применил руководящее начало своей философии и этики – «все позволено»; эта действительность до глубины души потрясла его, и он лишился ума. Он сошел с ума, когда понял, что Смердяков убил его отца Федора Карамазова, поощренный этим его принципом. «Вы его убили, – говорит Смердяков, – вы главный убивец и есть, а я только вашим приспешником был, слугой, Личардой верным, и по слову вашему дело это и совершил... Вы говорили: »...все позволено«... Самым естественным манером сделано было, с ваших тех самых слов»²⁰⁰.

Потрясающая судьба всех идеологов и творцов человекобога: все их начинания завершаются крахом и поражением. Их мысль ими теряется в первобытных лесах жестоких противоречий или же погибает в пустыне отчаянного бессилия. И судьбы их – как близнецы: труп рядом с трупом, мертвец с мертвецом. Где цельность их натур и всемогущество их человекобога? Там – в полном распаде их личностей и в чудовищной преисподней их совести.

Тайна атеистической философии и анархистской этики

Нет такой меры, которой можно было бы измерить трагедию человека в этом мире. Но трагедия незаметно переходит в невозможную комедию, когда бедный человек стремится бесконечное количество загадок мира свести к нескольким мелким проблемам, и в решении этих проблем ему видится решение всех проблем жизни. Устав от трагедии, человек прибегает к различным сказкам: религиозным, философским, научным, но нигде он не находит покоя своему беспокойному сердцу и путанным мыслям. А вокруг раздается иронический хохот и слышатся саркастические насмешки. Похоже, что кто-то насмехается над человеком и высмеивает все его усилия и начинания.

Человек не может и не хочет без протеста и бунта выносить эту насмешку. Если нет ничего другого, то хотя бы скрежетом зубовным он отвечает на это. Это все же хоть что-то! Но утешение ли это? – пусть ответят на этот вопрос безутешные. Бесстыдно оскорбляемые и отвратительно унижаемые жуткой непонятностью мира, многие люди по-разному протестуют против этого. Но страшно, когда их протест – это протест глухонемых.

Чтобы хоть как-то почувствовать себя отомщенным, европейский человек постарался загадочность мира и человека сузить до приемлемой меры. В неравном соперничестве и мир, и человек сужены настолько, что сведены некоторыми на уровень «семи загадок». Мир и человек, таким образом, упрощены до невероятно комического уровня. Но даже и после всего этого все-таки бодрствующее сознание и беспокойное сердце ощущают, как над человечеством небо и далее разверзается громами небесных тайн, и далее ударяет по нему молниями космических загадок, и нет у человека громоотвода, нет защиты от этих загадок. Сама жизнь более всего изобилует загадками и неожиданностями. Мысль человека постоянно поражают все новые и новые факты, подтверждающие, что границы жизни – в отсутствии всяких границ, конец жизни – это бесконечность, а граница жизни – это безграничность.

Творцы человекобога пытались упростить и сузить человека для того, чтобы упростить ужасающую загадочность мира. Для того, чтобы вынести оскорбительную трагедию мира, надо переделать натуру человека, переделать из сложной в простую, из глубокой в мелкую, из широкой в узкую. Но, несмотря на все их усилия, им это не удалось. Более того, к

существующей загадочности мира и человека они прибавили еще одну страшную загадку, а именно: прибавили свою тайну и свою загадку. Возможно, что никто и никогда не смог бы объяснить нам их тайну и отгадать их загадку, если бы это не сделал прозорливый Достоевский в романе «Братья Карамазовы», в главе под названием «Диавол. Кошмар Ивана Карамазова».

Тут нам Достоевский приоткрывает самое сокровенное место в душе Ивана, в котором сокрыта главная творческая сила человекобога. Иван кажется предельно озлобленной и завидно самостоятельной личностью, в которой идейно присутствуют и подпольный антигерой, и Раскольников, и Ставрогин, и Кириллов, и Ипполит, и Смердяков. Тайна их мыслей заключена в мыслях Ивана. Их философия мира и человека – это всего лишь доведенная до гениального совершенства философия Ивана. Тот, кто откроет тайну личности Ивана, тот одновременно откроет и тайну их личностей.

В упомянутой главе Достоевский нам пророчески, прозорливо открывает, насколько Иван был оригинален и самостоятелен при разработке своей философии и этики – неприятия мира и Христа и создании человекобога. До убийства Федора Карамазова Иван более или менее теоретически и абстрактно руководствовался в своей жизни триединой догмой атеизма: нет Бога, нет бессмертия, нет диавола, – и категорическим императивом анархизма: все позволено. Но, когда Смердяков, воодушевленный его философией, на деле применил его категорический императив, в Иване произошло страшное внутреннее смятение, которое перевернуло весь его духовный мир, пробудило все его чувства, мысли и всю его личность к новому видению новой действительности.

Из глубин души Ивана, неоглядных и недостижимых для евклидова ума, через развалины и разломы его внутреннего расслоенного мира хлынули, как воды, некие невиданные ранее ощущения, и эти ощущения затопили, как потерпевший крушение корабль, его помраченный ум. Главный принцип анархизма, перенесенный из области идей в область земной реальности и осуществленный в человеческой жизни, произвел поразительную анархию в сердце, уме и воле Ивана. И он никак не может погасить в себе этот анархический бунт против самого себя, никак не может совладать со своим сердцем, со своим умом, со своей волей, со своей натурой. Все в нем возбудилось и взбунтовалось и двинулось наобум, непонятно куда, какими-то новыми путями, неизвестно куда ведущими; все в нем пришло в некое дикое движение и бредовое

состояние, как и у Раскольникова после убийства старухи. Замаранная святость личности и попорченная неприкосновенность ее моральных основ протестует, будоражит все существо Ивана, доводит его евклидов ум до кошмарного бредового состояния, до галлюцинаций, до страшной внутренней горячки, в которой сгорает вся его атеистическая философия и анархистская этика, и он, как некогда Раскольников, идет, чтобы предать себя и сдать в руки правосудия, и заявляет, что именно он убил Федора Карамазова.

В страшные моменты жизни, когда цепенеет мозг и обмирает сердце, человек почти не ощущает физических границ своей личности, не ощущает свое тело. В такие моменты, необъяснимо как, человек становится духовнее, и тогда даже то, что в нем самое вещественное, его тело, теряет свои физические свойства и становится в некотором роде духовным телом. В такое время человек более всего способен соприкоснуться с тем духовным, что существует в мире рядом с ним и в мире над ним; он более способен освободиться от рабства времени и пространства и коснуться вечности и вечного. В такие часы человек на личном опыте осознает, что его существо гораздо шире, нежели то, что знает об этом его ум, и глубже, нежели то, что подсказывает ему сердце, и что он имеет не только точки соприкосновения, но и несомненную связь с тем, что превосходит пространство и время. Ужас тайны человеческой природы и происходит именно оттого, что люди не знают, кто и что, и в какой мере участвует в их жизни, в создании и формировании их мыслей, чувств, планов, желаний.

В самый страшный час своей жизни Иван понял самым убедительным образом, что в создании его философии и этики участвовала некая надчеловеческая, вневременная и внепространственная сила, которая становится кошмаром, как только она входит в круг людских временных и пространственных событий. Иван ощущает присутствие этой нежелательной силы, которая обнаруживает свою реальность таинственным образом и в то же время почти чувственно-ощутимо. Отличительная черта этой таинственной силы в том, что она постепенно принимает конкретные формы. И когда она в достаточной степени олицетворяется в виде некоего объекта, то она всей подавляющей силой своей конкретности принуждает измученного Ивана признать ее объективной реальностью. И даже чувства Ивана принуждены реально ее принять. На глазах Ивана эта невидимая сила постепенно превращается в видимую, из едва приметной точки она вырастает в нечто более крупное и более реальное, в некое полуреальное существо, в некую полуреальную

личность, но это «полу» – только в смысле физическом, в смысле же духовном, метафизическом она неопровержимо реальна.

Мучение из мучений и ужас из ужасов для Ивана состоит особенно в том, что он всем своим существом ощущает свое психическое сродство с этой кошмарной личностью, которая на его глазах таинственно перерождается из земного состояния в потустороннее, из физического в метафизическое, из временного в вечное. Как истинный зилот, поклоняясь человеческому евклидову уму, он отчаянно протестует всей своей натурой против этой кошмарной личности. Ему не остается ничего другого, ибо он со всех сторон оградил и замуровал себя в стенах законов земной человеческой логики, которая не допускает, чтобы в царство людских евклидовых идей и реалий вошло что-либо внеземное, вневременное, нечеловеческое.

Для Ивана достаточно мучений и тех загадок и тайн, что имеют место во времени и в пространстве, и никто не имеет права подсовывать ему еще какую-то вечность с ее вечными тайнами и загадками. У Ивана есть свой евклидов мир; он желает, чтобы этот мир был геометрически закрыт со всех сторон, без каких-либо окон, которые бы глядели в какие-то бесконечности. Но его таинственный, кошмарный посетитель не обращает внимания на его желание, он не ждет от него разрешения на то, чтобы в евклидов мир Ивана забрело нечто ему неудобное, нечто потустороннее, противоестественное и бесконечное. Необъяснимо как, но абсолютно достоверно он участвует в духовной жизни Ивана: думает его мыслями, трудится над его идеями. Более того, он как бы отождествляется с духом Ивана: заканчивает его мысли, дает четкое определение хаотическому психическому состоянию Ивана, облекает в слова проблески его мыслей, проясняет его сознание, философствует его философией, нашептывает Ивану новые идеи, новые теории, гениально защищает атеистическую философию и анархистскую этику Ивана.

Если вы спросите, кто же этот кошмарный, но реальный посетитель Ивана, можно ли его охарактеризовать или отнести к какой-либо категории, Иван ответит вам прямо и просто: это черт. И Достоевский отвечает: этот кошмар – диавол. И еще прибавляет: вся тайна философии, и этики Ивана состоит в том, что он находится в интеллектуальном союзе с кошмаром – диаволом. Их интеллекты настолько сблизились и сроднились, что и философия и этика их стали едиными. Эту их философию и этику Достоевский излагает в самом интересном из всех известных миру диалоге. Кошмар – диавол – носитель этой философии. Она заключает в себе четыре главных догмата: 1) неприятие Божьего мира,

2) неприятие Христа, Логоса Божьего, 3) «все дозволено» и 4) создание человекобога.

Первый догмат своей философии, неприятие мира, кошмар-диавол обосновывает и защищает виртуозно-лукавым, логическим методом. Он представляет этот мир как нечто, что создано из самого худшего материала. Своим изуродованным устройством этот мир изгоняет и уничтожает все, что в нем есть хорошего, возвышенного, ангелоподобного, Божественного. И если обретется в этом мире какое-то доброе существо, то оно не сможет долго оставаться добрым, рано или поздно оно делается отвратительным. Ибо этот мир настолько отвратителен и зол, что в нем сам Ангел станет диаволом.

Окруженные ужасами, неправдами, насилиями, и Ангелы в этом страшном мире в отчаянии и по некоей фатальной необходимости претворяются в диаволов.

«Обыкновенно в обществе принято за аксиому, – говорит кошмарный посетитель Ивану, – что я падший Ангел. Ей-Богу, не могу представить, каким образом я мог быть когда-нибудь Ангелом. Если и был когда, то так давно, что не грешно и забыть. Теперь я дорожу лишь репутацией порядочного человека и живу, как придется, стараюсь быть приятным. Я людей люблю искренно, – о, меня во многом оклеветали! Здесь, когда временами я к вам переселяюсь, моя жизнь протекает вроде чего-то, как бы и в самом деле, и это мне более всего нравится. Ведь я и сам, как и ты же, страдаю от фантастического, а потому и люблю ваш земной реализм. Тут у вас все очерчено, тут формула, тут геометрия, а у нас какие-то неопределенные уравнения!»²⁰¹

Бескрайние пространства окружают землю и зияют непереносимой пустотой. В этих пространствах такой лютый холод, что там должно окоченеть и заледенеть не только то, что называется человеком, но и все то, что зовется духом. В этих космических пространствах, «в эфире-то, в воде-то этой, я же бе над твердию, – ведь это такой мороз... то есть какой мороз, – это уже и морозом назвать нельзя; можешь представить: сто пятьдесят градусов ниже нуля! Известная забава деревенских девок: на тридцатиградусном морозе предлагают новичку лизнуть топор; язык мгновенно примерзает, и олух в кровь сдирает с него кожу; так ведь это только на тридцати градусах, а на ста-то пятидесяти, да тут только палец, я думаю, приложить к топору, и его как не бывало, если бы только там мог случиться топор...

– А там может случиться топор? – рассеянно и гадливо перебил вдруг Иван Федорович. Он сопротивлялся изо всех сил, чтобы не поверить

своему бреду и не впасть в безумие окончательно.

– Топор?

– Ну да, что станется там с топором? – с каким-то свирепым и настойчивым упорством вдруг вскричал Иван Федорович.

– Что станется в пространстве с топором? *Quelle idee!* (Какая идея!) Если куда попадает подальше, то примется, я думаю, летать вокруг земли, даже не зная, зачем, в виде спутника»²⁰².

Топор как сателлит, как спутник земли! Не есть ли это самая сатанинская идея, которая могла зачатся и родиться в нашем человеческом мире? Секира-топор, вращаясь вокруг земли, немилосердно кромсала бы и уничтожала всякое человеческое существо, которое решилось бы подняться над земной сферой и вторгнуться в царство небесных идей и реалий. Человек – пленник земли. Он заключен в земной атмосфере, как в стальном шаре. Границы земной атмосферы сторожит секира – топор, неумолимо умерщвляющая всех земных беглецов.

Мир создан так глупо и так отвратительно устроен, что кошмар-диавол не находит в своем уме никаких логических доводов в пользу оправдания этого мира. Он находит в себе достаточно и логики и чувств, чтобы отвергнуть такой мир страстно и окончательно. Он, возможно, и смог бы вынести то насилие, которое этот мир собою являет, если бы этот мир был только внешней транссубъективной реальностью, но самый большой ужас для него в том и состоит, что самовластный Творец сознательно сделал отрицание всего того, что имманентно сознанию человека, сделал так, что отрицание для человека стало сутью его жизни. Сделал так, что кошмар-диавол мог бы сказать о себе: я отрицаю, значит – я существую. С тоской, в которой чувствуется некая неземная ирония, он говорит Ивану: «Каким-то там довременным назначением, которого я никогда разобрать не мог, я определен «отрицать»»²⁰³.

Отрицать все, что создано, все, что существует, не принимать мир, всегда чувствовать, всегда сознавать, всегда утверждать, что мир «*herzlich schlecht*»²⁰⁴ – это корень кошмара Ивана и Мефистофеля «Фауста», это корень всякого демонизма вообще.

Я дух, всегда привыкший отрицать.

И с основаньем: ничего не надо.

Нет в мире вещи, стоящей пощады,

Творенье не годится никуда.²⁰⁵

Главное призвание и дело диавола в мире – критиковать Божие творение и отрицать его. В сущности, диавол – первый критик и основатель критицизма. Мир – вечное и непрестанное оскорбление для

диавола и его сознания в том виде, в каком он создан. Об этом он искусно рассуждает: он не виновен и не ответственен за такой мир, ибо не он его создал и не он его так устроил. Более того, кошмар-диавол утверждает, что он насильно принужден Творцом к отрицанию, ибо без отрицания нет критики, а без «критического отдела» какой же это журнал, называемый жизнью. Без критики была бы только «осанна». «Но для жизни мало одной «осанны», надо, чтоб «осанна» эта переходила через горнило сомнений. Ну и выбрали козла отпущения, заставили писать в отделении критики, и получилась жизнь. Мы эту комедию понимаем, – продолжает свою мысль кошмар-диавол, – я, например, прямо и просто требую себе уничтожения. Нет, живи, говорят, потому что без тебя ничего не будет. Если бы на земле было все благополучно, то ничего бы не произошло. Без тебя не будет никаких происшествий, а надо, чтобы были происшествия. Вот и служу, скрепя сердце, чтобы были происшествия, и творю неразумное по приказу»²⁰⁶.

Жизнь – комедия. Это главный тезис диавольской философии мира. Трагедия людей состоит в том, что они эту комедию принимают всерьез. Кошмар-диавол понимает полнейшую бессмысленность мира, потому и стремится к самоуничтожению. Но ему не позволяют уничтожить самого себя, ибо таков он есть, он нужен для этой жизни. И поэтому все то, что он делает, он делает «по послушанию». «Единственно по долгу службы, – говорит он Ивану, – и по социальному моему положению я принужден остаться при пакостях. Честь добра кто-то берет всю себе, а мне оставлены в удел только пакости»²⁰⁷.

Очень осторожно кошмар-диавол переходит на главную причину бунта Ивана – страдание. Страдание и есть жизнь, говорит он Ивану. «Без страдания какое было бы в ней удовольствие; все обратилось бы в один бесконечный молебен: оно свято, но скучновато»²⁰⁸. Но страдание можно было бы вынести, если бы оно существовало только в границах нашего трехмерного мира. Но ужас в том, что страдание преодолевает границы этого видимого мира и переходит в другой мир – невидимый, бесконечный, вечный.

Для того чтобы подкрепить свою богоборческую космологию, кошмар-диавол рассказывает Ивану, как у них, в том мире, существует все то, что есть и в этом: суеверия, сплетни, доносы, глупости, особенно же много страдания, мук и мучений. «Все, что у вас есть, – говорит он Ивану, – есть и у нас, это я уж тебе по дружбе одну тайну нашу открываю, хоть и запрещено.

– А какие муки у вас на том свете? – с каким-то странным

оживлением прервал Иван.

– Какие муки? Ах, и не спрашивай: прежде было так и сяк, а ныне все больше нравственные пошли, «угрызения совести» и весь этот вздор. Это тоже от вас завелось, от «смягчения ваших нравов». Ну и кто же выиграл? Выиграли одни бессовестные, потому что ж им за угрызения совести, когда и совести-то нет вовсе. Зато пострадали люди порядочные, у которых еще оставалась совесть и честь»²⁰⁹.

Кошмарный посетитель Ивана говорит о бессмертии и о потусторонней, загробной жизни как о чем-то для него очевидном, как о чем-то, что он постоянно созерцает и что является составной частью его самосознания и самоощущений. Для него это не факты логических и диалектических доказательств, но суть очевидной, непосредственной реальности, в которой он реально живет, которую знает, описывает и живописует. Но это лишь кое-что, частица из всего того, что он может втиснуть в узкие рамки людских понятий, переведенная на человеческий язык. Об этой вечной теме, «о нашей теме», как он говорит Ивану, существует некая легенда. Эта легенда – легенда о рае.

«Был здесь у вас на земле один такой мыслитель и философ; все отвергал, законы, совесть, веру, а главное – будущую жизнь. Помер, думал, что прямо во мрак и смерть, а перед ним – будущая жизнь. Изумился и вознегодовал. «Это, – говорит, – противоречит моим убеждениям». Вот его за это и присудили... Присудили, чтобы прошел во мраке квадриллион километров, а когда кончит этот квадриллион, то тогда ему отворят райские двери и все простят...» Но этот осужденный постоял, посмотрел и лег поперек дороги: «Не хочу идти, из принципа не пойду!» Так он и пролежал почти тысячу лет, а потом встал и пошел свой квадриллион километров. «И только что ему отворили двери в рай и он вступил, то не пробыл еще и двух секунд, воскликнул, что за эти две секунды не только квадриллион, но и квадриллион квадриллионов пройти можно, да еще возвысив в квадриллионную степень!»²¹⁰

Рассказывая легенду о рае, кошмар-диавол вплетает мысль о повторении жизни на земле, чтоб еще сильнее отравить измученного Ивана, так же как эта мысль позднее отравляла несчастного Ницше. «Теперешняя земля, может, сама-то биллион раз повторялась; ну, отживала, леденела, трескалась, рассыпалась на составные начала, опять вода яже над твердию, потом опять комета, опять солнце, опять из солнца земля, – ведь это развитие, может, уже бесконечно раз повторяется, и все в одном и том же виде, до черточки. Скучища неприличнейшая...»²¹¹

Вследствие того, что земля создана глупо и устройство ее трагично,

потому что она диавольский хаос и мир зиждется на абсурде, потому что все и вся – только лишь бесконечная, бескрайняя бессмыслица, из-за этого вечное повторение мира есть не что иное, как вечное повторение всех бессмыслиц, повторение всяческого хаоса, глупостей и гадостей.

Присутствие кошмарного посетителя ужасно мучает Ивана. Ему бы хотелось логически понять, объяснить и дать определение этому существу, которое так смело философствует о вселенной и о земле как о каких-то малозначащих вещах. Посетитель ощущает этот немой вопрос и стремится преподать себя как можно понятнее для человеческого разума.

– Я икс в неопределенном уравнении. Я какой-то призрак жизни, который потерял все концы и начала и даже сам позабыл наконец, как назвать себя. Ты смеешься... нет, ты не смеешься, ты опять сердисься. Ты вечно сердисься, тебе бы все только ума, а я опять-таки повторяю тебе, что я отдал бы всю эту надзвездную жизнь, все чины и почести за то только, чтобы воплотиться в душу семипудовой купчихи и Богу свечки ставить.

– Уж и ты в Бога веришь? – ненавистно усмехнулся Иван.

– То есть как тебе это сказать, если ты только серьезно...

– Есть Бог или нет? – опять со свирепой настойчивостью крикнул Иван.

– А, как ты серьезно? Голубчик мой, ей-Богу не знаю, вот великое слово сказал.

– Не знаешь, а Бога видишь? Нет, ты не сам по себе, ты – я, *ты есть* – я²¹² и более ничего! Ты – дрянь, ты моя фантазия.

– То есть, если хочешь, я одной с тобой философии, вот это будет справедливо. Je pense donc je suis, это я знаю наверное, остальное же все, что кругом меня, все это миры, Бог и далее сам сатана, – это все для меня не доказано. Существует ли оно само по себе или есть только одна моя эманация, последовательное развитие моего я, существующего доверменно и единолично...»²¹³

«Я и ты» придерживаются одной философии Ивана. Родство их интеллектуальных сил проявляется ясно в одинаковом взгляде на мир и жизнь. Непонятным, таинственным образом кошмарная демоническая сила пронизывает все существо Ивана, и все его мысли, чувства, желания источают эту силу. Она настойчиво впилась в его душу, почти полувоплотилась в нем, и он уже не способен отделить себя от нее. Он ощущает не только схожесть, но и генетическое сродство своих кошмарных мыслей и слов с диавольскими.

«Слушай, – обращается Иван к своему кошмарному посетителю, – я

теперь точно в бреде... Я тебя иногда не вижу и голоса твоего не слышу, но всегда угадываю то, что ты мелешь, потому что *это я, я сам говорю, а не ты!*²¹⁴ Ты ложь, ты болезнь моя, ты призрак. Я только не знаю, чем тебя истребить, и вижу, что некоторое время надобно пострадать. Ты моя галлюцинация. Ты воплощение меня самого, только одной, впрочем, моей стороны... моих чувств, только самых глупых и гадких... Ты – я, сам я, только с другой рожей. Ты именно говоришь то, что я уже мыслю... Ты берешь все мои скверные мысли, а главное – глупые. Ты глуп и пошл. Ты ужасно глуп. Нет, я тебя не вынесу! Что мне делать, что мне делать!»²¹⁵ Интересно, значимо и достойно всяческого внимания то, что мысль о неприятии мира и Бога Иван включает в разряд самых гнусных и самых глупых своих мыслей. Это сигнал того, что в нем потихоньку вызревает что-то новое, то, что вытесняет старые ценности и критерии. Из хаоса, в который Иван втянут своим атеизмом и анархизмом, возникают какие-то новые ценности и новые критерии, и старые критерии постепенно уступают место новым. Но процесс рождения новых ценностей и новых критериев бесконечно мучителен и болезнен, в особенности для такой, как Иван, искренней и цельной личности.

Кошмарное присутствие демонической силы, которую он ощущает всем своим существом, вынуждает его ум и сердце и все его чувства согласиться с существованием новой реальности – с существованием дьявола. И все же для Ивана признать существование дьявола, которого он никогда не признавал и даже не допускал такого признания, несказанно мучительно и тягостно.

– «Ни одной минуты не принимаю тебя за реальную правду! – в каком-то бешенстве кричит Иван. – Нет, ты не сам по себе, ты – я, *ты есть я*²¹⁶ и более ничего! Ты – дрянь, ты – моя фантазия! Ты глуп, ты ужасно глуп! Ты хочешь побороть меня реализмом, уверить меня, что ты есть, но я не хочу верить, что ты есть! Не поверю!»²¹⁷

– «Это в Бога в наш век ретроградно верить, – отвечает Ивану кошмарный посетитель, – а я черт, в меня можно верить»²¹⁸.

Изо всех сил Иван старается не верить в реальность полуфантастического-полуреального появления своего посетителя, привыкший к человеческому диалектико-эмпирическому методу доказательств. Но посетитель приходит ему на помощь и открывает тайну своего метода.

– «Ты – сон, и ты не существуешь! – в гневе кричит Иван своему посетителю.

– По азарту, с каким ты отвергаешь меня, что – засмеялся посетитель,

– я убеждаюсь, что ты все-таки в меня веришь.

– Нимало! На сотую долю не верю!

– Но на тысячную веришь. Гомеопатические доли ведь самые, может быть, сильные. Признайся, что веришь, ну на десятитысячную...

– Ни одной минуты! – яростно вскричал Иван. – Я, впрочем, желал бы в тебя поверить! – странно вдруг прибавил он.

– Эге! Вот, однако, признание! Но я добр, я тебе и тут помогу. Слушай: это я тебя поймал, а не ты меня! Я нарочно тебе твой же анекдот рассказал, который ты уже забыл, чтобы ты окончательно, вполне разуверился.

– Лжешь! Цель твоего появления уверить меня что ты, ты есть.

– Именно. Но колебания, но беспокойство, но борьба веры и неверия – это ведь такая иногда мука для совестливого человека, вот как ты, что лучше повеситься. Я именно, зная, что ты капельку веришь в меня, подпустил тебе неверия, рассказав этот анекдот. Я тебя вожу между верой и безверием попеременно, и тут у меня своя цель. Новая метода-с. Ведь когда ты совсем во мне разуверишься, то тотчас меня же в глаза начнешь уверять, что я не сон, я есмь на самом деле, я тебя уж знаю: вот тогда и достигну цели, а цель моя благородная...

– Оставь меня, ты стучишь в моем мозгу, как неотвязный кошмар, – болезненно простонал Иван в бессилии пред своим видением, – мне скучно с тобою, невыносимо и мучительно! Я бы много дал, если бы мог прогнать тебя!»²¹⁹

Невозможно, онтологически невозможно человеку освободиться от своего самосознания. Но даже если бы ему это удалось, он перестал бы быть человеком, ибо не был бы в состоянии ощущать себя как такового. И если бы среди ужасов этого мира надо было бы отыскать самый большой и самый мучительный, то этим ужасом было бы ощущение своего собственного сознания как самой страшной и самой отвратительной реальности. Возможно, Иван и смог бы освободиться от кошмарного присутствия своего посетителя, если бы последний не овладел его самосознанием необъяснимым образом и наполовину не воплотился бы в его сознание.

Носимое трагедией мира, раздраженное ужасами жизни самосознание Ивана усилилось до последней меры и расширилось до предела, а кошмарный посетитель искусно и незаметно ведет Ивана через отчаяние в безумие: через неприятие мира – к неприятию Христа. Он это делает, ибо к тому призван самой природой своего несчастного христорборческого состояния; виноват же не он – кошмар-диавол, а всемогущий Творец,

Который сделал его злым! Если бы существовала свобода, он был бы добрым, слишком добрым!

Когда Мефистофель явился Фаусту, – говорит диавол Ивану, – то он свидетельствовал о себе как о том, кто хочет зла, но делает только добро²²⁰.

И продолжает: «Но пусть он делает как ему угодно, я же – совсем напротив. Я, может быть, единственный человек во всей природе, который любит истину и искренно желает добра. Я был при том, когда умершее на кресте Слово восходило на небо, неся на персях Своих душу распятого одесную разбойника, я слышал радостные взвизги херувимов, поющих и вопиющих «осанна», и громовой вопль восторга серафимов, от которых потряслось небо и все мироздание. И вот, клянусь же всем, что есть свято, я хотел примкнуть к хору и крикнуть со всеми «осанна»! Уже слетало, уже рвалось из груди... я ведь, ты знаешь, я очень чувствителен и художественно восприимчив. Но здравый смысл, – о, самое несчастное свойство моей природы, – удержал меня и тут в должностных границах, и я пропустил мгновение! Ибо что же, подумал я в ту минуту, что же бы вышло из моей «осанны»? Тотчас бы все угасло на свете, и не стало бы случаться никаких происшествий. И вот единственно по долгу службы и по социальному моему положению я принужден был задавить в себе хороший момент и остаться при пакости. Честь добра кто-то берет всю себе, а мне оставлены в удел только пакости... Почему изо всех существ в мире только лишь я обречен на проклятия?.. Я ведь знаю, тут есть секрет, но секрет мне ни за что не хотят открыть, потому что я, пожалуй, тогда, догадавшись в чем дело, рявкну «осанну», и тотчас исчезнет необходимый минус и начнется во всем мире благоразумие, а с ним, разумеется, и конец всему... Я ведь знаю, что в конце концов я помирюсь, дойду и я мой квадриллион, и узнаю секрет. Но пока это произойдет, будирую, и скрепя сердце, исполняю мое назначение: губить тысячи, чтобы спасся один. Сколько, например, надо было погубить душ и опозорить честных репутаций, чтобы получить одного только праведного Иова, на котором меня так зло поддели во время оно! Нет, пока не открыт секрет, для меня существуют две правды: одна тамошняя, ихняя, мне пока совсем не известная, а другая моя. И еще не известно, какая будет почище...»²²¹

В этой необычной апологетике и в этом странном обосновании неприятия Христа так много мыслей самого Ивана, что человек вопрошает в сомнении: где кончается кошмарный посетитель и начинается Иван, что тут от посетителя, а что от Ивана, может ли быть проведена ясная и четкая граница между одним и другим? В одном не приходится сомневаться: все,

что говорит кошмарный посетитель, может быть близко только тому, в ком Иванова философия неприятия Христа находит отклик, в том, кто осмысливает ее самосознанием Ивана, в том, кто эту философию анализировал в развитии от начала до конца, и не только осмысливал и анализировал, но сам активно участвовал в создании этой философии.

«Здравый смысл», а это значит здравый ум, евклидов ум, и есть та несчастная особенность, которая не дает Ивану и его кошмарному посетителю принять Христа, поверить в Него как в Бога и Логос мира. Но Ивана в особенности беспокоит и причиняет ему боль то, что кошмарный посетитель бессовестно и дерзко влезает в самые сокровенные уголки его души. Из-за этого он с грустью, сердито и беспомощно укоряет своего посетителя: «Все, что ни есть глупого в природе моей, давно уже пережитого, перемолотого в уме моем, отброшенного как падаль, – ты же мне подносишь, как какую-то новость»²²².

По сути, тут мы видим покаянную исповедь Ивана: свое неприятие Христа он называет глупостью, «отброшенной им как падаль». Разумеется, он делает это опосредованно, но это несколько не умаляет самого характера этого факта. Иван всем своим существом и некоей внутренней прозорливостью почувствовал всю катастрофичность и убийственность неприятия Христа для человеческой природы. И когда диавол ему говорит, что в своей апологетике неприятия Христа он имеет в виду писателя поэмы под названием «Великий инквизитор», то Иван, весь красный от стыда, кричит ему: «Я тебе запрещаю говорить о «Великом инквизиторе»... Молчи, или я убью тебя!»²²³

Не обращая внимания на угрозы Ивана, кошмарный гость смело и подробно обосновывает Ивану его же план уничтожения в человечестве идеи о Боге, разложения существующей морали, смертности человека и его души, перевоплощения человека в человекобога, новой морали, основанной на принципе «все дозволено». Все это гость говорит, воодушевляясь своим красноречием, все более и более возвышая голос, с насмешкой глядя на Ивана. И Иван, не выдержав, берет стакан с чаем и запускает в оратора. «Ah, mais cest bete enfin! (Ах, это совсем глупо!), – воскликнул тот, вскакивая с дивана и смахивая пальцами с себя брызги чаю, – вспомнил Лютерову чернильницу! Сам же меня считает за сон и кидается стаканами в сон! Это по-женски!»²²⁴

В это время входит Алеша с вестью, что Смердяков повесился.

«- Я ведь знал, что он повесился, – проговорил как-то задумчиво Иван.

– От кого же?

– Не знаю, от кого. Но я знал. Знал ли я? Да, он мне сказал. Он сейчас

еще мне говорил...

– Кто – он?²²⁵ – спросил Алеша, невольно, оглядевшись кругом.

– Он улизнул... Он тебя испугался, тебя, голубя. Ты «чистый Херувим». Херувим... Тебя Дмитрий Херувимом зовет. Громовой вопль восторга Серафимов! Что такое Серафим? Может быть, целое созвездие. А может быть, все-то созвездие есть всего только какая-нибудь химическая молекула...

– Брат, сядь, – проговорил Алеша в испуге. – Сядь, ради Бога, на диван. Ты в бреде...

– Нет, нет, нет! – вскричал вдруг Иван. – Это был не сон! Он был, он тут сидел, вот на этом диване. Когда ты стучал в окно, я бросил в него стакан... вот этот... Постой, я и прежде спал, но этот сон не сон. И прежде было. У меня, Алеша, теперь бывают сны... но они не сны, а наяву: я хожу, говорю и вижу... а сплю. Но он тут сидел, он был вот на этом диване... Он ужасно глуп, Алеша, ужасно глуп...

– Кто глуп? Про кого ты говоришь, брат?

– Черт! Он ко мне повадился. Два раза был, далее почти три. Он дразнил меня тем, будто я сержусь, что он просто черт, а не сатана с опаленными крыльями, в громе и блеске. Но он не сатана, это он лжет. Он самозванец. Он просто черт, дрянной, мелкий черт. Он и в баню ходит. Раздень его и наверно отыщешь хвост, длинный, гадкий...

– А ты твердо уверен, что кто-то тут сидел? – спросил Алеша.

– Вон на том диване, в углу. Ты бы его прогнал. Да ты же его и прогнал: он исчез, как ты явился. Я люблю твое лицо, Алеша. Знал ли ты, что я люблю твое лицо? А он²²⁶ – это я, Алеша, я сам. Все мое низкое, все мое подлое и презренное! Он ужасно глуп, но он этим берет. Он хитер, животно хитер, он знал, чем взбесить меня. Он все дразнил меня, что я в него верю, и тем заставил меня его слушать. Он надул меня, как мальчишку. Он мне, впрочем, сказал про меня много правды. Я бы никогда этого не сказал себе. Знаешь, Алеша, я бы очень хотел, чтоб он на самом деле был он²²⁷, а не я!"²²⁸

И хотя Иван бесконечно самоуверен, но он до боли жгуче ощущает, что диавол самым интимным образом врос в его самосознание. Наконец, он видит, что диавол – главная творческая сила его атеизма и его анархизма. Но одно чувство раздирает его душу и одна мысль сокрушает его сердце: это – ощущение и мысль, что его природа не в состоянии долго переносить такое интимное общение с диаволом. Вся его природа, посрамленная, униженная и угнетенная, восстает против своей диавольской философии, против своей диавольской этики. И он,

понуждаемый какой-то внутренней, неодолимой необходимостью, идет в суд, где расследуется дело об убийстве его отца Федора Карамазова, и пред всеми заявляет, что Смердяков – убийца, а не Дмитрий Карамазов.

– «Нашего отца убил Смердяков, а не брат. Он убил, а я его научил убить... – говорит Иван.

– То-то и есть, что в уме... и в подлом уме, в таком же, как и вы, как и все эти... рожи! – обернулся Иван на публику.

– Успокойтесь, не помешанный, я только убийца!

– Кто ваш свидетель?

– С хвостом, ваше превосходительство... *Le diable n'existe point! existe point!* Не обращайтесь внимания, дрянной, мелкий черт...»²²⁹

Тайна личности Ивана раскрыта. Она состоит в интеллектуальном родстве и интимных дружеских отношениях с дьяволом. И как дьявол говорит Ивану: «Я – сатана, и поэтому ничто человеческое мне не чуждо», с таким же правом и Иван может сказать дьяволу: «Я – человек и думаю, что ничто сатанинское мне не чуждо». Человек и дьявол становятся как бы синонимами; они могут соперничать друг с другом и заменять один другого в нашем человеческом мире, а возможно, и еще в каких-то других мирах.

Раскрыв тайну личности Ивана, Достоевский в то же время раскрывает тайну и всех других отрицательных, атеистически и анархически настроенных типов, ибо Иван – незаменимый представитель их и апологет. *Prima causa* их личностей найдена: это интеллектуальный союз и дружба с дьяволом. Это в некотором смысле чувствует и Ставрогин. На слова Дарьи Павловны: «Да хранит вас Бог от вашего демона!» он отвечает: «О, какой мой демон! Это просто маленький, гаденький, золотушный бесенок с насморком»²³⁰. Раскольников также в известной мере знает об участии дьявола в его преступлении. Он исповедует Соне: «Соня, это ведь дьявол смущал меня... Соня, я хотел тебе только одно доказать: что черт-то меня тогда потащил, а уж после того мне объяснил, что не имел я права туда ходить, потому что я такая же точно вошь, как и все. Насмеялся он надо мной, вот я к тебе и пришел теперь!»²³¹

Тайна атеистической философии и анархической этики открыта и засвидетельствована: эта тайна – дьявол. Подпольная человекомышь закончила круги своего усовершенствования, она взобралась на самую вершину своих устремлений, осуществила полноту своей личности, она стала человекобогом. А это значит, в смысле наших земных реальностей, что она стала человекодьяволом.

Так в таинственных границах нашего людского бытия, когда видимое претворяется в невидимое, обретает облик видимого, разыгрывается сложнейшая драма: некие невидимые силы, желанные или нет, тайно и искусно внедряются в мир человеческих мыслей, ощущений, желаний, намерений, соучаствуют с нами незаметным образом, сотрудничают при создании философии и этики, участвуют в полнокровной жизни человека и оставляют видимые и невидимые следы на всем, с чем человек связан. Достоевский в своем пророческом ясновидении открыл таинственное участие невидимых сил в жизни современного человека, в особенности при создании его атеистической философии и анархической этики. И в этом его гениальное прозрение и пророческое откровение.

Der Herr. Hast du mir weiter nichts sagen?

Kommst du mir immer anzuklagen?

Ist auf der Erde ewig dir nichts recht?

Mephistophels. Nein, Herr! Ich finde dort, wie immer, Herzlich schlecht.

Господь: Опять ты за свое?

Лишь жалобы да вечное нытье?

Так на земле все для тебя не так?

Мефистофель: Да, Господи, там беспросветный мрак.

(Перевод Пастернака)

«Faust», Erster Teil.

Ich bin der Geist? Der stets vermeint!

Und das mit Recht; denn alles, was entsteht,

Ist werth, dass es zu Grunde geht;

Drum besser war's, dass nichts entstunde.

Мефистофель отвечает: «Часть силы той,

Что без числа творит добро, всему желая зла».

Ein Teil von jener Kraft,

Die stets das Buse will und stets das Gute schafft!

(Faust, Erster Teil)

(Перевод Пастернака)

Достоевский – легион

Если бы мы захотели узнать диагноз человечества нового времени, то этот диагноз уже установлен. Его поставил Достоевский самым точным и смелым образом, как никто до него этого не сделал. Диагноз следующий: вера человека в самого себя – это самая опасная болезнь, которой смертельно болеет европейское общество.

Человек! Какая в нем загадочность, и какие в нем возможности, и какой хаос вмещает в себе это существо! А вера в человека? Именно тут зарождается множество всяческих новых бескрайностей и бесконечностей: грустных, серых, черных, золотистых, голубых... А в них – и рай, и ад.

Верой в человека не только проникнуто, но и определяется все творчество европейского человека. Вся европейская культура и вся цивилизация являются плодом этой веры и стоят на ней, как на краеугольном камне. Сам тип европейского человека развился и сформировался на этой вере, поэтому совершенно логично, что вера в человека переросла в его обожение и в некоей человекомании получила свой завершенный облик. Если человек провозглашается центром мира, то он однажды должен стать центром всего сущего. Антропоцентризм неминуемо завершается культом человека. Вера в человека имеет свои законы. Главный из них – это: человек – единственное, что заслуживает внимания, единственное, что подлежит обожению, а потому – не имей других богов, кроме человека!

Всестороннее применение закона веры в человека и все последствия, которые из него вытекают, Достоевский неподражаемо показал в образах своих отрицательных героев, в своих отважных борцах за человека и его личность, в своих смелых создателях человекобога. Обладая ясновидением пророка, он показывает нам развитие этой веры от ее зачатков до полного расцвета; он нам не только ясно показывает, но неопровержимо доказывает, что человек, как существо в своей эмпирической данности, не располагает такой силой, которая делала бы его единственным творцом, воспитателем и создателем своей личности. Сам по себе человек не в состоянии с помощью своих органов чувств и сознания осознать самого себя во всей своей полноте. И еще в меньшей мере он в состоянии найти центр и периферию своей личности или же в ней отделить человеческое от сверхчеловеческого, естественное от сверхъестественного, земное от потустороннего. Более того, человек совершенно не способен использовать себя в качестве некоего эталона, с помощью которого можно

было бы объяснить и понять себя самого. В этом смысле все антигерои Достоевского, создатели человекобога, могли бы считаться исключительной иллюстрацией глубокой мысли апостола Павла «Они измеряют себя самими собою и сравнивают себя с собою неразумно» (2Кор.10:12).

Но главное, самое главное открытие Достоевского, которое имеет все особенности откровения, состоит в том, что он нашел и открыл главные психические и метапсихические причины современного атеизма, анархизма и нигилизма. Одним словом, он отыскал сверхчувственный метафизический корень зла, лежащий за пределами органов чувств человека. Будучи человеком с пророческим видением и обладая глубиной прозрения, Достоевский не мог и не хотел остановиться на иллюстрации современного личного и социального зла. Ведомый пророческим вдохновением, он бесстрашно углубился в неисследованные глубины и праглубины человеческого зла и к большой неожиданности многих, не желающих этого открытия, он объявил: главная психологическая причина современного атеизма и анархизма – диавол, который искусным и загадочным образом использует человеческий евклидов ум как свой медиум.

Человек из-за ограниченности своей природы и своих возможностей не может и никогда не смог бы быть самостоятельной и единственной причиной всего людского зла. Он есть и может быть только одной из причин этого зла. И если бы он захотел, то не смог бы найти в себе самом такую неисчерпаемую и бескрайнюю силу, которая сделала бы его единственной причиной всеобъемлющего зла. Человеческая природа и зла и нечиста, но она зла и нечиста из-за того, что видимо и невидимо пронизана метафизическим злом и метафизической нечистотой, а именно – диаволом. Сверхчувственно и сверхразумно, но вполне реально эта метафизическая нечистота таинственно пронизывает дух человека, и когда человек мыслит, эта нечистота участвует в его мыслях как движущая сила. И тогда: Je pense donc je et le diabl est я мыслю, следовательно: я – существую и диавол существует. Ибо в этом случае человеческая мысль не что иное, как психологическое доказательство существования диавола. Более того, все творение, вся вселенная становятся космическим доказательством существования диавола, если таким образом человек мыслит, изучает, объясняет и толкует что-либо.

Проблема человеческого зла неминуемо имеет свой отпечаток в проблеме космического зла, а поэтому и проблема человека одной из своих сторон непреложно вытекает из проблемы диавола. Такая

постановка и взаимосвязанность проблем человека и дьявола может рассердить людей маломыслящих, ибо они желают беззаботно прожить на малюсеньком островке своей личной эгоистической жизни. Их бессмыслие не ищет ни начала, ни конца таким реалиям, как человек и мир, и таким явлениям, как атеизм, анархизм и нигилизм. Но когда речь идет о Достоевском, то речь идет о человеке, который каждую свою мысль доводил до конца и каждую свою проблему решал целостно. Его сердце плавилось как воск в огне вечных проблем и не хотело смириться до тех пор, пока он их не разрешал полностью и окончательно.

Как никому другому, Достоевскому нельзя отказать в абсолютной искренности и невиданной храбрости в утверждении и защите своих убеждений. Если и можно кого-нибудь назвать великомученником атеизма и анархизма, то это – Ивана Карамазова: никто и никогда так мучительно смело и искренне не исповедовал основные догматы атеизма и анархизма: неприятие мира, неприятие Христа, «все дозволено», создание человекобога. И в то же время никто и никогда не обладал таким умом и такой смелостью, чтобы признать и заявить, что эти догматы по сути – основные догматы дьявольской философии и этики, которые дьявол искусно и лукаво нашептывает человеку. Психологический анализ личности Ивана это ясно нам показывает. Достоевский сам на личном опыте убедился в реальном существовании дьявола, поэтому он решительно заявляет: «Неверие в дьявола есть французская мысль, есть легкая мысль»²³².

Суровая реальность физической и метафизической силы зла по своей безмерной глубине и необозримой высоте настолько превосходит все, что называется человеком, что было бы легкомысленно видеть только в самом человеке начальную и конечную созидательную причину зла. Человек зол в своей эмпирической жизни, но он не зол по сути природы своего существа. Он зол, ибо участвует в злой логике, в злой воле, в злом рассудке дьявола. Его логика каким-то непонятным образом сочетается с логикой злого духа, а его ум – со зломыслием духа, а поэтому по логике сатанизованного человека преступление не только нечто дозволенное и законное, но даже должно быть признано «самым необходимым и самым умным выходом»²³³.

Для сатанизованного человеческого интеллекта логичность и рациональность греха естественна и очевидна, ибо грех, по непревзойденному определению святого Макария Великого, – «логика и суть сатаны»²³⁴. Отсюда все герои зла у Достоевского в романе «Бесы» видят в преступлении и грехе логику и обоснование всей жизни и всякой

жизни вообще. Отсюда и аксиома «все дозволено» логична и необходима и для Ницше – идеолога и творца сверхчеловека, который заявил: «alles ist erlaubt»²³⁵. Достоевский в этом смысле был предтечей Ницше. Этот принцип был близок также логике Фауста, которую вселил в него Мефистофель, «erlaubt» погубил простодушную Маргариту. Поскольку грех рационально и логически оправдан в таком мире, как наш, постольку Великий инквизитор допускает всякий грех, сделанный с его разрешения²³⁶.

Добровольное подчинение своего ума духу зла порабощает и волю человека, понижает ее злом, а поэтому дух зла часто пользуется такой волей как своим орудием. Вследствие этого все творцы человекобога вращаются вокруг оси своего существа, своей природы. А своеволие, в них выраженное, не что другое, как человеческая воля, пронизанная злой волей духа зла. Ничто иное так сильно не порабощает человеческую личность в солипсическом эгоизме, как сатанизированное своеволие человека. А диавол по сути своей природы не что иное, как совершенный солипсический эгоизм. Гениальный аналитик и талантливый знаток дьявольской психологии Достоевский специально подчеркнул неспособность диавола к воплощению²³⁷, то есть к возможности выхода из узкого и смрадного кокона солипсического эгоизма, к возможности воплощения в самопожертвенном подвиге любви. Корень греха или грех в своей метафизической сущности лежит в настойчивом утверждении: «я-я».

«Грех – в нежелании выйти из состояния самотождества, из тождества «яя», или, точнее, «Я»! Утверждение себя как себя, без своего отношения к другому, т.е. к Богу и ко всей твари, само-упор невыхождения из себя и есть коренной грех или корень всех грехов. Иными словами, грех есть та сила охранения себя как себя, которая делает личность «самоистуканом»²³⁸, идолом себя, «объясняет» Я через Я же, а не через Бога, обосновывает Я на Я, а не на Боге. Грех есть то коренное стремление Я, которым Я утверждает себя в своей способности, в своем единении и делает из себя единственную точку реальности. Грех есть то, что закрывает от Я всю реальность, ибо видеть реальность – это именно значит выйти из себя и перенести свое Я в не-Я, в другое, в зримое, т.е. полюбить. Отсюда грех есть то средостение, которое Я ставит между собою и реальностью, – обложение сердца корою. Грех есть непрозрачное – мрак, мгла, тьма, почему и говорится «тьма ослепила ему глаза» (1Ин.2:11). Грех в своем беспримесном, предельном развитии, т.е. геенна – это тьма, беспросветность, мрак... Свет есть являемость реальности; тьма же,

напротив, отъединенность, разрозненность реальности, – невозможность явления друг другу, невидимость друг для друга. Само название ада или Аида указывает на таковой, геенский разрыв реальности, на обособление реальности, на солипсизм, ибо там каждый говорит: «Solus ipse sum!...» Ад – это то место, то состояние, в котором нет видимости, которое лишено «видимости», которое невидно и в котором не видно»²³⁹.

Анализируя личности своих отрицательных героев до самых тончайших психофизических праэлементов, Достоевский в своей художественной прозорливости пришел к заключению, что грех и зло – это та таинственная сила, которая расстраивает, расщепляет, раскалывает целостность и целесообразность человеческой личности и подвергает ее обезличиванию. Самую живую, самую реальную и самую гениальную картину этого Достоевский нам представляет в Раскольникове. С невиданным реализмом он описывает, как зарождается грех в Раскольникове, как постепенно он развивается, как незаметно роднится с его душой, сердцем и с его волей: грех заполняет все его существо до тех пор, пока окончательно не овладеет им и не превратит его в свое орудие.

Наряду с этим Достоевский проникательно прослеживает и описывает, как разоряющая сила греха постепенно, но уверенно расстраивает, раскалывает и ум, и сердце, и душу, и волю, и всю натуру Раскольникова. Бациллы греха стремительно распространяются во всем его существе, заражают и поражают душу грехом полностью. Как от малой толики закваски заквашивается тесто, так и малая толика греха в душе Раскольникова заполнила грехом всю его личность.

В Раскольникове воистину совершился страшный раскол. Причиной тому было добровольное и осознанное предание и подчинение себя греху. Раскольников стал раскольником, ибо грех – роковая раскалывающая сила, которая в человеческой натуре ведет к расколу, разъединению, к распаду, к смерти. Эту раскалывающую силу греха Достоевский разложил на ее составные части, проанализировал их до мельчайшего состояния атома и пришел к заключению, что эта сила греха наделена разумом и волей. И как таковая, она проникает в человека, действует и приживается в нем с помощью его разума и воли. И с их помощью она разрушает и человека и общество. Окончательной же целью этой силы греха является следующее: с помощью зараженных грехом человеческого разума и воли полностью разложить и уничтожить человека и человечество, то есть привести их к сумасшествию и к смерти.

Раскольников после болезни вспоминает свои сновидения, когда он лежал в горячке и бреде. «Ему грезилось в болезни, будто весь мир

осужден в жертву какой-то страшной, неслыханной и невиданной моровой язве, идущей из глубины Азии в Европу. Все должны были погибнуть, кроме некоторых, весьма немногих избранных. Появились какие-то новые трихины, существа микроскопические, вселявшиеся в тела людей. Но эти существа были духи, одаренные умом и волей. Люди, принявшие их в себя, становились тотчас же бесноватыми и сумасшедшими. Но никогда, никогда люди не считали себя настолько умными и непоколебимыми в истине, как считали эти зараженные. Никогда не считали непоколебимее своих приговоров, своих научных доводов, своих нравственных убеждений и верований. Целые селения, целые города и народы заражались и сумасшестввовали. Все были в тревоге и не понимали друг друга, всякий думал, что в нем одном заключается истина, и мучился, глядя на других, бил себя в грудь, плакал и ломал себе руки. Не знали, кого и как судить, не могли согласиться, что считать злом, что добром. Не знали, кого обвинять, кого оправдывать. Люди убивали друг друга в какой-то бессмысленной злобе. Собирались друг на друга целыми армиями, но армии, уже в походе, вдруг начинали сами терзать себя, ряды расстраивались, воины бросались друг на друга, кололись и резались, кусались и ели друг друга. В городах целый день били в набат: созывали всех, но кто и для чего зовет, никто не знал того, а все были в тревоге. Оставили самые обыкновенные ремесла, потому что всякий предлагал свои мысли, свои поправки, и не могли согласиться; остановилось земледелие. Кое-где люди сбегались в кучи, соглашались вместе на что-нибудь, клялись не расставаться, – но тотчас же начинали что-нибудь совершенно другое, чем сейчас же сами предполагали, начинали обвинять друг друга, дрались и резались. Начались пожары, начался голод. Вся и все погибали. Язва росла и подвигалась дальше и дальше»²⁴⁰.

Это видение Раскольниковова имеет все признаки пророческого видения, поэтому пролог к роману «Бесы» по праву можно считать пророческим. В этом романе Достоевский с драматической силой раскрывает и с невероятной убедительностью показывает, как атеизм и анархизм, подобно микробам бешенства, смерти и уничтожения, заражают человеческую природу, овладевают ею, доводят ум до безумия, душу до сумасшествия, личность до уничтожения. Одним словом, они превращают людей в бесов, а героев в антигероев. Все бесы работают над распространением зла в обществе по-анархически беспредельно и по-атеистически безбоязненно. Похоже, что их призвание и их миссия быть злыми до одержимости и распространять зло, пока все и вся не будут охвачены общей одержимостью. Средств для осуществления этого

предостаточно. Это всякого рода преступления, которые бесы остроумно придумывают и талантливо внедряют своим пораженным грехом умом и дьявольской волей. Более того, можно сказать, что этот роман Достоевского является исключительно психологически разработанной и гениально реалистически разработанной современной биографией старого евангельского легиона. Без сомнения, Достоевский специально поставил эпиграфом к своему роману, как лейтмотив, евангельскую притчу о легионе (Лк.8:27–37).

У читателя романа возникает ощущение, что евангельский легион как бы вселился в героев Достоевского, и они живут их жизнями. Их умы, придавленные легионом, распадаются, беснуются, объединяются в легионы, которые живут в склепах солипсически-эгоистического рационализма. Их воля, плененная легионом, беснуется, расслабляется и разрушается, питается сама собой, своей безумной исступленностью и гордостью. Считая свой ум, плененный легионом, самой большой ценностью и высшим мерилем всего, Кириллов делает логическое заключение, что самоубийство, то есть полное сумасшествие и распад личности – единственный путь стать человеку человекобогом. Поэтому он убивает себя «в рассудке»²⁴¹, а это значит: убивает себя под диктатом логических, оправданных и неопровержимых доводов здравого разума.

Если кто и проанализировал зло современного человечества до самых глубин его пракорней, в индивидуальном и социальном планах, то это, без сомнения, сделал Достоевский. Путем гениального психологического и онтологического анализа он показал и доказал, что главный творец всяческого зла – диавол, который с помощью зараженного грехом ума атеиста и осатанизированной воли анархиста искусно создает свою дьяволодицею. Ибо главная цель верховного духа зла – показать, что существование диавола – логическая и естественная потребность человеческой жизни, и доказать, что грех – это то, что необходимо и нормально в сфере земных реальностей и отношений.

Наряду с этим Достоевский абсолютно по-новому и совершенно реалистично доказал, что диавол – закоренелый рационалист. Особенно ясно это обнаруживается в методе, при помощи которого диавол завоевывает и поработывает человека и овладевает им. Этот метод состоит в незаметном для человека сближении и породнении дьявольского ума с человеческим (конрационализация). А первым и главным признаком этого является интеллектуальная гордость. Интеллектуальный союз человека и диавола всегда проявляется как безмерная гордость во всех сферах человеческой жизни, но в особенности в самонадеянном бунте против Бога

и в анархическом мятеже против человека.

Как только ум возропщет против Бога – это знак того, что он заражен сатанинской гордостью. «О гордости же сатанинской мысля так, – говорит Достоевский, – трудно нам на земле ее постичь, а потому столь легко впасть в ошибку и приобщиться ей, да еще полагая, что делаешь нечто великое, и в жизни начнет действовать метафизическое злоумие; тогда, как неизбежный результат этого, начнется богоборческий бунт, который обычно заканчивается отрицанием Бога и Его творения – мира. Такой человек, вольно или невольно, осознанно или неосознанно, попускает, чтобы потусторонняя злоумная сила начала использовать его ум и сердце как орудия для своего богоборческого богословия, ибо богословие демона – это всегда богоборчество»²⁴².

Стоит богоборческому расположению духа захватить человека, как оно разлаживает весь его внутренний мир, расстраивает духовное устройство, расслабляет силу воли, извращает ум и приводит к полному безумию. Без-божник неминуемо без-умный, чтобы быть без-божным, должно быть без-умным. Это Достоевский самым убедительным образом доказывает судьбами своих антигероев, тем самым свидетельствуя о неоспоримости мудрой мысли псалмопевца «Рече безумен в сердце своем: несть Бог» (Пс.13:1).

Человеческая природа всегда алчет и всегда жаждет бесконечности, хотя бы какой-нибудь бесконечности. А поэтому она не терпит ни психологической, ни онтологической относительности. Люди безбожного мировоззрения пребывают в некоем неодолимом желании обладать бесконечным и абсолютным, они стремятся свое безбожное расположение духа обесконечить, сделать абсолютным, чего и добиваются, претворив безбожие в свое божество. Да, именно свое безбожие претворяют они в свое божество, в своего идола, своего кумира. Ибо человеческая природа не может выдержать жизни без божества, хотя бы какого-нибудь божества. Об этом свидетельствуют отрицательные герои Достоевского. Их гордость ума, основанная на интеллектуальном союзе с дьяволом, претворяется постепенно в божество, в идола, которому они приносят все и вся.

Некоторые люди в своей гордости ума и безбожии доходят до сатанинской безграничности и одержимости. Достоевский знает и таких людей, которые намеренно и осознанно увековечивают в себе сатанинское расположение духа, полностью подчиняют себя сатане и добровольно идут во мрачную вечность преисподней. «О, есть и в аде пребывшие гордыми и свирепыми, несмотря уже на знание бесспорное и на созерцание правды неотразимой, есть страшные, приобщившиеся сатане и гордому духу его

всецело. Для таких ад уже добровольный и ненасытимый; те уже доброхотные мученики, ибо сами прокляли себя, прокляв Бога и жизнь. Злобною гордостью своею питаются, как если бы голодный в пустыне кровь собственную свою сосать из своего же тела начал. Но ненасытимы во веки веков и прощение отвергают, Бога, зовущего их, проклинают. Бога живого без ненависти созерцать не могут и требуют, чтобы не было Бога жизни, чтобы уничтожил Себя Бог и все создание Свое. И будут гореть в огне гнева своего вечно, жаждать смерти и небытия, но не получают смерти...»²⁴³

Злобная богоборческая гордость имеет свою вечность, солипсическую и эгоистическую вечность. Потому что невозможно быть человеком и не стремиться к вечному, не сотворить вечным хотя бы одно из свойств своей природы. Хочет человек или не хочет, но что-то человеческое в нем постоянно взывает к вечности. В гордом легкомыслии своем человек может не признавать существование вечности, но он не в состоянии запретить себе, чтобы это чувство неприятия вечности не стало бы вечным свойством его самосознания и его чувствования. Без сомнения, трагедия человека в том, что он не может уничтожить свое самосознание.

В таинственной природе человеческого существа есть что-то вечное. Это вечное разлито по всему его существу, пронизывая его самосознание до недостижимых глубин. Ибо все самое главное в человеке питается от источника вечности. Когда антигерои Достоевского решительно и намеренно утверждают: нет Бога, нет бессмертия, нет дьявола, они тем самым утверждают нечто вечное в себе. Достоевский неоспоримо доказал, что этим вечным в них является некая сила, создающая их философию о мире и жизни. Имя этой силе – дьявол.

Нет равных Достоевскому в мировой литературе, когда речь идет о демонологии. Он – писатель и прозорливец. Его очи в сущностях этого мира видят то, чего самые одаренные люди не видят. Но его исключительная заслуга состоит в том, что он открыл метод дьявольской деятельности в сфере человеческой жизни. Этот метод виртуозно совершенен: дьявольская сила таинственно растекается по человеческому существу, незаметно пропитывает собой ткани души, постепенно овладевает психическими свойствами человека. И, в конце концов, человек неосознанно ощущает эту силу как часть своей собственной, как суть своего самосознания. И когда он думает, ощущает и действует, эта сила незаметным образом полномерно участвует в его мыслях, в его чувствах и во всей его деятельности, хотя он самоуверенно считает себя независимым, автономным, самостоятельным и самобытным и в мыслях, и

в чувствах, и в поступках. Всю свою ужасную силу диавол использует с художественным совершенством, чтобы незаметным образом сродниться с разумом человека.

Будучи тайнозрителем человеческой души, Достоевский видел все это до самых тонкостей и потрясаяще описал. Есть ли равные ему в знании диавольской психологии и методики? диавол был бы слишком глуп, если бы явился людям «в громах и молнии», как явился Мефистофель Фаусту. Есть какое-то праисконное лукавство и необыкновенная «рациональность» в диавольском обхождении с людьми. Достоевский это остро ощущал и точно знал. О нем можно было бы с правом сказать «он знает глубины сатанинские» (Откр.2:24). Самые обольстительные соблазны и непреодолимые искушения, которыми сатана искушает и может искушать Сына Божьего и сынов человеческих, ему хорошо известны. Об этом свидетельствует его Великий инквизитор. В нем ощущается кошмарное присутствие сатаны. Он пленяет, поражает и обескураживает неслыханной и невиданной критикой Христа и непревзойденной апологетикой греха и зла. Мефистофель Гете в сравнении с сатаной Достоевского слишком литературен, чтобы быть олицетворением абсолютного зла и невиданного бунта против Бога. Гете говорит о сатане, а у Достоевского ощущается присутствие сатаны и сатанинского. Поэтому некоторые считают Достоевского носителем диавольского духа. Так, Вересаев называет Достоевского «подвижником диавола»²⁴⁴. Отто Биербаум пишет о Достоевском: «Русского диавола имел он в своем теле! И еще какого диавола! Во всех обликах! Легион диаволов! Поэтому его произведения – настоящий пандемониум»²⁴⁵.

И это правда, грустная правда. Но правда и в том, что только будучи таковым, Достоевский мог в совершенстве познать тайну диавольской природы, его психологию, логику, методику. Только будучи таковым, каким он был, Достоевский смог открыть, что диавол – это та единственная сила, которая разоряет, расстраивает и обезличивает личность человека. Только будучи таковым, каким он был, Достоевский с помощью своих антигероев и творцов человекобога смог написать диаволицею, которой мир не видывал.

Достоевский – бесстрашный борец за личность человека, Достоевский – мятежный богоборец и безжалостный христородец, Достоевский – анархист и нигилист, Достоевский – русский легион, но только такой Достоевский мог реально ощутить и по-настоящему прочувствовать всю отвратительность, всю гадость, всю уродливость метафизического чудовища – диавола и в отчаянии страстно взалкать Того, Который –

единственная надежда всех отчаявшихся, единственное прибежище всех проклятых и единственное утешение человека и человечества...

Православная теодицея – единственное решение вечных проблем

Достоевский бесспорно и неопровержимо доказал, что диавол существует. Но для Достоевского было бы катастрофой, не сумей он так же неопровержимо и бесспорно доказать существование и Бога. Лучше было бы ему тогда умереть в колыбели. И мы тогда не узнали бы об аде, страшнее, чем у Данте, и о мучениях, более тяжких, чем муки Прометея. Да, тяжело ему, но еще тяжелее нам, ибо без Бога невозможно вынести кошмарное присутствие диавола Достоевского.

Достоевский до предела отяготил жизнь людей некоей метафизической горечью, к которой в изобилии присовокупил яд убийственного скепсиса. Из своей мятежной души, как из действующего вулкана, неустрашимый исповедник атеизма извергает некую огнедышащую лаву отчаяния, и в этой лаве погребаются мизерные умы немощных существ, называемых людьми. Славянский создатель диаволицей имеет на то весомые основания: это мир и человек. Именно существованием такого мира и такого человека он не только неопровержимо доказывает существование диавола, но, как никто другой, и обосновывает существование греха, зла и диавола. Мир, каким он является, – это производное или безумия, или отчаяния, или результат какой-то пакостной шутки. А человек? Человек, каким он является, – это все вместе взятое и еще хуже: он – врата, через которые входит и исходит некое зловещее отчаяние, которое на своем пути облекается в него как в свое тело. Можно сказать, что некое метафизическое отчаяние нашло свое воплощение в человеке в виде невероятной тоски и потрясающего безумия.

В таком мире одно определено и очевидно: очевидно существование диавола. Но можно ли жить в мире, в котором диавол существует, а Бога нет? «Можно», – говорит Достоевский. Но такая жизнь неминуемо заканчивается безумием или самоубийством. Третьего не дано. Об этом нам свидетельствуют идеологи и творцы человекобога. Для того чтобы отыскать хотя бы минимальную целесообразность существования человека в таком мире, надо вначале хотя бы в определенной мере преодолеть мрачную, безумную трагедию мира. Это возможно только тогда, когда сердце заполнится чувством, а дух – сознанием того, что невозможно жить в мире, в котором диавол есть, а Бога нет.

Именно таким ощущением пламенеет сердце Достоевского, и таким сознанием возгорается его дух. Он не может жить в мире, в котором

диавол есть, а Бога нет. Такой мир не дает спокойствия духу Достоевского. Он исполнен одного страстного желания – найти Бога, или жизнь его теряет всякий смысл, он не сможет жить дальше без Него. Это главная жизненная дилемма Достоевского. Все в нем, как некий инстинкт самосохранения, обратилось в поиски Бога, Бога, Который смог бы объяснить, осмыслить и оправдать и такой мир, и такого человека. Если в мире и над миром нет Бога, то тогда мир этот – дом для умалишенных. Если над человеком и в человеке нет бессмертия, то тогда человек – самый главный умалишенный в этом доме для сумасшедших, который миром зовется.

Без Бога мир – невыносимая бессмыслица, без бессмертия человек – олицетворение некоей злобной насмешки. «Нет Бога, нет бессмертия, чего ради тогда жить?» – вопиет Достоевский²⁴⁶. Нет смысла в жизни, если в мире и в человеке не отыщется ничего божественного и бессмертного. Поэтому Достоевский прорывается через все препоны временного и преходящего в мире и в человеке и погружается в бездонный мрак и глубины, отыскивая искорки божественного и бессмертного. И после долгого и мучительного поиска он их находит. Благодаря этому личному опыту он обретает непоколебимую уверенность, которая гласит: «Без веры в свою душу и в ее бессмертие бытие человека неестественно, невыносимо и невыносимо»²⁴⁷.

По сути, только когда человек начинает верить в свое личное бессмертие, он становится человеком. Только в бессмертии человеку открывается бессмертный смысл его жизни, и только в вечном он находит полное решение вечных проблем личности человека. «В результате ясно, что самоубийство, при потере идеи о бессмертии, становится совершенной и неизбежной даже необходимостью для всякого человека, чуть-чуть поднявшегося в своем развитии над скотами. Напротив, бессмертие, обещая вечную жизнь, тем крепче связывает человека с землей. Тут, казалось бы, даже противоречие: если жизни так много, т.е. кроме земной, – и бессмертная, то для чего бы так дорожить земною-то жизнью? А выходит именно напротив, ибо только с верой в свое бессмертие человек постигает всю разумную цель свою на земле. Без убеждения же в своем бессмертии связи человека с землей прерываются, становятся тоньше, гнилее, а потеря высшего смысла жизни (ощущаемая хотя бы лишь в виде самой бессознательной тоски) несомненно ведет за собою самоубийство... Если убеждение в бессмертии так необходимо для бытия человеческого, то, стало быть, оно и есть нормальное состояние человечества, а коли так, то и самое бессмертие души человеческой существует *несомненно*²⁴⁸.

Словом, идея о бессмертии – это сама жизнь, живая жизнь, ее окончательная формула и главный источник истины и правильного сознания для человечества»²⁴⁹.

Без сомнения, идея бессмертия связывает человека со всем, что есть бессмертного и возвышенного во всех мирах. Эта идея бесконечности наполняет чудной таинственностью суть жизни человека. И что самое главное, она связывает его в неразрывном соединении с Подателем жизни, из Которого струится жизнь в каждой твари и во всех мирах. «Лишь из одной веры в бессмертие души, – говорит Достоевский, – выходит весь высший смысл и значение жизни, выходит желание и охота жить»²⁵⁰. Вера в бессмертие души «есть единственный источник живой жизни на земле, – жизни, здоровья, здоровых идей и здоровых выводов и заключений»²⁵¹.

Бессмертия не может быть без Бессмертного. В Бессмертном – начало и конец бессмертия. Оно предполагает существование Бога как совершенную необходимость. Без Бога бессмертие не может ни возникнуть, ни существовать, ибо без Него оно было бы нереальным и абстрактным. «Бессмертие души и Бог – это все одно, одна и та же идея»²⁵², – пишет Достоевский. Без Бога личность и онтологически, и психологически, и феноменологически невозможна. Во всех своих проявлениях и свойствах личность человека обусловлена Богом. Можно установить неопровержимый принцип: без Бога – нет личности, или: без Бога – нет человека. Есть бессмертие души, ибо есть Бог; Бог есть, ибо есть бессмертие души. Одно предполагает другое, и одно доказывается другим. Если Бог в чем-либо, без сомнения, существует, то Он существует в бессмертии души. И если где-либо существует бессмертие души, то оно существует в Боге. Одно заключается в другом. Действительно, бессмертие в Боге, но и Бог в бессмертии, ибо Бог таинственным образом имманентен бессмертной сущности человека. Присутствие Бога в человеческой природе наилучшим образом проявляется в ощущении личного бессмертия. И когда это ощущение преобразуется в сознание, тогда самосознание становится самым надежным путем к богопознанию. Нет более сильного, лучшего и убедительного доказательства существования Бога, чем человеческая душа. Если существование Бога нужно доказывать, то нет лучшего доказательства, нежели существование бессмертия души. Если бессмертие не было бы имманентно человеческой природе, то ураган бунта Достоевского легко выветрил бы из человека идею о Боге. Но бессмертие имманентно человеческому духу, а поэтому и естественно, и логично, и неустранимо.

Во всем, что есть человеческого, присутствует Бог через бессмертие.

Всякое возвышенное чувство и всякая мысль о бессмертии суть плоды таинственной деятельности Бога в бессмертном таинстве человеческой личности. Божественные силы незаметно пронизывают все, что есть человеческого, и тем самым в человеке идет процесс познания своей бессмертности до тех пор, пока бессмертие не станет душой его души и сутью его существа. Без Бога же все, что есть человеческого, утопает в смерти. «Если Бог есть, тогда я бессмертен»²⁵³, – по праву говорит Достоевский.

Ощущение личного бессмертия побеждает в человеке сознание всего происходящего и тленного, разрушает темницу эгоистического одиночества, стирает грань между конечным и бесконечным, соединяет человека с Бессмертным и связывает его мизерное «я» с Вечным. «Размышляйте о человеческом «я», – советует Достоевский в одном письме. – Если мое «я» все осознало, т.е. всю землю и ее аксиому, то, стало быть, это мое «я» выше всего этого, по крайней мере, не укладывается в одно это, а становится как бы в сторону над всем этим, судит и сознает его. Но в таком случае это «я» не только не подчиняется земной аксиоме, земному закону, но и выходит из них, выше их имеет закон. Где же этот закон? Не на земле, где все закончено и все умирает бесследно и без воскресения. Нет ли намек на бессмертие души? Если бы его не было, то *стали бы*²⁵⁴ Вы сами-то, Николай Лукич, о нем беспокоиться, письма писать, искать его? Значит, Вы с Вашим «я» не можете справиться, в земной порядок оно не укладывается, а ищите еще чего-то другого, кроме земли, чему тоже принадлежит оно»²⁵⁵.

Ощущение своей бессмертности выделяет человека, как исключительное существо, из всего сущего на земле. Оно пронизывает человека от самых вершин его сознания до самых темных глубин его инстинкта. Хочет человек того или нет, но в основе этого ощущения бессмертности лежит невероятной силы жизнестойкость. Правда, человек намеренно и осознанно может парализовать это чувство, но никогда не сможет его полностью искоренить и уничтожить. Ни люди, ни демоны не в состоянии придумать смерть, которая бы смогла полностью умертвить в человеке ощущение бессмертия.

В этом отношении современный европейский человек как своеобразный культурный тип представляется характерным. В нем ощущение бессмертия парализовано почти полностью. Вероятно, потому, что люди решили: человек – слишком сложное, широкое и бесконечное существо, надо бы его упростить, сузить и уменьшить. Это легче всего сделать, если в нем парализовать ощущение своей бессмертности. И этому

Европа способствовала всей своей культурой и цивилизацией.

Но как бы ни было ощущение личного бессмертия ослаблено и парализовано, оно все же проявляется в европейском человеке или в виде космической тоски (Weltschmerz, мировая скорбь), или в виде страстной тяги к бесконечному прогрессу во всяком направлении. В конце концов, парализованное ощущение бессмертия страшным образом мстит своему злодею-создателю: лишает его жизненного смысла и приводит к идолопоклонничеству. И человек без устали создает идолов и богов.

Ужасна ирония жизни: как только человек парализует в себе ощущение своей бессмертности, перестает верить в свое бессмертие, он тотчас начинает создавать новых богов и идолов. Это нам Достоевский очень убедительно показывает на примерах своих мятежных антигероев, решительных смертников. Тут мы присутствуем при банкротстве всего человеческого в человеке, переживаем смертельный кризис всех богов и крушение всех идолов, созданных по образу и подобию европейского человека.

Боги Европы не могут отстоять свою божественность, тем более не могут решить проклятые вопросы Достоевского. Это маленькие божки для малых сих, в них веруют легковерные и маловерные. Но где же Бог, в Которого бы смог уверовать такой человек, как Достоевский? Есть ли такой Бог? И если Он есть, то в таком случае не подвергнет ли Его Достоевский самым соблазнительным искушениям, а возможно, и соблазнит и победит Его? Легко веровать легковерным, но как уверовать Достоевскому? Кто ответит на его ужасающий бунт? В роскошном пантеоне Европы много богов, но ни один из них не может решить вечные проблемы и не сможет смирить мятежную и бунтарскую душу Достоевского.

Гонимому ураганом бессмысленной трагедии этого мира Достоевскому необходим Бог, настоящий Бог, чтобы не сойти с ума от ужаса и отчаяния. Он ему более необходим, нежели Шекспиру или Канту, Толстому или Негошу. Более чем кому-нибудь другому, ему необходим Бог, Который был бы в человеке, был бы человеком. Ему нужен Бог, Который смотрел бы на мир глазами человека и не обезумел бы от ужасов. Ему нужен Бог, Который переболел бы всеми болями человека, страдал бы всеми человеческими страданиями и не впал бы в отчаяние, Бог, Который пережил бы смерть и не утратился бы ее, Бог, Который жил бы в таком мире и не проклял бы его, Бог, Который смог бы осмыслить, оправдать, облагодетельствовать, омиловать и мир, и человека, и смерть, и жизнь.

Гонимый отчаянием, как неким страшным драконом, Достоевский с

криком и рыданием бросился к ногам такого Бога – кроткого и благого Господа Иисуса. «Я из бунта вывел и доказал необходимость веры в Христа», – заявляет он²⁵⁶.

Пресветлый Лик Богочеловека Христа воодушевил и навсегда покориł обезумевшего богоборца. Богоборец стал богоприимцем. Благой взгляд кроткого Иисуса проник в его мятежную душу: утихомирил бурю, укротил дух, покориł сердце, исцелил раны. Некогда носимый диаволом Достоевский становится носителем Христа. Свершилось великое таинство, решена проклятая проблема: Богочеловек – единственное, надежное и непогрешимое разрешение вековечных проблем: проблемы мира и человека, добра и зла, жизни и смерти. Он – единственный смысл мира и человека. Он – единственный смысл и цель истории, Он – единственная благая весть и оправдание жизни. Мятежного, не имеющего себе равных христорборца, сладостной стрелой любви Христовой, победиł пресветлый Лик Богочеловека,. «Его нравственная непостижимость, Его чудесная и чудотворная красота»²⁵⁷.

Все в Достоевском сдвинулось, и открылись новые пути. Всем своим существом он ощутил, что Христос – нечто невыразимо новое и бесконечно драгоценное во всем том, что делает человека человеком. Вглядываясь в Лик Богочеловека Христа, он устремился мыслью к Божественной бесконечности, а его желания претворились в страстную тоску по Христу. Влекомый любовью к чудесному, он был обуреваем бескрайней радостью: пресветлый Лик Богочеловека, Который все более и более очаровывает и никогда не разочаровывает, становится единственным постоянным и непреодолимым очарованием во всех мирах. Влюбленный и бесконечно очарованный Им и спасенный Им от атеистического отчаяния и анархического безумия, Достоевский по-апостольски непоколебимо и по-исповеднически неустрашимо проповедует и исповедует истину: Богочеловек есть все и вся во всех человеческих мирах; Он – самая необходимая Необходимость на нашей планете; Он – единственный Спаситель от безысходного отчаяния и самоубийственного скепсиса; Он – единственный Логос, единственная логика, единственный смысл, единственная цель жизни во всех мирах.

Говорят: нет Бога. Но откуда же эта чудесная Личность Христова? Разве наша трусливая планета своей силой смогла бы создать такое чарующее Существо? Разве смогли бы люди выдумать, а тем более оживотворить такого всесовершенного Человека? И хотя Христос во всем по-человечески реален, Он во всем божественно совершенен и идеален. Он не только доказывает, но и являет Бога в телесном облике. Каждым Своим

чувством, каждой мыслью, каждым движением, каждым делом Он являет истинного Бога и настоящего Человека. В Нем нет ничего фантастического, утопического, нереального. Он есть то, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши (Ин.1:1,14). Все в Нем божественно живо и человечески реально. Всяческое Божественное совершенство в Нем стало человеческой реальностью. И если говорить об истине, то в Нем Божественная истина стала человеческой реальностью. Если говорить о правде, о любви, о добре, о красоте, о вечности, то следует признать: в Нем и Божественная правда, и Божественная любовь, и Божественное добро, и Божественная красота, и Божественная вечность стали человеческой реальностью. В каждом моменте Своей земной жизни Он божественно совершенен и по-человечески реален, божественно безгрешен и по-человечески доступен.

Кто сможет отыскать в Нем малейшее зло и обличить Его хотя бы в малейшем грехе, если этого не смогли отыскать самые лукавые соглядатаи человеческого сердца – фарисеи и саддукеи? Их глаза впивались в Него иногда подобно телескопу, иногда микроскопу, выискивая в Нем хотя бы малый грех, хотя бы величиной с молекулу. Если есть что-то бесспорное в нашем человеческом мире, то тогда прежде всего – это безгрешность Христова. Это должен ощутить каждый, кто серьезно всмотрится в Его чудесную Личность и задумается над Ней. Своей безгрешностью Он, без сомнения, доказывает Свою Божественную ипостась, а Своей земной конкретностью – Свою человеческую ипостась. Всем и по-всякому Он в совершенстве показывает и неопровержимо доказывает, что Он и Бог, и Человек – Богочеловек.

Вся исключительная привлекательность Личности Христа состоит в том, что Он одновременно и Бог, и Человек, а не только Бог и не только человек. Достоевский как никто другой остро ощутил эту главную тайну Личности Христа, и поэтому эту тайну он исповедует по-великомученически смело и по-апостольски мудро. Он решительно заявляет, что самая большая бессмыслица считать Христа только человеком. Христос человек – антитеза Христу Богочеловеку. Христос - человек не может быть ни Искупителем, ни источником жизни. Вся наука никогда не сможет осуществить в полноте человеческий идеал. Истоки жизни, смерть человека, спасение всех людей от сомнения и необходимое условие – *sine qua non* – для всех человеческих существ этого мира заключены в словах «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу как Единородного от

Отца» (Ин.1:14), – и в вере в эти слова²⁵⁸.

Богочеловек не только *sine qua non*, необходимое условие всего существующего, но Он и Логос мира, и логика мира. Он – ось мира, и как только мир сходит с этой оси, он тотчас срывается в диавольский хаос, в невыносимый ужас, в бессмысленную бессмыслицу. Достоевский благовествует: «Все заключается в том, что «Слово плоть бысть»; в этом вся вера и утешение человечества, утешение, от которого оно никогда не сможет отречься»²⁵⁹. В этом же заключается оправдание Бога пред людским сознанием того, что Он создал мир и человека в этом мире.

Если человек до конца искренен сам с собою, он должен согласиться, что Богочеловек Христос – единственное логически приемлемое оправдание Бога. Во всех отношениях Он представляет совершенную теодицею в мире человеческой мысли, чувств, событий и действительности. Философские теодицеи в конечном виде граничат с чем-то абстрактным и фантастическим. Желая оправдать пред людским сознанием трансцендентного Бога, философские теодицеи начинают ломаться, крошиться и разрушаться в горных обвалах непреодолимых противоречий. Трансцендентного Бога невозможно оправдать, ибо нет ни логических, ни эмпирических аргументов. И это еще не все. Трансцендентного Бога не надо оправдывать, ибо Он этого не заслуживает. Бог, Который не был в человеке, не имеет права быть Богом измученному человечеству. Только Бог, Который был в человеке, жил человеческой жизнью, вынес все страдания, претерпел все мучения, одолел все смерти, осмыслил мир и человека и при этом не утратил и малейшей частицы из Своих Божественных свойств – только такой Бог может оправдать Себя перед измученным человечеством в том, что Он создал мир и человека в этом мире.

Такой Бог и есть только – Христос. Он Своим человечеством оправдал Бога и Своей божественностью оправдал человека. Он прежде всего и более всего – богочеловеческая Личность. А это значит: живая, видимая, осязаемая, воплощенная и воплощаемая богочеловеческая реальность, реальность – как для Бога, так и для человека. Христос – это не какая-то абстрактная идея и фантастическая байка, но по-человечески живая и по-земному реальная богочеловеческая Личность. В Нем Бог и человек так сближены, что представляют неделимое личностное единство. Но это единство не только совершенно, но и представляет совершенное равновесие между Божественным и человеческим. В Богочеловеке таинственно и чудесно достигнут многожелаемый богочеловеческий монизм личности. «Ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно»

(Кол.2:9), но и вся полнота человеческая. Он – истинный Бог и истинный Человек, единая Личность, в Которой достигнуто и осуществлено совершенное равновесие между Богом и человеком, в Которой человек стал Человеком, достиг совершенства своей личности и стал Личностью.

В Богочеловеке заключен общечеловеческий смысл: все то, что Он являл Собою, Он являл для того, чтобы мы были такими; все то, что Он делал, Он делал для того, чтобы и мы делали; все то, что Он пережил, Он пережил для того, чтобы и мы пережили. Он жил богочеловеческой жизнью, чтобы эту жизнь сделать доступной и осуществимой для каждого человека. И если Бог стал Человеком, то тогда нет ничего Божественного, что не могло бы стать человеческим. Если Бог воплотится, то тогда все Божественное становится воплотимым.

Все слова и мысли Христовы осуществимы и воплотимы в человеческой жизни, ибо они богочеловеческие. Для многих это непонятно, поэтому они говорят: Христос – великий человек, великий философ, а мы, созданная тварь, не можем осуществить и наполовину Его философию. Другие же прибавляют: Христос – мечтатель и идеалист, Его идеализм не может прорасти на нашей планете.

И одни и другие говорят непростительную хулу, ибо развоплощают Богочеловека и тем самым уничтожают самое большое достояние человечества. Но Достоевский, исключительно вдохновенный реалист, решительно утверждает: богочеловеческий идеализм достижим и осуществим для человека и человечества. «Невозможно верить тому, – говорит Достоевский, – что «Слово плоть бысть», то есть верить, что идеал воплотился телесно, и в то же время не верить, что идеал этот достижим для человечества. И вообще, может ли человечество обойтись без такого утешения? Но Христос для того и пришел, чтобы человечество поняло, что земная природа, дух человеческий, может и здесь вполне телесно явиться в таком небесном блеске и не только духовно, как идеал, но что это возможно и естественно. Ученики Христовы доказали, какое счастье это воплощение носить в себе, подражать совершенству этого Лица и в Его воплощение верить. Другие же, которые увидели, какое счастье это воплощение дает человеку, как только человек начинает по-настоящему соучаствовать в Его красоте, удивляются и изумляются и, наконец, сами желают наслаждаться этим блаженством: они становятся христианами и наперед радуются своему мучению. И все потому, что Логос действительно стал телом. В этом – вся вера и все утешение человечества, от которого оно никогда не отречется»²⁶⁰.

По всему тому, что дает Христос человеку и человечеству, Он

незаменим для нашего бытия. Он единственный вносит смысл в нашу человеческую жизнь и придает ей Божественную ценность. Потому что если Он жил на этой планете, значит, стоит на ней жить, значит, есть ради чего жить. Человек, который ощущает ужасную трагедию жизни так же сильно, как Достоевский, должен или поверить во Христа, или совершить самоубийство. Третьего не дано.

Как искренний мученик мысли, Достоевский уверовал смело и неустрашимо. Все свои чувства, все свои мысли он направил на новые пути решительной и бескомпромиссной веры. На этих путях он всем своим существом почувствовал и на собственном опыте узнал, что Богочеловек Христос – первостепенная и самая настоящая необходимость для человека и для человечества, и что Он никем и ничем не может быть заменен. Поэтому он по-подвижнически ревностно защищает незаменимого Бога и Господа: «Вы, господа, – обращается он к христорборцам, – которые отрицаете Бога и Христа, вы даже и не подумали, как без Христа вдруг все становится гадко и грешно. Вы осуждаете Христа и насмехаетесь над Богом, но какой пример вы даете человечеству? Как вы мелочны, беспутны, злобны и тщеславны! Устраняя Христа, вы уничтожаете в роде человеческого недостижимый идеал красоты и доброты. И какие подобные ценности вы можете предложить взамен?»²⁶¹

В таком мире для человека и человечества нет утешения, кроме Христа. Отнять Его у рода человеческого – это то же самое, что отнять то, на чем он стоит и ради чего существует. «Впрочем, – продолжает Достоевский, – вы могли бы отнять Его у человечества, если бы были в состоянии предложить ему что-то лучше Христа. Вопрос в том: есть ли у вас что-нибудь подобное?»²⁶²

«Дайте мне другой идеал, и я пойду за вами, – обращается Достоевский к тем, которые хотят помимо Христа и без Христа осчастливить человечество. – Хотя, впрочем, вы сможете меня лишить веры в божественность Христа, если только покажете мне что-нибудь лучше Христа. Ну, покажите!»²⁶³ К русской интеллигенции, зараженной атеистической идеологией Европы и анархической моралью европейской позитивистской науки, Достоевский обращается с требованием: «Господа русские просвещенные европейцы, укажите мне ваших праведников, которых вы вместо Христа ставите!»²⁶⁴

Достоевский знает, во что верует, он поклоняется Богу известному – Христу Богочеловеку, о Котором убедительно и неоспоримо как о Боге свидетельствовал сонм святых и праведных людей в течение стольких веков. На самом себе Достоевский испытал и на собственном опыте

познал Божественную силу Христову, ибо милостивый Человеколюбец спас его от скепсиса, отчаяния и самоубийства. И чтобы все это высказать, ему не хватает слов в человеческом лексиконе. И все же его свидетельство о Божественной силе Христовой по-апостольски сильно и по-исповеднически неопровержимо.

Вера в Богочеловека Христа у Достоевского настолько исключительно велика, что она беспремерна в мировой истории. Для него Богочеловек Христос больше и выше истины, справедливости, любви, более всего того, самого возвышенного, что люди могут представить. И если бы Достоевский оказался перед необходимостью выбора: Христос или истина, то он выбрал бы Христа, отказавшись от истины. Такая у него вера. С такой верой может сравниться только вера одного апостола Павла. Этой верой проникнуто «Верую» Достоевского. Вот его слова: «Бог посылает мне иногда минуты, в которые я совершенно спокоен; в эти минуты я люблю и нахожу, что другим любим, в такие-то минуты я сложил в себе символ веры, в котором все для меня ясно и свято. Этот символ очень прост, вот он: верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа, и не только нет, но с ревнивою любовью говорю себе, что и не может быть. Мало того, если б кто мне доказал, что Христос вне истины и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше бы хотелось остаться с Христом, нежели с истиной»²⁶⁵.

Христос больше, чем истина, ибо Он Отец истины, Он больше, чем жизнь, ибо Он Податель жизни, Он больше, чем космос, ибо Он Творец космоса. В Нем даны все вечные ценности для нашего человеческого мира, поэтому Он может дать и подает ценности всем и каждому. Там, где Он – там осмысленность и жизнь, там вечность и бессмертие, там всякая добродетель и всяческая радость. Он – мерило всего, хотя Сам не может быть измерен никакими человеческими мерками. Для Достоевского, который пережил крах всех человеческих мерил, чудесный Лик Христов – единственное, непогрешимое мерило всего видимого и невидимого.

«На земле же воистину мы как бы блуждаем, – учит Достоевский. – И не было бы драгоценного Христова образа перед нами, то погибли бы мы и заблудились совсем, как род человеческий пред потопом»²⁶⁶. Вне богочеловеческого Лица Христова ни в мире, ни в человеке нет ничего, что могло бы быть надежным и непогрешимым мерилом кого-либо или чего-либо в мире земной реальности, идей и событий.

Наивно и поверхностно считать таким мерилом совесть в ее эмпирическом существовании: совесть замарана, огреховлена, больна. И

только когда она очистится, освятится, исцелится и обогочеловечится Божественной силой Христовой, она может быть надежным и непогрешимым мерилем добра и зла. Существует только одна проверка совести. Это – Христос. Поэтому Достоевский подчеркивает: «Совесть без Бога есть ужас, она может заблудиться до самого безнравственного. Недостаточно определять нравственность верностью своим убеждениям. Надо еще беспрерывно возбуждать в себе вопрос: верны ли мои убеждения? Проверка же их одна – Христос»²⁶⁷. И далее развивает свою мысль Достоевский: «Сжигающего еретиков я не могу признать нравственным человеком, ибо не признаю ваш тезис, что нравственность есть согласие с внутренними убеждениями. Это лишь честность, но не нравственность. Нравственный образец и идеал есть у меня – Христос. Спрашиваю: сжег бы Он еретиков, – нет. Ну так, значит, сжигание еретиков есть поступок безнравственный. Инквизитор уже тем одним безнравственен, что в сердце его, в совести его, могла ужиться идея необходимости сжигать людей»²⁶⁸.

Защищая тезис, что Богочеловек Христос – единственный источник и мерило настоящей морали, Достоевский весьма искусно оспаривает точку зрения своего оппонента. «Но откуда же вы это вывели? Я вам не поверю и скажу напротив, что безнравственно поступать по своим убеждениям.

Проливать кровь вы не считаете нравственным, но проливать кровь по убеждению вы считаете нравственным. Но позвольте, почему безнравственно кровь проливать?

Если мы не имеем авторитета в вере и во Христе, то во всем заблудимся...» – Далее Достоевский говорит о том, что моральные идеи всегда истекают из религиозного чувства и не могут быть доказаны логически. Иезуит лжет, ибо убежден, что ложь его полезна, если служит добру. «Вы его хвалите, – говорит он своему оппоненту, – ибо он верен своему убеждению. И выходит, в одном случае ложь это – плохо, но в другом, по убеждению, тогда – хорошо. Что же это значит?» – вопрошает Достоевский и заключает: «Вы тогда будете разбиты, когда примете, что нравственные идеи есть чувства от Христа»²⁶⁹.

Человек есть мерило всех вещей, это главный принцип европейской культуры, сформулированный софистами, воспринятый европейским человеком и систематично им применяемый. На этом принципе, как на фундаменте из алмазов, созидает себя европейское человечество и не догадывается, что созидает себя на фундаменте, в который заложен динамит. Достоевский бесстрашно опробовал этот принцип, воплотил его в многочисленных личностях. Опробовав его в жизни своих героев, он внес

этот принцип в их кровеносную систему, прорастил этот принцип в их умах и сердцах, и результат всегда один и тот же: человек с таким принципом в конце концов заканчивал жизнь или сумасшествием, или самоубийством. Во всем этом Достоевский сильно намучился, но его мучения вознаграждены тем, что он на опыте и самым убедительным образом доказал: если человек есть мерило всех вещей, то тогда значит, что диавол есть мерило всех вещей. Человек – мерило всех вещей диавол – мерило всех вещей.

Ошеломленный этим ужасным открытием, он решительно отбросил человекобога и всеусердно кинулся в объятия Богочеловека, Который во всем и по всему абсолютно противоположен человекобогу. Богочеловек – это значит: Бог – всегда на первом месте, а человек всегда на втором; Бог есть Творец, а человек – Его творение; Бог пронизывает человека и остается Богом, человек созидает себя по подобию Божьему и остается человеком. Человекобог – это значит: человек есть творец и бог – его творение; человек есть все и вся, а бог – продолжение человека.

Для Достоевского Христос – единственный, нерушимый фундамент, на котором стоит человек и человечество. Будут созидать на Нем, значит, будут созидать на вечном фундаменте, и никакой ураган искушений и зла не сможет его поколебать. В этом мире бедному человечеству вне Христа нет спасения от ужасов смерти и греха, ибо во всей вселенной нет имени, кроме Его, которым человечество могло бы быть спасено²⁷⁰.

Любовь Достоевского ко Христу исключительна и единственна в своем роде; он всегда и во всем за Христа, и даже если вся логика человечества была бы против Христа. Если существует что-либо Христово, то оно, уже в силу того, должно быть совершенно и идеально. Иная мысль Христа может показаться человеческому уму нереальной и бессмысленной. Но что такое ум человеческий по сравнению с пресветлым Ликом Христовым? Но что такое мелкое, как атом, человеческое божество по сравнению с чудесным Богочеловеком? Может ли это самозванное несчастное божество заменить Господа Христа? Может ли мизерная тварь вместить Невместимого, понять Беспредельного, измерить Неизмеримого?

«Не может», – отвечает Достоевский всем своим существом. И опираясь на опыт самых лучших, самых праведных, самых святых, а также на свой собственный Опыт, он отказывает в праве быть верховным судьей Христовых идей человеческому разуму. Он говорит: «Все Христовы идеи испорчены человеческим умом и кажутся невозможными к исполнению. Подставить ланиту²⁷¹, возлюбить более себя, не потому что полезно, а потому что нравится до жгучего чувства, до страсти.

Христос ошибался – доказано!²⁷² Это жгучее чувство говорит: лучше я останусь с ошибкой, со Христом, чем с вами»²⁷³.

Идеи в сильных личностях, подобных апостолу Павлу, некоей неодолимой силой претворяются в страсть. Это случилось и с Достоевским. Его чувства ко Христу и его размышления о Христе сливаются в единую и всепобеждающую страсть, которая владеет и управляет его существом. Это наполняет его исполинской силой, которая с легкостью отбрасывает все иллюзорные, чисто рационалистические и человекобожеские идеи, ценности и мерил, и воспринимает чарующую Христову Личность как воплощение всех вечных и непреходящих ценностей.

В нашем земном мире человек разрываем относительными ценностями: относительной добротой, относительной красотой, относительной истиной, относительной правдой. Но если человек хотя бы немного пробужден духовно, то он не удовлетворяется этими относительными ценностями, но ищет абсолютные: абсолютную доброту, абсолютную красоту, абсолютную истину, абсолютную правду, и не может их найти нигде, кроме как в Богочеловеке Христе. Ибо человек только в Христовой Личности приходит к абсолютному: доброте и красоте, истине и правде. «Прекрасное есть идеал, а идеал – ни наш, ни цивилизованной Европы еще далеко не выработался. Но на свете есть одно только положительно прекрасное лицо – Христос, так что явление безмерно, бесконечно прекрасного лица уже, конечно, есть бесконечное чудо. Все Евангелие от св. Иоанна исполнено этой мысли: Иоанн видит чудо воплощения, видимый образ Прекрасного»²⁷⁴. «В Себе Господь показал каждому из нас именно его самого, в его нетленной первообразной красоте; как в чистом зеркале Он дал увидеть каждому святость его собственного непоруганного образа Божия. В «Человеке» или «Сыне Человеческом» явлена каждому вся полнота его собственной личности... У нас, в эмпирической человеческой данности, нет ничего безусловного, даже – совести. Самому надо проверять и исправлять по безусловному образцу. Но подчинение ее формуле, хотя бы и свыше данной, было бы уничтожением единственности и незаменимости личности, ее безусловной ценности; святыня личности – именно в живой свободе ее, в пребывании выше всякой схемы. Личность может и должна исправлять себя, но не по внешней для нее, хотя бы и наисовершеннейшей норме, а только по самой себе, но в своем идеальном виде. Примером для личности может быть она сама, потому что иначе давалась бы возможность механически, из чужого и чуждого личности заключать к

жизни ее и давать ей нормы. Единственность каждой личности, ее абсолютная незаменимость ничем другим – она требует, чтобы сама личность была примером для себя; но чтобы быть примером, надо уже достигнуть идеального состояния... Это возможно во Христе, во плоти Своей называющем каждому Божию идею о нем; т.е. это возможно лишь чрез опыт, чрез отыскивание в Сыне Человеческом подлинного себя, подлинной своей человечности. Только Господь Иисус Христос есть идеал каждого человека, т.е. не отвеченное понятие, не пустая норма человечности вообще, не схема всякой личности, а образ, идея каждой личности со всем ее живым содержанием»²⁷⁵.

«Проклятые проблемы» человеческой личности обретают свое полное и конечное решение в Личности Богочеловека Христа. В Ней по-земному реально и по-человечески во плоти присутствуют и Бог, и бессмертие; в Ней более, нежели в ком другом, самым совершенным образом явлены и доказаны и Бог, и бессмертие, а тем самым и вечный смысл, и Божественная цель для всякой человеческой личности вообще. Идеальное совершенство и абсолютную полноту личности человек достигает тогда, когда полностью соединяется с чудесной Личностью Богочеловека Христа. Поэтому Достоевский так пламенно любит Господа Христа и так страстно Его проповедует. Огненным мечом веры он ревностно охраняет свой рай – пресветлый Лик Богочеловека Христа. Вне этого Лица нет исхода, нет утешения, нет спасения. Где Он – там радость, там благовещение, там блаженство.

Но где этот Лик сохраняется? В Православии, единственно в Православии, – решительно отвечает Достоевский. «Католичество римское даже хуже самого атеизма, ибо оно искаженного Христа проповедует, а протестанство – его законное дитя»²⁷⁶. «Вникните в Православие: это вовсе не одна только церковность и обрядность, это живое существо... В нем одно человеколюбие, один Христов образ»²⁷⁷.

Чтобы познать Православие, человек должен сначала стать православным; надо всем своим существом, всей душой, всем сердцем погрузиться в Православие. А это значит: ощущать православно, жить православно и мыслить православно. Личный православный опыт – единственный путь, ведущий к пресветлому Лику Христову. Только благодаря личному опыту Достоевский, как всякий человек, сможет понять, что «...образ Христов сохранился во всем свете чистоты своей в Православии»²⁷⁸.

Там, где образ Христов, там и все вечные ценности, все непреходящие добродетели, которые человеческое сердце только может пожелать.

Напрасно люди и боги мучительно стараются осмыслить и оправдать себя и мир вокруг себя без Лица Христова. Только в Личности Богочеловека в полноте оправдан и Бог перед человеком, и человек перед Богом. Поэтому Богочеловек есть и вовек останется единственной истинной теодицеей. В этом может увериться каждый, кто искренно мучается проблемой человека и мира. Но при этом он должен исполнить одно условие: на личном опыте освоить богочеловеческий православный образ жизни и мышления. Достоевский сделал это со всеусердием, и его мучительный подвиг был вознагражден решением вековечных, «проклятых» вопросов. Благодаря личному подвижничеству он познал абсолютную истину, и она спасла его. А что есть истина? Богочеловек Христос, Его чудесный и животворный Лик. Он дал Достоевскому все блага, которые никто не смог ему дать ни из богов, ни из людей. Поэтому он по-апостольски ревностно, с горячей любовью сохранял и проповедовал Богочеловека Христа, заявляя всем и каждому: только в Нем – спасение, смысл и цель человека и мира. А в этом есть и оправдание Бога перед человеком и человека перед Богом. Именно поэтому все сочинения Достоевского могли бы называться: «Защита православного Лица Христова» или «Православная теодицея».

Свою бескрайнюю любовь ко Христу Достоевский воплотил в своих положительных героях: в Алеше и Зосиме, в Макаре и князе Мышкине. Лик Христов – главная творческая сила в их душах. Он светится из них, из их лиц, мыслей, чувств, слов, дел. Все в них, по сути, христолико. Вся неодолимая привлекательность этих личностей в их христоликости. Это новый тип человека, настоящего человека, человека, созидającego себя по образу Богочеловека. Если мы захотим охарактеризовать их жизнь и деятельность, то мы можем назвать ее богочеловеческой. В своих христоликих душах они всеусердно и свято сохраняют чарующий Лик Христов, живут Им, мыслят Им, чувствуют Им, созидают Им, и таким образом создают православную теодицею.

Над тайной пшеничного зерна

Человеческая личность в каждое мгновение, в каждой фазе своего существования необычайно сложна и удивительно бесконечна. Именно поэтому почетно, но и опасно быть человеком. Есть в этом некая таинственная, неуладимая и в то же время привлекательная горечь. Человек – это горькая тайна, возможно, самая горькая во всех мирах. Многих эта тайна отравила, многих привела к сумасшествию и к самоубийству, многих сделала неизлечимыми богоборцами. Она отравляла и Достоевского, но не отравила; она и Достоевского доводила до самоубийства, но не довела; она стремилась и Достоевского сделать невиданным богоборцем, но не смогла его осатанить.

Достоевский, жестоко мучимый тайной человеческой природы, всячески старался через своих антигероев сделать менее горькой и не такой суровой эту тайну. Он употреблял для этого все человеческие средства, но после всего этого горькая тайна становилась еще горше и ужаснее. И когда наконец все человеческие средства были исчерпаны, когда все человечество привелось к банкротству, Достоевский был вынужден оставить человека и человекобога и начать поиски Богочеловека. Он искал Его всюду, но нашел только в Православии. И к своей великой радости обнаружил, что только в чудесной Личности Богочеловека горькая тайна человека становится сладостной и благой. Этому радостному открытию Достоевский отдался всей своей душой. И душа его в полноте ощутила и поняла, что в этом горестном мире единственно истинная сладость и благая весть для человека – это Богочеловек. Этой благой вестью исполнены христоролюбивые герои Достоевского, эта благая весть изливается из их христоролюбивых образов. Все они переживают тайну человека как сладостную Божественную тайну, как благовещение от Бога. Все они подтверждают и утверждают, что человек – это сладостная тайна Божия и чудесная благая весть от Бога.

Для них эта истина – самая истинная, самая убедительная реальность. Они это утверждают и подтверждают не теоретически, не рационалистически, не схоластически, но эмпирически, через свой жизненный опыт. Все в них проникнуто и дышит этой истиной. Они стоят на ней, на ней же все созидают. Некая христоролюбивая сила изливается из них и вливается в каждое сердце, находящееся рядом с ними. В пресветлом Лице Богочеловека Христа заключена их главная движущая сила. Ничто другое в них так не очевидно, как эта их христоролюбивость. Именно это и

подводит человека к вопросу: как они пришли к этой христоликости? Как они, созидавая себя по подобию Христову, стали хриstopодобными?

Чтобы ответ на этот вопрос был объективным и чтобы нам не погрешить против Достоевского, необходимо подвергнуть психологическому анализу христоликих героев Достоевского, необходимо отыскать те животворящие силы и законы, которые ими управляют. При этом следует иметь в виду, что личности эти исключительно сложны и не поддаются никакому рационалистическому анализу. В них неразрывным образом переплетается земное с небесным, естественное с запредельным, человеческое с Божественным. Их души сотканы из евангельских добродетелей: веры и молитвы, смирения и кротости, любви и надежды, доброты и милосердия, братолюбия и боголюбия. Каждая из этих добродетелей в отдельности, прежде, чем вселиться в них, производит в душе очень сложные психологические процессы и рождает подвиг. В этом подвиге участвует весь человек, всем своим существом. Огромным усилием и упорным трудом человек постепенно претворяет евангельские добродетели в составную часть своего существа, и так до тех пор, пока они не станут душой его души и сердцем его сердца. Вся личность такого человека находится в непрестанном христолюбивом подвиге и взлете, неумолимо совершенствуется по подобию Христову (Кол.3:10) и постепенно становится хриstopодобной.

Здесь вся наука, основанная на многовековом опыте верных последователей Христовых, православных подвижников и святителей. Они собственным трудом создали и в совершенстве освоили с помощью своего жизненного опыта особую науку, науку о нравственном возрождении и духовном совершенствовании человека. В центре этой науки – чудесный Лик Богочеловека Христа: к Нему идут через все христианские подвиги, к Нему тяготеют все человеческие мысли и все чувства, к Нему устремляется человек всем своим существом до тех пор, пока с Ним не соединится и таким образом не обретет настоящую цель и вечный смысл жизни.

В этой науке Достоевский нашел то, чего не смог найти на путях европейского гуманизма и в науке о человекобожестве. Тут он обрел надежное средство для правильного развития человеческой личности от ее зачатков до полного совершенства. Иначе говоря, он нашел решение «проклятой проблеме» человеческой личности и тем самым отыскал решение и для других главных проблем человеческого духа. Он говорит: «Все тайны, как привести себя к совершенству и братству, даны в Православии и в его дисциплине – самоусовершенствовании»²⁷⁹.

Самосовершенствование Христом и по Христу – единственный путь не только для правильного и безукоризненного решения проблемы личности, но и для разрешения проблем общины, общества, народа, братства. Достоевский говорит, что самосовершенствование в духе Христовом есть основа для всего, «личное самосовершенствование не только "начало" ²⁸⁰ всему, но и продолжение всего и исход»²⁸¹. Это путь Христа Богочеловека и Православия, это путь древней христианской Церкви²⁸². Только на этом пути не заплутает человек в дебрях. Этот путь ведет человека и человечество к богочеловеческому бессмертию и к вечности. Именно поэтому Достоевский и придерживался этого богочеловеческого пути. Он считает, что все нравственные идеи и идеалы, все гражданские идеи и идеалы основываются на идее личного абсолютного самосовершенствования²⁸³. А идея нравственного самосовершенствования исходит всегда «из идеи мистической, из убеждения, что человек вечен, что он не простое земное животное, а связан с другими мирами и с вечностью»²⁸⁴.

Совершенствуя себя силой Христовой, люди достигали преобразования: плохие становились хорошими, хорошие становились лучше, а самые лучшие становились достойными. И все, что есть самого хорошего, самого прекрасного и великого в человеческом роде, было приобретено им на этом пути. Этот путь прошли и самые совершенные из людей – святители. Это самый очевидный пример того, как грешник становится святителем. Они прошли этот путь и для того, чтобы мы за ними последовали. Поэтому Достоевский говорит, что «святители сами светят и всем нам путь освещают»²⁸⁵. Они – «положительные характеры невообразимой красоты и силы»²⁸⁶. Они – идеал для каждого; они – предводители, призванные вести нас, как блудных детей²⁸⁷.

Для Достоевского святитель – самый положительный, самый лучший тип человека, самое прекрасное и самое совершенное существо, что человеком зовется. Поэтому Достоевский уже в молодости начинает изучать психологию святителей, исследует законы этой психологии, погружается в ее тайны. Исключительное уважение, молитвенное удивление и особая любовь были у него к святому Тихону Задонскому, русскому святителю XVIII века. В нем он находит все, что необходимо человеку с широким кругозором, сталкивающемуся с большими человеческими проблемами. Для него свт. Тихон – «положительный русский тип, которого русская литература ищет»²⁸⁸. Описать свт. Тихона, ввести его в русскую литературу и сделать его положительным героем становится заветной мечтой Достоевского. Подготавливая план написания

«Братьев Карамазовых», Достоевский в 1870 году пишет Майкову: «Авось выведу величавую положительную святую фигуру... Я ничего не создам²⁸⁹, я только выставлю действительно Тихона, которого я принял в свое сердце давно с восторгом. Я сочту, если удастся, это для себя уже важным подвигом. Ах, кабы удалось!»²⁹⁰

Для того чтобы как можно лучше воплотить заветную мечту, Достоевский посещает русские монастыри²⁹¹, общается с подвижниками его времени, с духовными старцами; среди них и Амвросий – знаменитый оптинский старец, духовник. Ему удастся самым блестящим образом в лице старца Зосимы воссоздать облик настоящего святителя и создать в русской литературе положительный русский тип, тип человека невыразимой красоты и очарования. Старец Зосима во многом похож на святого Тихона Задонского и на старца Амвросия Оптинского. И это естественно, ибо «старец Амвросий с другим оптинским старцем Макарием послужили автору живым примером для начертания типа отца Зосимы»²⁹².

Без сомнения, старец Зосима – положительный образ Достоевского. В его образе он представляет совершенное и самое цельное решение проблемы личности, решение богочеловеческое и православное. Для него старец Зосима, «святитель и человек – лучший из нас, он свят, в его сердце тайна обновления для всех, та мощь, которая установит наконец правду на земле, и все будут святы, и будут любить друг друга, и не будет ни богатых, ни бедных, ни возвышающихся, ни униженных, а будут все как дети Божии, и наступит настоящее Царство Христово»²⁹³.

Духовник, святой старец знает тайны человеческого существа, все в человеке для него ведомо: от самого гнусного падения до самых возвышенных взлетов. Именно поэтому он и может вести каждого человека самым верным путем нравственного возрождения и совершенствования. Излагая роль святых духовных старцев в Православной Церкви, Достоевский отвечает на вопрос, что такое старец. Он говорит: «Старец – это берущий вашу душу, вашу волю в свою душу и в свою волю. Избрав старца, вы от своей воли отрешаетесь и отдаете ее ему в полное послушание, с полным самоотрешением. Этот искус, эту страшную школу жизни обрекающий себя принимает добровольно, в надежде после долгого искуса победить себя, овладеть собою до того, чтобы мог наконец достичь, через послушание всей жизни, уже совершенной свободы, то есть свободы от самого себя, избежать участи тех, которые всю жизнь прожили, а себя в себе не нашли. Изобретение это, то есть старчество, – не теоретическое, а выведено на Востоке из

практики, в наше время уже тысячелетней. Обязанности к старцу – не то, что обыкновенное «послушание», всегда бывшее в наших русских монастырях. Тут признается вечная исповедь всех подвижающихся старцу и неразрушимая связь между связавшим и связанным... Старчество – это испытанное уже тысячелетнее орудие для нравственного перерождения человека от рабства к свободе и к нравственному совершенствованию»²⁹⁴.

Любимый герой Достоевского двадцатилетний Алеша Карамазов очарован христороликостью личностью старца Зосимы и, влекомый некоей христороливой силой, оставляет все, уходит к старцу в монастырь и в нем – благом, кротком и мудром – находит идеальный выход для своей молодой души, которая рвалась из мрака мирской злобы к свету любви²⁹⁵. Он живет в келии самого старца Зосимы и, целиком предавши ему душу, проходит подвиг абсолютного послушания. Старец Зосима воспитывает Алешу нежно и мудро, преображая его душу, исполняя евангельскими добродетелями и наполняя его сердце христороливой чувствительностью и сладостными Христовыми тайнами. Все пронизано сиянием Христовым – возрождающим и преображающим, благим и кротким. Это благое и всепроникающее сияние старец Зосима изливает на всякого, он открывает в каждом человеке то, что в нем богоподобно и христороливо, бессмертно и вечно, и на этом созидает возрождение всякой личности. Если нужно найти непреходящую сущность человеческой личности, то ее необходимо искать, без сомнения, в богоподобном бессмертии души. Соединить это бессмертие с бессмертным Богом – смысл и цель существования человека на земле. Это достигается через христороливое подвижничество, и первый из подвигов – вера.

И с веры начинается настоящая жизнь человека на земле, жизнь бессмертной, боголикой души. Вера производит в целокупном существе человека полное преображение и перемену всех ценностей: все людское и смертное человек заменяет Божиим и бессмертным, исключает все, что ранее считал смыслом и целью своей жизни и воспринимает Богочеловека Христа смыслом и целью своего существования во всех мирах. Несмотря на то, что человек – сложное существо, вера становится ведущим, определяющим подвигом жизни, она подчиняет себе всего человека, движет его, смертного – к бессмертию, живущего во времени – к вечности и ведет его евангельским путем к конечной цели – соединению с Богочеловеком Христом. Чудотворный Лик Христов – путеводная звезда на этом пути.

Таково евангельское понимание веры. Такое понимание было и у Достоевского. Он это выражает и подтверждает своей «схемой веры». Он

говорит: «Схема веры: «Православие включает в себе Лик Иисуса Христа»²⁹⁶. Если этот набросок веры уточнить и расширить, то можно сказать: веровать православно – это значит считать Лик Иисуса Христа вечным смыслом и целью своего существования: жить по Нему, мыслить Им, чувствовать Им, все измерять Им во всех мирах и принадлежать Ему всей душой своей, всем сердцем своим, всеми силами своими.

Только такая вера в Богочеловека Христа есть настоящая вера, ибо только она вносит осмысление в жизнь человека во всех мирах. Может существовать или только такая вера, или нужно сжечь все, ибо без Него все лишается смысла, все становится глупо и ужасно и на небе, и на земле, и под землей. К этой решительной дилемме подошел Достоевский, ища смысл и цель человеческому существованию в нашем земном мире²⁹⁷.

Подвигом веры воскрешает себя человек из гроба своего эгоизма. Христоцентризмом подвига веры он побеждает эгоцентризм своего тщеславного разума, мятежной воли и зараженного грехом сердца. Человеческий разум, каковым он является в своей эмпирической данности, ограничен, эгоистичен, заражен грехом, надменен, – это то, что должно быть преодолено. Преодолеть и покориться разуму безграничному, чистому, безгрешному, вечному, богочеловеческому, – одним словом, – разуму Христову, – это первое требование евангельского, православного подвига веры (2Кор.10, 4–5). По убеждению Достоевского, обретение веры в Богочеловека Христа и в загробную жизнь бесконечно важнее обладания сознанием, познанием, наукой²⁹⁸. Человеку свойственно неверие из-за того, что он разум свой ставит превыше всего. А поскольку разум свойственен только человеческому организму, то он не может и не хочет воспринимать жизнь в каком-то другом облике, т.е. жизнь после смерти, и поэтому не верит, что эта форма жизни более совершенная. С другой стороны, человеку в силу его природы свойственно ощущение проклятого сомнения, ибо человеческий разум устроен таким образом, что не может веровать в себя беспрестанно, не может удовлетвориться самим собой, а поэтому не склонен свое существование считать самодостаточным. Отсюда проистекает тяга верить (*Drang zum Glauben*) в существование жизни по ту сторону гроба. «Люди, очевидно, существа переходные, и существование наше на земле есть, очевидно, процесс – непрерывное существование куколки, переходящей в бабочку»²⁹⁹.

Человек – переходное существо, и он останется таковым, временным существом, если в подвиге веры не пробьет кокон своего эгоизма и если не соединится с вечным Существом. Другими словами, человек – как зерно, которое только тогда приносит много плодов, когда умирает. Ибо

Безгрешный сказал «Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода» (Ин.12:24). Тайна человеческого существа равна тайне пшеничного зерна: если человек замурует себя в коконе себялюбивого эгоизма и затворится в нем, то останется сам, останется в одиночестве, отчего усохнет и погибнет, но если зерно своего существа чрез подвиг веры посеет во Христе и зерно это умрет в Нем, то тогда зерно это оживет, прорастет и даст много плода. Ибо Безгрешный сказал «Любящий душу свою погубит ее; а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную» (Ин.12:25).

Таким образом всезнающий Богочеловек объясняет тайну человеческого существа, точно так же ее объясняет и Его неустрашимый последователь Достоевский. Ибо его главное произведение «Братья Карамазовы» есть не что иное, как пророчески прозорливое объяснение вышеприведенных слов Христовых из 12 главы Евангелия от Иоанна. Достоевский подчеркнул это особенно, поставив эти слова Спасителя эпиграфом своего шедевра. Только в этих словах надо искать ключ к объяснению тайны человеческого существа по Достоевскому.

В подвиге веры Христа ради умирает весь человек с тем, чтобы ожить в Нем к бессмертной и вечной жизни. Человек умирает, чтобы ожить. Такова антиномия веры. В подвиге веры умирает и разум, умирает, чтобы возродиться и оживотвориться в вере, найти во Христе свой вечный смысл и свою бессмертную творческую силу. Первое требование веры: «человек! Не доверяй своему ограниченному, зараженному грехом, гордому разуму; возненавидь свой разум, свою душу, ибо пока не возненавидишь себя, не сможешь любить Христа» (Мф.16:25; Лк.14:26). И человек, возненавидев себя, свою душу, свой разум, в крайнем отчаянии кричит всем своим существом: «Credo, quia absurdum est. Ничего, ничего не хочу своего, – не хочу даже рассудка. Ты один, – Ты только. Die animae meae solus Tuus Ego sum! Впрочем, не моя, но Твоя воля да будет. Троице Единице, помилуй мя!.. Верю вопреки стонам рассудка, верю именно потому, что в самой враждебности рассудка к вере моей усматриваю залог чего-то нового, чего-то неслыханного и высшего. Я не спущусь в низины рассудка, какими бы страхами он ни запугивал меня. Я видел уже, что, оставаясь при рассудке, я гибну в сомнениях, я хочу быть теперь без-рассудным... Затем, поднявшись на новую ступень, обеспечив себе невозможность соскользнуть в рассудочную плоскость, я говорю себе: теперь я верю и надеюсь понять то, во что я верю. Теперь бесконечное и вечное я не превращу в конечное и временное... Теперь я вижу, что вера моя есть

источник высшего разума и что в ней рассудок получает себе глубину. И отдыхая от пережитой трудности, я спокойно повторяю за Ансельмом Кентерберийским: «Credo ut intelligam...» Теперь я знаю, потому что верю... И сказав, я перехожу на третью ступень. Я уразумеваю веру свою. Я вижу, что она есть поклонение «Ведомому Богу», что я не только верю, но и знаю. Границы знания и веры сливаются. Тают и текут рассудочные перегородки; весь рассудок претворяется в новую сущность. И я, радостный, взываю: «Intelligo ut credam! Слава Богу за все». Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же – лицом к лицу; теперь я знаю отчасти, а тогда познаю подобно тому, как я узнал самого себя (1Кор.13:12)»³⁰⁰.

В подвиге веры человек предает всю свою личность Богочеловеку Христу. Пред Ним, всесветлым и кротким, он смиряет свой гордый ум, дикую волю и мятежное сердце. Очень остро он ощущает, что его ум бесконечно нищ по сравнению со всеблагим Духом Христовым. С радостью он освобождает себя от рабства вещей и подчиняет евангельским идеалам. Трудолюбиво, без усталости христолюбивым смирением он вытесняет из себя богоборческую гордость и безумство человекобога, и так до тех пор, пока совсем не очистится. В таком подвиге смиренной веры Достоевский видит русское решение «проклятой проблемы» личности, поэтому в своей знаменитой речи о Пушкине он по-апостольски вдохновенно призывает русскую интеллигенцию к этому подвигу: «Смирись, гордый человек, и прежде всего сломи свою гордость. Смирись, праздный человек, и прежде всего потрудись на родной ниве... Не вне тебя истина, а в тебе самом, найди себя в себе, подчини себя себе, овладей собой и узришь правду. Не в вещах эта правда. Не вне тебя и не за морем где-нибудь, а прежде всего в твоём собственном труде над собою. Победишь себя, усмиришь себя – и станешь свободен как никогда и не воображал себе, и начнешь великое дело, и других свободными сделаешь, и узришь счастье, ибо наполнится жизнь твоя, и поймешь наконец народ свой и святую правду его»³⁰¹.

Подвиг веры имеет две стороны: отрицающую и утверждающую. Отрицающая состоит в отвержении от самого себя, от своей души и в распинании себя на кресте Христовом. Утверждающая же сторона состоит в понимании самого себя во Христе, в воскресении своей богицей души во Христе. Ибо Всесильный сказал: «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее; а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее» (Мф.16:24–25).

Человек отрекается от себя тогда, когда отречется от своего гордого разума, от воли своей, склонной к греху, от своей зараженной грехом души, от своего своевольного «я». Только такой человек может идти за Христом, Который Своей Божественной силой освобождает от всего греховного и смертного и душу человека, и сердце, и волю его и исполняет их бессмертием и вечностью. Умертвляя в себе Христа ради и во Христе все, что есть греховного, все, что злобно и смертно в душе, в воле и в сердце, человек обретает во Христе и душу свою, и волю, и сердце, но уже очищенные, обновленные и бессмертные.

Жизнь христоролюбивых героев Достоевского – это жизнь беспрестанного самоотречения, самораспинания и решительного следования за Христом. Как только Алеша убедился в том, что Бог и бессмертие существуют, он сказал самому себе: «Хочу жить для бессмертия, а половинного компромисса не принимаю. Ему казалось даже странным и невозможным жить по-прежнему. Сказано: «Раздай все и иди за Мной, если хочешь быть совершенен». Алеша и сказал себе: «Не могу я отдать вместо «всего» два рубля, вместо «идти за Мной» ходить лишь к обедне»³⁰².

Старец Зосима – это чарующее воплощение православного бескомпромиссного следования за Христом и жизни ради Христа. И дни и ночи его исполнены христоролюбивыми подвигами и человеколюбивыми трудами. Очарованный прекрасным Ликом Христовым и ведомый Им чрез мрак мира сего, он тихо и спокойно постигает тайну своей жизни и, как солнце, согревает промерзшие души и воодушевляет их к новой жизни по Христову Евангелию.

Бескрайняя вера в Богочеловека и трогательная любовь к Нему перерастают у князя Мышкина в евангельский экстаз, до полного самозабвения, до «идиотства». Он настолько предан Христу, настолько живет Им, мыслит Им, чувствует Им, стремится к Нему, что окружающим он представляется чудаком, идиотом. И правда, он идиот, но идиот в возвышенном, апостольском смысле, ибо любит Христа более всего, поднимается над всем мирским, даже если мир будет против него и сочтет его ненормальным идиотом. Со спокойной душой он мог бы сказать вслед за апостолом Павлом «Мы безумны Христа ради» (1Кор.4:10).

И душа Макара соткана из самых утонченных евангельских чувств. Кротость его неизмерима, благость его бескрайня, жалостливость его трогательна, человеколюбие его всемирнолюбиво. Он идет по миру с нежностью и тихо, как будто создан из той же материи, что и сон. И это потому, что он боится невольной грубостью ранить измученное

человеческое сердце, затронуть рану. Нежностью Нежнейшего он врачует больные и печальные души и кротостью Кротчайшего покрывает чужие грехи.

Для христоролюбивых героев Достоевского верить во Христа – это значит любить Христа всей душой и жить Им всем своим существом. Ибо Христос требует всего человека, а не части его души или кусочка его существа. Вера по кусочкам, вера условная не есть вера. Если царство личности человека разделится само в себе, то не может устоять царство то (Мф.12:25; Мк.3:24). Для Христа и для Православия нет «золотой середины». «Золотая середина – это нечто трусливое, безличное, а в то же время чванное»³⁰³, – говорит Достоевский. Человек, истинно верующий во Христа, верует всей своей душой, всем своим сердцем, всей своей волей, всем своим существом; он идет за Христом и тогда, когда его разум будет немилосердно буйствовать и бурно противиться этому.

Только такая вера спасает человека от душепагубного сомнения и самоубийственного отчаяния. А так называемая «разумная», «рациональная» вера, вера «по доказательству разума», вера по толстовской формуле: «Я хочу понять так, чтобы всякое необходимое положение представлялось мне как необходимость разума же, а не как обстоятельство поверить»³⁰⁴, – такая вера – окаменелая, страшная каменная опухоль на сердце, которая не дает сердцу подойти к Богу, такая вера – бунт против Бога, чудовищное порождение людского эгоизма, который хочет и Бога подчинить себе.

Есть много видов безбожничества, но самый плохой из них – так называемая «разумная», «рациональная» вера. Она самая плохая, ибо кроме того, что она не признает сам предмет веры (то, что невидимо) (Евр.11:1), она к тому же и двулична: признает Бога с тем, чтобы не признать саму Его суть – «невидимость», то есть то, что над-разумно. Что такое «разумная вера»? «Разумная вера» – гадость и смрад пред Богом. Ты не сможешь верить, пока не отречешься от себя, от своего закона. А «разумная вера» как раз и не желает отречься от эгоизма, а еще утверждает, что знает истину! Но, не отрехшись от себя, она может иметь в себе – только себя. Истина познается только с помощью самой себя, никак не иначе. Чтобы мы могли познать истину, надо нам ее иметь, а для этого необходимо перестать быть тем, что мы из себя представляем и причаститься только истиной. «Разумная вера» – начало дьявольской гордыни, желание не принять в себя Бога, а выдать себя за бога, – самозванство и самодовольство»³⁰⁵.

Православным подвигом веры Достоевский преобразил

эгоцентричный разум, совладал с убийственным скепсисом, победил самоубийственное отчаяние своих антигероев и смирил свою мятежную душу пред благим, кротким Ликом Богочеловека Христа. Разум – это то, что необходимо смирить и преобразить верой. Достоевский сделал это решительно и смело. И первый знак этого смирения – смирение пред страшной тайной Божией и пред не менее страшной тайной мира.

Вера и смирение – близнецы: они вместе зачинаются, вместе возрастают, вместе живут, и если умирают, то вместе. Подвигом веры человек переносит центр своего существа из временного в вечное, из смертного в бессмертное, из земного в потустороннее, из человеческого в Божественное. Тут все проникнуто духом некоей бесконечности и загадочной вечности, человек испытывается смирением и страхом. Он с болью в сердце ощущает, что ни его ум, ни его воля, ни его сердце не могут быть ему путеводителями в неизвестном мире новых реалий. Но по некоей благой необходимости вера и смирение перерастают в молитву, которая и становится путеводительницей в новой жизни. И человек в тихой радости предается молитве, которая поведет его через таинства бессмертных реальностей.

Молитва царствует и владычествует. Ведомый молитвой, малый дух человека предугадывает реальность вечной истины. Он верует молитвой и молится верой. Молитва становится для него оком, прозревающим глубины вечности и праглубины своего существа. Молитва ведет ум человека, и сердце, и волю его через страшно запутанные тайны вечных и бесконечных реальностей. И человек всей душой чувствует, что молитва – самое прозорливое око его существа, око, которое может узреть и понять то, что он не мог и предугадать. В Православии молитва – водитель, учитель и воспитатель. Достоевский это ощутил и понял своим православным сердцем: «Юноша, не забывай молитвы, – мелькнет новое чувство, а в нем и новая мысль, которую ты прежде не знал и которая вновь ободрит тебя, и поймешь, что молитва есть воспитание»³⁰⁶.

Достоевский сумел дать определение евангельской, православной педагогике в самом кратком и емком виде. Оно гласит: молитва – это воспитание. Если существует средство, с помощью которого человек может переродиться и преобразиться из плохого в хорошего, из хорошего в лучшего, из лучшего в достойного, то этим всемогущим средством является молитва. Главный метод и главная сила евангельского, православного воспитания – молитва. Она, как музыка, гармонизирует всякое состояние христоролюбивой личности. Если молитва искренна, всеусердна и мудра, то благодаря ей в душу снисходит всегда нечто от Того, Кто есть

самый возвышенный и самый прекрасный.

Молитва создает новые чувствования, новые же чувства производят новые мысли, а все вместе рождает новое расположение – бого- и человеколюбивое. В молитве человек постоянно связывает себя с Богом и людьми самым лучшим образом. Молитвенное расположение становится его постоянным состоянием. Постоянная молитвенность, производя новые мысли и чувства, постоянно обогащает таким образом человека свежестью любви к Богу и людям. По сути, через молитву создается евангельская, православная философия жизни. Если хотите, то молитву по праву можно назвать молитвенной философией.

Молитва – это воспитание, а храм – это «дом молитвы», значит, храм в то же время и дом воспитания. По убеждению Достоевского, истинное воспитание и просвещение получают в храмах³⁰⁷. Божественная истина христианства овеяна Божественными мистериями. К ним приступают только через молитву. Они познаются, опять же, только через молитву. Поэтому настоящий христианский характер можно выработать при условии: созидать себя через молитву. Молитва – это та атмосфера, в которой они постоянно пребывают, это жизнь, которой они постоянно живут. В молитвенном расположении они предстают пред Богом и людьми, каждая встреча – с бесконечной молитвенной кротостью и смирением. Они смиряют себя до состояния червя, умаляют себя до унижения. Святой старец Зосима говорит о себе: «Я хуже всех людей, и всех и вся... Господи, я сам мерзок есмь паче всех и вся...»³⁰⁸

Это ощущение и сознание своей греховности постепенно развивается и возрастает в человеке, и так до тех пор, пока не превратится в постоянное ощущение и осознание своей личной всегрешности и всеответственности. Каким-то таинственным образом и в то же время вполне реально человек чувствует и нечто личное, и что он также соучаствует во всех грехах рода людского. А поэтому чувствует и личную ответственность за каждый грех, за каждое зло в мире сем. Это ощущение и сознание личной всегреховности и всеответственности необходимо каждому человеку, а не только подвижнику и монаху. Это необходимо всем, чтобы иметь правильную ориентацию в мире сем. «Отцы и братия милые, – обращается отец Зосима к монастырской братии. – Не святей же мы мирских за то, что сюда пришли и в сих стенах затворились, а напротив, всякий сюда пришедший уже тем самым, что пришел сюда, познал про себя, что он хуже всех и вся на земле... И чем более потом будет жить инок в стенах своих, тем чувствительнее должен и осознавать сие. Ибо в противном случае незачем ему было и приходить сюда. Когда

же познает, что не только он хуже всех мирских, но и перед всеми людьми за всех и за вся виноват, за все грехи людские, мировые и единоличные, то тогда лишь цель нашего единения достигается. Ибо знайте, милые, что каждый единый из нас виновен за всех и за вся на земле, несомненно, не только по общей мировой вине, а единолично каждый за всех людей и за всякого человека на всей земле»³⁰⁹.

Человек по-настоящему только тогда человек, когда ощутит в себе таинственную связь со всеми людьми всех времен и зависимость своей судьбы от всех и каждого. Только такой человек становится чувствительным ко всем проявлениям человеческого: грехи всех людей он переживает как нечто личное и чувствует ответственность за всех и вся. Поэтому и смиряет себя смирением, которое ведет его путями евангельского спасения – спасает от эгоизма человекобога и сатанинского солипсизма. «Одно тут спасение: возьми себя и сделай себя же ответчиком за весь грех людской. Друг, да это и вправду так, ибо чуть только сделаешь себя за все и всех ответчиком искренно, то тотчас же увидишь, что оно так и есть в самом деле и что ты-то и есть за всех и вся виноват. А скидывая свою же лень и свое бессилие на людей, кончишь тем, что гордости сатанинской приобщишься и на Бога возропщешь»³¹⁰.

Во всем этом необходим личный опыт, основанный на живом чувстве и на ясном сознании. Тайну жизни лучше всего понимает и легче выносит человек, который и людей и мир пропускает через сознание личной всегреховности и всеответственности. Совершенно правда того судьи, который за все людские грехи больше всего осуждает себя самого. Самый совершенный суд – это не судить и не осуждать, но сделать себя ответственным за все грехи и преступления людские на этой земле. «Проклятая проблема» преступления и наказания в этом контексте получает свое совершенное решение: оно – в смиренном ощущении личной всегреховности и в жгучем сознании всеответственности человека.

«Помни особенно, что не можешь ничьим судьейю быть. Ибо не может быть на земле судья преступника, прежде чем сам судья не познает, что и он такой же точно преступник, как и стоящий перед ним, и что он-то за преступление стоящего перед ним, может, прежде всех и виноват. Когда же постигнет сие, то возможет стать и судьейю. Как ни безумно на вид, но правда сие. Ибо был бы я сам праведен, может, и преступника, стоящего предо мною, не было бы. Если возможешь принять на себя преступление стоящего перед тобою и судимого сердцем твоим преступника, то немедленно прими и пострадай за него сам, его же без укора отпусти. И даже если б и самый закон поставил тебя его судьейю, то сколь лишь

возможно будет тебе, сотвори и тогда в духе сем, ибо уйдет и осудит себя сам еще горше суда твоего. Если же отойдет с целованием твоим бесчувственный и смеясь над тобою же, то не соблазняйся и сим: значит, срок его еще не пришел, но придет в свое время; а не придет, все равно: не он, так другой за него познает и пострадает, и осудит, и обвинит себя сам, и правда будет восполнена. Верь сему, несомненно верь, ибо в сем самом и лежит все упование и вся вера святых»³¹¹.

Глубинная тайна бытия заложена в духе людском, и ее понимание превышает все способности человеческого разума. Ни один человеческий ум не способен осмыслить все до конца, точно так же и чувства людские не могут ощутить всего до конца. Достоевский пишет в своем дневнике: «Ясно и понятно до очевидности, что зло таится в человечестве глубже, чем предполагают лекаря-специалисты, что ни в каком устройстве общества не избегните зла, что душа человеческая останется та же, что ненормальность и грех исходят из нее самой, и что, наконец, неведомы науке, столь неопределенны и столь таинственны, что нет и не может быть еще ни лекарей, ни даже судей *окончательных*³¹², а есть Тот, Который говорит: «Мне отмщение и Аз воздам». Ему Одному лишь известна *вся*³¹³ тайна мира сего и окончательная судьба человека. Человек же пока не может браться решать ничего с гордостью своей непогрешимости, не пришли еще времена и сроки. Сам судья человеческий должен знать о себе, что он не судья окончательный, что он грешник сам, что весы и мера в руках его будут нелепостью, *если*³¹⁴ сам он, держа в руках меру и весы, не преклонится пред законом неразрешимой еще тайны и не прибегнет к единственному выходу – к милосердию и любви»³¹⁵.

Это христианское понимание тайны человеческого бытия, последнего суда о ней имеют христоликие герои Достоевского. Они исключительно проникнуты ощущением и сознанием всегреховности и всеответственности за всех и вся. Они не осудят, но любят, и если осудят, то судят судом любви и милосердия. Молитвенным смирением они покрывают грехи грешников и зло преступников. Они искренне веруют, что ответственны за грехи своих ближних.

Старец Зосима встречает каждого грешника с бескрайней любовью, он с благостью входит в его душу и делает ее своей, его грехи он ощущает как свои и в особенности сострадает сердцем тому, кто особенно грешен³¹⁶. Прекрасный Алеша – само воплощение благости и смирения; вся его личность свидетельствует, что он не желает быть судьей людям, никак не желает никого осуждать. Даже сладострастный Федор Карамазов это чувствует и говорит Алеше в восхищении: «Ведь я чувствую, что ты

единственный человек на земле, который меня не осудил, мальчик ты мой милый, я ведь чувствую же это, не могу же я это не почувствовать!»³¹⁷

Нежный и печальный князь Мышкин очень сильно чувствует бесконечную сложность человеческой природы и жизни вообще. Он до самозабвения страдает из-за грехов своих друзей и знакомых, но не осуждает их. Он имеет разумение для каждого и со всеми обходится смиренно; он всех считает лучше себя, он воспринимает жизнь во всей ее глубине и сложности, он чувствует ее чудесную таинственность. А поэтому сознает, что и он каким-то образом виновен во всех грехах и страданиях людских. Так, по поводу одного обстоятельства, он говорит: «Вероятнее всего, что я во всем виноват. Я еще не знаю, в чем именно, но я виноват...»³¹⁸. Из-за этой евангельской смиренности и такого ощущения всевиновности люди ограниченные полагают Мышкина за идиота и называют его таковым. Но Достоевский всем своим романом гениально показал, что идиот не Мышкин, а те, которые его таковым считают³¹⁹.

Христоролюбивый Макар весь исполнен некоей благой смиренности. Своим тихим появлением он смиряет мятущиеся души своих ближних. Если гордость терзает сердца людей или гнев опустошает их души, он приближается к ним с такой нежностью, добротой и состраданием, что гордость их незаметно исчезает, а гнев потухает. Смягченная молитвенным расположением его душа искренне и радостно всем все прощает. Ему совершенно чужда и какая-либо гордость или самомнение, ибо он евангельское молитвенное смирение и всепрощение сделал естеством своей природы и душой своей души. Человек не может найти настоящий смысл жизни (если его по-настоящему серьезно ищет), пока не начнет в себе самом развивать ощущение и сознание своей личной всегреховности и всеответственности. Достоевский описывает это самым блестящим художественным образом, удивительно точно показывает развитие этого бесконечно сложного психологического процесса и подвига. Примеров тому очень много, примеров, потрясающе убедительных и жизненных.

Старший брат старца Зосимы Маркел, явный атеист и богохульник, пережив внутренний кризис, проходит подвиг веры и весь душевно изменяется и преображается. Некогда наглый и гордый, он теперь с умилением и радостью смиряется даже перед прислугой, говоря: «Милые мои, дорогие, за что вы мне служите, да и стою ли я того, чтобы служить мне.., ибо все должны один другому служить»³²⁰. «Мама, радость моя, – говорит он своей матери, – нельзя, чтобы не было господ и слуг, но пусть же я и буду слугой моих слуг, таким же, каким и они мне. Да еще скажу

тебе, матушка, что всякий из нас пред всеми во всем виноват, а я более всех»³²¹. Некогда высокомерный по отношению к Богу и людям, он теперь плачет, прося прощения и у птиц: «Птички Божии, птички радостные, простите и вы меня, потому что и пред вами я согрешил... Матушка, радость моя, я ведь от веселия, а не от горя это плачу; мне ведь самому хочется пред ними виноватым быть, растолковать только тебе не могу, ибо не знаю, как их и любить. Пусть я грешен пред всеми, да зато и меня все простят, вот и рай. Разве я теперь не в раю?»³²²

Старец Зосима до монашества был офицером, и его взгляды на мир были весьма поверхностны. Но во время одной дуэли в нем совершился душевный переворот, и после этого все его существо согласилось с правдивостью слов Маркела о человеческой ответственности за все в мире. Какие-то новые, ранее не известные ему чувства, сильные и ясные, обуревают его душу, и он на личном опыте приходит к осознанию великой, неопровержимой истины: «Воистину всякий пред всеми за всех виноват, не знают только этого люди, а если бы узнали – сейчас бы в рай! Господи, воистину я, может быть, всех виновнее, да и хуже всех на свете людей». Еще вчера он ударил своего слугу Афанасия, а сегодня с ужасом вопрошает: «В самом деле, чем я так стою, чтобы другой человек, такой же как я, образ и подобие Божие, мне служил?» И он идет к Афанасию, в мундире и эполетах, бросается к нему в ноги, лбом до земли, и плача говорит: «Афанасий, я вчера тебя ударил два раза по лицу, прости меня, прости меня!»

Исполненный радости и воодушевления из-за покаянного переворота, происшедшего в его душе, он весело отправляется на дуэль, на которую был вызван вчера, и говорит своему секунданту: «Видел ли ты победителя? Вот он пред тобою!» Во время дуэли, на уговоренном месте, Зосима стоит в двадцати шагах от своего противника, прямо лицом к лицу, глазом не моргнув, с любовью смотрит на него, зная, что тот будет делать дальше. Противник стреляет первый, но промахивается. Зосима кричит: «Слава Богу, не убили человека!» Затем вместо того, чтобы стрелять самому, он выбрасывает пистолет в лес, говоря: «Туда тебе и дорога», и обращается к своему противнику: «Милостивый государь, простите меня, глупого молодого человека, что по вине моей вас разобидел, а теперь стрелять в себя заставил. Сам я хуже вас в десять крат, а пожалуй, еще того больше». Эти слова вызывают бурный протест у офицеров-секундантов: «Как это срамить полк, на барьере стоя, прощения просить!» Зосима отвечает, смеясь: «Господа мои, неужели так теперь для нашего времени удивительно встретить человека, который бы сам покаялся в своей

глупости и повинулся, в чем сам виноват публично?»

После этого события Зосима подает в отставку и готовится к монастырю. «Ну, как же это возможно, – смеются ему в глаза, – чтоб я за всех виноват был, ну, разве я могу быть за вас, например, виноват?» На это Зосима отвечает: «Да где вам это и понять, когда весь мир давно уже на другую дорогу вышел и когда сущую ложь за правду считаем, да и от других такой же лжи требуем? Вот я раз в жизни взял да и поступил искренне, и что же, стал для всех точно юродивый»³²³.

«Таинственный посетитель» Зосимы спас себя от отчаяния и самоубийства благодаря тому, что взял на себя подвиг покаяниями смирения. Четырнадцать лет носил он в своей душе страшную тайну своего преступления: он убил женщину и поэтому жил, как в аду. Покаянный подвиг Зосимы придал ему силы, и он приходит к нему после долгих колебаний и страшных мук совести и исповедует свое преступление. Зосима дает ему совет, как освободиться от адских мук: «Идите и объявите людям. Все минется, одна правда останется». Он открывает Новый Завет и читает ему таинственные слова Спасителя: «Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода» (Ин.12:24).

И «таинственный посетитель» принимает невероятное решение: казнить себя публичной исповедью. На свой день рождения, за обедом, в присутствии многочисленных гостей, он объявляет о своем преступлении, описывая его во всех подробностях. Речь же свою заканчивает словами: «Как изверга себя извергаю из среды людей, Бог посетил меня... Пострадать хочу». Все в панике, но никто не верит его признанию, что он убил женщину. Более того, все соглашались с мнением врачей, что вследствие расстройства нервов он сошел с ума. А он и действительно слег после такого потрясения и внутреннего переворота, и духовного напряжения. Перед смертью он говорит Зосиме: «Бог сжалился надо мной и зовет к Себе. Знаю, что умираю, но радость чувствую и мир после стольких лет впервые. Разом ощутил в душе моей рай, только лишь исполнил, что надо было. Теперь уже смею любить детей моих и лобзать их. Мне не верят, и никто не поверил, ни жена, ни судьи мои; не поверят никогда и дети. Милость Божию вижу в сем к детям моим. Умру, и имя мое будет для них незапятнано. А теперь предчувствую Бога, сердце как в раю веселится... долг исполнил... Господь мой поборол диавола в моем сердце»³²⁴.

Чувство искреннего смирения и всеответственности – главная

отличительная черта и других героев Достоевского, которые или идут путем личного самосовершенствования, или напряженно ищут высший смысл в этой жизни и мире. Это мы видим в Мите и в Грушеньке, в Раскольникове и Соне, в Ване и Неточке, в Разумихине и в Степане Трофимовиче, в Шатове и в Версилове. Это чувство свойственно в большей или меньшей мере и другим личностям в произведениях Достоевского. И это так потому, что это чувство, без сомнения, было частью души самого Достоевского. Во всем его существе было разлито это необычайно живое и непреодолимо реальное ощущение личной всегреховности и всеответственности. Это он отразил в «Сне смешного человека». В этом произведении он описывает людей и землю в ее безгрешном состоянии, до того, как люди впали в грех и познали зло. Счастье их бесконечно и трогательно. Но эту счастливую и безгрешную землю развратил он, он сам – Достоевский! «Знаю только, что причиной греха был я, – заявляет он. – Как скверная трихина, как атом чумы, заражающий целые государства, так и я заразил собою всю эту счастливую, безгрешную до меня землю». И все потонуло в сладострастии, в жестокости, в ссорах, во вражде, в тоске и страданиях. Безмерное страдание и ужасающее отчаяние стали уделом всех людей на земле и всей твари³²⁵.

Только исключительные избранники рода людского, к которым, без сомнения, принадлежит Достоевский, могли так исключительно глубоко чувствовать трагедию человеческого существа и внутри себя разглядеть истоки этой трагедии. Это – апофеоз всечеловечности. Человек обнаруживает в себе таинственным образом, что он действительно виновен во всех страданиях рода людского и ответственен за всех и вся на земле. Это Достоевский исповедует косвенно и прямо: косвенно – через своих героев, прямо – в «Сне смешного человека». Свое чувство и сознание всегреховности и всеответственности, которое для него – жестокая и очевидная реальность, он обнаруживает как сон смешного человека. Делает он это, возможно, прежде всего потому, что имеет в виду русскую интеллигенцию, которая в значительной своей части была воспитана и образована по европейскому образцу. А это значит – на гордости и на убеждении, что человек – мерило всего видимого и невидимого, всего познанного и непознанного, всего временного и вечного. Для такой интеллигенции смиренное ощущение и сознание личной всегреховности и всеответственности не только сон, но сон, который может присниться только смешному человеку.

Но для людей по-евангельски православно воспитанных и

образованных, чьи души сотканы из хриstopодобных смирения и кротости, веры и любви, молитвенности и всепрощения, это ощущение Достоевского личной всегреховности и всеответственности не покажется сном, оно будет явью и жизненной реальностью. Люди православно воспитанные знают это по своему личному опыту, ибо не может быть человек истинно православным, если не носит в душе своей сознания личной всегреховности и всеответственности. И тут мы имеем свидетельства в многовековом православном опыте, главный признак которых – чувство всеобщности, соборности. К этому чувству всеобщности человек приходит в течение своей жизни, личным погружением в этот молитвенный опыт Православия.

К этой многозначительной истине Достоевский пришел в ходе жизненного православного опыта, покоренный и очарованный Ликом Безгрешного: он не мог не ощутить себя всегрешным пред Единственным Безгрешным, он не мог не развить в себе чувства смирения пред Христом до сознания личной всеответственности за всех и вся. Смирение необходимо душе человека, как зеница оку. Невозможна жизнь души без смирения, как невозможно зрение без зеницы ока. Исключительную важность смирения и личной всеответственности Достоевский проповедовал по-апостольски ревностно. И по-другому не мог проповедовать этот прекрасный православный философ.

Для евангельской православно-молитвенной философии смирение – фундамент христианства³²⁶, «знак христианства, и тот, кто не имеет этого знака – не христианин»³²⁷. «Невозможно спастись без смирения»³²⁸. Спасение достигается верой и смирением³²⁹. Смирение – непогрешимый путеводитель через необычайно загадочные и запутанные тайны жизни на земле. «Пред иною мыслью станешь в недоумении, особенно видя грех людей, и спросишь себя: «взять ли силой али смиренною любовью?» Всегда решай: «возьму смиренною любовью». Решишься так раз и навсегда, и весь мир покорить можешь. Смирение любовное – страшная сила, изо всех сильнейшая, подобной которой нет ничего»³³⁰. Смирение – это единственная сила, которой побеждается всяческое проявление сатанизма: сатанизм ума, сатанизм сердца, сатанизм воли. «Смирение – единственная добродетель, которой диавол не может подражать»³³¹.

Без смирения невозможно быть христианином. По сути, христианство начинается со смирения. Евангельское смирение – это очень сложное сочетание ощущений и мыслей. Именно тут сокрыто огромное богатство духовных ценностей, хотя в Евангелии смирение названо нищетой духа. Но что значит «нищета духа»? Что значит быть нищим духом? Нищий

духом человек всем своим существом ощущает, что его человеческий дух бесконечно нищ пред Духом Божьим, что его человеческая жизнь – полнейшая нищета в сравнении с богатством жизни Божьей, что все людское в сравнении с Божьим – бесконечное убожество. Нищий духом человек, до конца уничтоживший в себе гордость, человек, заменивший гордость смирением ума, такой человек воспринимает мир в категории смирения. И как гордость и гордоумие – начало всякого греха, так и смирение и смиренномудрие – начало всякой добродетели и добра.

Но и это еще не все. Через нищету духа человек причащается вечных блаженств. Если в человеке есть хоть малая толика гордости, то его душу если не опустошает, то, во всяком случае, посещает или отчаяние, или тоска, или грусть, или уныние. И когда он смирением вытеснит из души гордость, в его душу вселятся и кротость, и радость, и умиление, и милосердие, и любовь, и молитва, и все евангельские блаженства разом. Ибо нищета духом – первое блаженство, которое ведет ко всем остальным евангельским блаженствам. Нищета духа заключает в себе такую силу, что Царство Небесное сводит на землю, приближает человека к этому Царству, Делает его близким своим. Всеистинный сказал: «Блажени нищие духом: яко тех есть Царствие Небесное» (Мф.5:3). Их Царство Небесное уже здесь, на земле, уже тут, на земле они чудесным образом обладают Небом. Поэтому Всеистинный и не сказал «тех будет», но сказал «тех есть».

Только бесконечное смирение рождает в душе человека чувство личной всегреховности и всеответственности. В этом – много небесной истины, много Небесного Царствия. Тут все взаимосвязано: одно производит другое, одно перерастает в другое. Поэтому Достоевский решительно проводит мысль: каждый человек виновен не только в своих грехах, но и во всем и вся, что происходит в мире. Когда люди поймут эту мысль, говорит он, тогда для них наступит Царство Небесное, и не в мечтах, а на деле³³². «Если человек не имеет крайнего смирения, смирения всем сердцем своим, всем умом своим, всем духом своим, всей душой и телом своим, то он не может наследовать Царство Божие»³³³.

Смирение – это своего рода всевидящее око души, с помощью него человек безошибочно отличает истинные ценности от ложных в самом себе и в мире вокруг себя. Человек истинного смирения ощущает и ясно осознает свою человеческую малость, свою ничтожность. Это проявляется в постоянном самоосуждении, в постоянном недоверии своему человеческому разуму, в оправданной ненависти к своей человеческой воле, – одним словом, в решительном отвращении от всего мирского, эгоистичного и самодовольного.

Духом смиренной всегреховности и всеответственности воистину пронизано все евангельское, все православное. Чувство и сознание личной всегреховности и всеответственности побуждало многих людей к необыкновенным подвигам смирения и покаяния. Именно это чувство и это сознание подвигли великого русского подвижника св. Серафима Саровского (†1833) на невероятно тяжелый подвиг: тысячу дней и тысячу ночей провел он в непрестанной молитве Богу с молитвой мытаря на устах: «Боже, милостив буди мне грешному». Ночь он проводил в лесу, стоя на коленях на камне, а дни – в своей келии, также стоя на коленях на камне.

Это чувство всегреховности, эта покаянная грусть, это суровое самобичевание, это немилосердное самоосуждение, по мысли Достоевского, пронизывает душу русского народа, характеризует русскую историю, выявляя то, что есть в народе православного³³⁴. Этим чувством преисполнен облик оптинского старца Амвросия, к которому Достоевский приезжал. Этим чувством проникнута вся евангельская деятельность знаменитого русского духовника отца Иоанна Кронштадтского (†1907). Он учил: считай себя самым большим грешником, более тех, которые тебе таковыми кажутся или на самом деле таковыми являются. Почитай себя худшим и ниже всех³³⁵.

Как и все истинные православные философы, Достоевский своим христоробивым сердцем ощутил и понял, что только решительный подвиг веры спасает человека от ядовитого болота релятивизма и выводит на светлый путь, который через христолюбивое смирение и кротость, молитву и милосердие ведет к бессмертию и к жизни вечной, туда, где чарующий Лик Богочеловека Христа царствует и властвует.

Глубоким противопоставлением этому толстовскому самоволию разума является принцип послушания и распинания разума. Этот принцип особо подчеркивал К.Н. Леонтьев. «Я вполне Православию подчиняюсь, – говорит он. – Я признаю не только то, что в нем убедительно для моего разума и сердца, но и то, что мне претит... Credo quia absurdum... Я верую и тому, что по немощи человеческой вообще и моего разума в особенности, что по старым, дурным и неизгладимым привычкам европейского, либерального воспитания кажется мне абсурдом. Оно не абсурд, положим, само по себе, но для меня как будто абсурд... Однако я верую и слушаюсь. И скажу вам, что это лучший, может быть, род веры. Совет, который нам кажется разумным, мы можем принять от всякого умного мужика, например. Чужая мысль поразила наш ум своей истиной. Что ж за диво принять ее? Ей подчиняешься невольно и только

удивляешься, как она самому не пришла на ум раньше. Но, веруя в духовный авторитет, подчиняться ему против своего разума и против вкусов, воспитанных долгими годами иной жизни, подчинять себя произвольно и насильственно, вопреки целой буре внутренних протестов, мне кажется, это настоящая вера».

«Необходимо в особенности стремиться к тому, чтобы никогда и ни в чем не сравнивать себя с другими, но всегда ставить себя ниже других, даже если ты в каком-либо отношении выше других или такой же, как они.

Если хочешь быть истинно смиренным, то считай себя ниже всех, достойным того, чтобы тебя все топтали».

О себе о. Иоанн говорит: «Я – сама немощь и нищета. Бог – моя сила. Это убеждение – моя высшая мудрость, которая делает меня блаженным».

«Смирись духовно пред каждым, считая себя ниже его или ее, ибо тебя Сам Христос поставил быть слугой каждому, несмотря на то, что все его члены, так же, как и ты, носят раны греха».

Философия любви и познания

Как только человек направит свои мысли на евангельские пути, он тотчас почувствует себя как бы незавершенным еще существом. Все в нем устремляется к чему-то бескрайнему и бесконечному. Подвигом веры, молитвы, смирения он как бы продлевает себя в бесконечность. Нет границ для его развития, нет преград для его самосовершенствования. Он постоянно переносит себя из временного в вечное, из смертного в бессмертие, из земного в потустороннее, из конечного в бесконечность. Вера как раз и есть не что иное, как решительное salto mortale, бросок из смерти в бессмертие. Человек храбро и решительно отрекается от самого себя, от своего эгоистичного закона: я-я и предает себя Божественной бесконечности, где Вечный царствует и властвует.

В подвиге веры человек засеивает зерно своей личности в незнакомые глубины Вечного и Невидимого. В подвиге молитвы это зерно расщепляется, умирает и прорастает в сердце Невидимого. В подвиге смирения человек приходит к ясному сознанию и ощущению, что зерно его личности не имеет в себе самой ценности, и что непреходящую ценность оно получает только в соединении с Богочеловеком Христом, Который в нашем земном мире представляет естественно абсолютную ценность. В этом сложном подвиге, в котором человек переносит себя в богочеловеческие бесконечности и соединяется с Богом Логосом, есть осознание и реализация первой и самой главной заповеди: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостию твоею» (Мк.12:30; Мф.22:37–38; Лк.10:27).

Верой, молитвой, смирением человек предает себя Богу, предает Богу все сердце свое, всю душу свою, весь ум свой и всю силу свою. Всею боголюбивой природой своего существа человек обитает в Боге, молитвенно и необыкновенно близко соприкасается с Ним. Ведомый верой, воспитанный молитвой, облагороженный смирением, он постепенно все более и более обогащается богочеловеческим опытом, стяжает святые добродетели и так далее до тех пор, пока не приобретет самую большую и самую святую добродетель – любовь.

«Любовь больше молитвы»³³⁶, выше и всех остальных добродетелей. Она настолько больше, насколько Бог больше всех добродетелей, ибо «Бог есть любовь» (1Ин.4:8, 16). Бог не только имеет в Себе любовь как Свое свойство, но Он есть любовь по существу Своему. «Ибо Любовь не имя, но

Божественная сущность»³³⁷. Любовь не только «res Dei», Его «esse». Как любовь Бог абсолютен. «Бог не был бы абсолютной любовью, если бы был любовью только к другому, к условному, к тленному, к миру; ведь тогда любовь Божия стояла бы в зависимости от бытия условного и, следовательно, сама была бы случайной. Бог есть Существо абсолютное потому, что Он – субстанциальный акт любви, акт-субстанция... Бог есть любовь, т.е. любовь – это сущность Божия, собственная Его природа, а не только Его атрибут»³³⁸.

И поскольку это так, человек не может ощутить и понять Абсолютную Любовь, если только в личном опыте не воплотит в себе «первую и наибольшую» заповедь, если в субстанциальном акте хриstopодобной любви все свое существо не предаст в руки Богочеловека Христа. Сущность Божия ищет сущность человеческую. Бог ищет человека. Истина разлита во всей бескрайности Божией сущности, поэтому к познанию истины нельзя прийти путем рационалистическим, арианским. Только один путь ведет к познанию вечной истины – любовь. Стяжав любовь, которая есть сущность Божия, человек реально соединяется с Богом и, таким образом, постигает вечную истину.

Любовь исполняет человека Богом. По мере этой преисполненности Богом человек познает Его. Преисполняясь Богом, человек исполняется светом, святостью, обоживается и, таким образом, становится способным к действительному познанию Бога. Осознав и сделав своей природой «первую и наибольшую» заповедь, человек становится «причастником Божественного естества" (2Пет.1:4). Божественная сила любви вовлекает всего человека в процесс обожения: в нем сердце, душа, ум и воля преисполняются Божественным, обоживаются. И все в человеке живет Богом, чувствует Богом, мыслит Богом, жаждет Бога. При этом тайна Божества открывается людям Духом Святым, ибо что в Боге, «никто не знает, кроме Духа Божия» (Еф.3:5; 1Кор.2:11).

Человек по своей психофизической ограниченности не способен к истинному и реальному познанию Бога. Но как написано «не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его» (1Кор.2:9). Да, только тем, кто Его любит, ибо через любовь они стали участниками Его природы. Любовь вводит человека в глубины Божии и дает возможность познать то, что никогда и никоим образом не смогут понять люди, не любящие Бога.

Богочеловек принес в мир эту истину: любовь есть путь и метод истинного богопознания. Через веру, молитву, смирение человек говорит о себе Богу; через любовь – Бог говорит о Себе человеку. Через веру,

молитву и смирение человек верует в Бога; через любовь – Бог верует в человека. Через веру, молитву и смирение человек принимает Бога; через любовь – Бог принимает человека. Любовь Божия – ответ на веру, молитву и смирение человека. По отношению к Богу человек – это вера, молитва и смирение; по отношению к человеку Бог – это любовь, милость, сострадание. Человек может быть творцом веры, но никогда не может быть творцом любви. Бог – единственный Творец любви. Вера – это подвиг, любовь – это дар. Через веру, молитву и смирение человек усваивает Бога как содержание своей жизни: Он становится Человеком, чтобы человек обожился, соединяется с человеком в богочеловеческом единстве.

Любовь – сущность Бога, сущность Троицкого Божества, сущность христианства. Любовь «есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки» (Мф.22:38–40). На этих двух заповедях зиждется вся жизнь и учение христовых героев Достоевского, на них же зиждется вся жизнь и учение самого Достоевского.

Одна суть и одна сила пронизывают эти две единичные заповеди. Первая заповедь всегда первая и всегда «наибольшая»; вторая же всегда вторая и всегда зависящая от первой. Любовь к человеку – это только видимое проявление и направленность человеческой любви к Богу. Сумеет человек стяжать любовь к Богу, он в то же время сумеет и человека возлюбить. Любовь к людям онтологически обусловлена любовью человека к Богу. Без боголюбия нет настоящего и человеколюбия. Любить человека, а не любить Бога, это в действительности самолюбие. Любить Бога, а не любить человека, это – самообман. Это главная богочеловеческая истина, в силе засвидетельствована и доказана она Христом.

Эту Христову истину полностью принимает и страстно проповедует Достоевский. Он считает, что добродетель невозможна без Бога, тем более невозможно иметь без Бога добродетель над добродетелями – любовь. Он убежден, что только желторотые моралисты могут утверждать, «что можно любить человечество без Бога»³³⁹. Любить истинной непреходящей любовью возможно только тогда, когда человек живет Богом и в Боге. Истинная любовь соединяет душу с душой, сердце с сердцем, волю с волей. Она соединяет все то, что есть совершенного в одном человеке, с тем, что совершенно в другом. Поэтому апостол и говорит, что любовь есть «совокупность совершенства» (Кол.3:14).

Хриstopодобная любовь связывает, соединяет сущность любящего с сущностью любимого и претворяет их почти в единосущное существо. «Возлюби ближнего твоего как самого себя». Как это: «как самого себя»? Но если я по христианскому смирению ненавижу себя самого, что тогда? Не значит ли это в таком случае: любить ближнего своего как самого себя, по сути – ненавидеть ближнего своего как себя самого? Без сомнения, именно так бы и было, если бы любовь к ближнему не являлась существенной эманацией и отражением человеческой любви к Богу. Поэтому «возлюби, как себя самого» значит, что твое «себя», будучи твоим «я», осветлилось и обожилось, обитая в Боге, обожилось всем сердцем своим, всей душой своей, всем умом своим, всей силой своей и исполнило, обитая в Боге, Его первую и наибольшую заповедь. «Возлюби ближнего твоего как себя самого» поэтому значит: люби ближнего своего так, как ты любишь свое очищенное, освященное и обоженное «я», люби ближнего своего Богом и в Боге.

Таков смысл двух самых главных заповедей Богочеловека в нашем земном мире. И поскольку они заключают в себе такой смысл, на них зиждется и от них зависит вечность каждого человека в отдельности и всего человечества в целом. Путь человека к человеку один – через Бога, ибо без Бога невозможно приблизиться к человеку, ни любить, ни познать человека. Только через Бога и в Боге человек становится прекрасным, и сильным, и вечным. Только Бог дает силы человеку любить ближнего непреходящей и вечной любовью. «Любить невидимого Бога – это значит пассивно открывать пред Ним свое сердце и ждать Его активного откровения так, чтобы в сердце нисходила энергия Божественной любви. Причина любви к Богу есть Бог – *causa diligendi Deum Deus est*³⁴⁰. Напротив, любить видимую тварь – это значит давать воспринятой Божественной энергии открываться через воспринявшего, вовне и окрест воспринявшего, так же, как она действует в Самом Триипостасном Божестве, – давать ей переходить на другого, на брата. Для собственных человеческих усилий любовь к брату абсолютно невозможна. Это дело силы Божией. Любя, мы любим Богом и в Боге. Только познавший Троиединного Бога может любить истинной любовью. Если я не познал Бога, не приобщился к Его Существо, то я не люблю. И еще обратно: если я люблю, то я приобщился к Богу, знаю Его; а если не люблю, то не приобщился и не знаю»³⁴¹.

Без Бога и вне Бога любовь невозможна. Точно так же без любви и вне любви познать Бога невозможно. «Любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что

Бог есть любовь» (1Ин.4:7–8). Для того чтобы возможно было любить людей истинной любовью, человек должен всем сердцем своим, всей душой своей, всем умом своим и всей силой своей родиться от Бога, от любви. Тот, кто от любви, не может не любить. Соединившись с Богом, человек получает силы духовного соединения с людьми. Удаляясь от Бога, он тем самым отдаляется от людей. Чем человек ближе к Богу, тем он ближе и к людям. Тот, кто особенно близок к людям, тот ближе всего к Богу. Эта богочеловеческая истина засвидетельствована вековым православным опытом.

«Представьте себе круг, – говорит святой философ Авва Дорофей, – в середине круга – центр, и радиусы исходят от центра. Представьте теперь, что круг – это мир, центр круга – Бог, а радиусы, исходящие из центра к периферии, жизнь людей, пути людских жизней. Насколько святые, желающие приблизиться к Богу, входят в внутренность круга, настолько они приближаются к Богу и один к другому. И насколько они приближаются один к другому, настолько же они приближаются к Богу. Так же надо понимать и удаление. Когда удаляются от Бога и обращаются к внешнему, к периферии круга, то ясно, что настолько же они удаляются и один от другого. Такова природа любви: настолько мы вне и не любим Бога; а благодаря своей любви к Нему, мы настолько соединяемся любовью с ближним, насколько приблизились к Богу»³⁴².

Философия любви Достоевского вся в этой богочеловеческой истине о любви. Его хрестоликие герои любят всех людей, любят всю тварь, ибо любят Христа Бога; его же христорборческие герои не любят людей, не любят мир, ибо не любят Бога во Христе. Настоящая любовь – подвиг, в котором творчески участвует, с одной стороны, Сам Богочеловек Христос, а с другой стороны, сам человек в полноте, своего существа. Чтобы любить людей непреходящей любовью, человек должен сначала сделать Христа душой своей души, сердцем своего сердца, умом своего ума, волей своей воли, жизнью своей жизни, любовью своей любви. Без Бога Любви невозможно любить божественно. Истинно, любовь делает Бога Богом и человека человеком. Именно поэтому Христос – истинный Бог во всех мирах. Единственный истинный Бог, потому что Он – любовь. «Солнце любви горит в Его сердце, лучи света, просвещения и силы текут из очей Его и, изливаясь на людей, сотрясают их сердца ответной любовью»³⁴³.

В нашем земном мире можно усомниться во всем, только не в любви Христовой. По всему и во всем Он – Бог любящий, ибо Он – Бог любви. Любовь – суть Его чудесной Личности, а поэтому и суть всякой человеческой личности вообще. Любовь Достоевского к человеку и миру –

это только отражение его любви ко Господу Христу. В любви Достоевского, в его чувствах, в мыслях и словах ощущается благоволение души Христовой. Достоевский знает главную тайну чарующей Личности Богочеловека. Эта тайна – любовь. Всем Своим Существом Богочеловек самым наглядным образом убеждает, что любовь – главная тайна и Бога и человека. Если бы мы дерзнули дать уточняющее определение Бога и человека, то, вероятнее всего, могли бы сказать: главное определение Бога – любовь, а о человеке можно было бы сказать, что Богочеловек есть главное определение человека и всего образа его жизни.

Бог есть любовь, поэтому Божественная любовь всемогуща, бескрайня, бессмертна и вечна. И если Бог – любовь, тогда в человеческом сердце нет места отчаянию, скепсису, ненависти. Всем своим существом человек открыт бескрайней радости, Божественной мудрости, вечному состраданию, беспредельной любви. Бог есть любовь. Поэтому «ничего не бойся, и никогда не бойся, и не тоскуй, – поучает старец Зосима. – Только бы покаяние не оскудевало в тебе, и все Бог простит. Да и греха такого нет и не может быть на всей земле, какого бы не простил Господь воистину кающемуся. Да и свершить не может совсем такого греха великого человек, который бы истощил бесконечную Божью любовь. Али может быть такой грех, чтобы превысил Божью любовь? О покаянии лишь заботься непрестанном, а боязнь отгони вовсе. Веруй, что Бог тебя любит так, как ты и не помышляешь о том, хотя бы со грехом твоим и во грехе твоём любит... Не бойся. На людей не огорчайся, за обиды не сердись. Покойнику в сердце все прости, чем тебя оскорбил, примиришь с ним воистину. Коли каешься, так и любишь. А будешь любить, то ты уже Божья... Любовью все покупается, все спасается... Любовь такое бесценное сокровище, что на нее весь мир купить можешь, и не только свои, но и чужие грехи еще выкупишь»³⁴⁴.

По своей природе любовь обладает центростремительной, богоцентричной силой, которой она человека привлекает к Богу, к этому вечному центру великой тайны жизни всего сущего на земле. Творческая сила мысли Божьей оживотворяет каждое существо и всякую тварь, действуя в них. Ибо всякая тварь – это воплотившаяся мысль Божья. Это и делает тварь боголюбивой, ибо то, что в ней от Бога, то в ней и устремляется к своему Творцу. Любовь обладает чудесной способностью находить в каждом человеке и во всякой твари то, что есть в ней Божьего, то, что в ней совершенно. Любовь – это «совокупность совершенства» (Кол.3:14), совокупность всего того, что есть совершенного в людях и во всякой твари. А совершенно в них то, что богоподобно и богоданно, то, что

от Совершенного. Любовь спаивает, соединяет богоподобные души, рассеянные Богом в людях, и Божьи мысли, рассеянные в твари.

Из всего этого очевидна истина: любовь есть сущность Бога. В то же время так же очевидна и другая истина: любовь – неизбежная сущность и человека. Ибо Бог не был бы любовью, если бы не сделал любовь и человеческой сущностью. Бог – любовь: это первая и главная новость христианства, а вторая – человек это любовь. Без любви Бог не Бог, без любви и человек не есть человек. Любовь делает Бога Богом и человека человеком. Без любви Бог – ничто, во всяком случае для измученных жителей нашей планеты. Без любви и человек – ничто. Человеческая личность сильна только любовью и в любви, ибо любовь – сущность, содержание и стержень личности. Без любви человеческое «я» – ничто, а если и что-то, то тогда это «что-то» – не более чем хаотичная масса бессмысленных открытий и ненужной боли. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, – то я ничто» (1Кор.13:1–2). Да, воистину так: даже если все знаю, все понимаю, даже если верую, но Божественной любви не имею, то я ничто, нет во мне никакой добродетели ни в этом, ни в том мире.

Через подвиг богочеловеческой любви человек переходит из небытия в бытие, воскресает от смерти к жизни, восстает из гроба безличного ничто, из гроба небытия, и входит в вечную жизнь всебытия. Через любовь человек освобождается от рабства смерти и свою личность вводит в жизнь благой и кроткой вечности, этой единственной категории любви. Любовью человек спасается от ужасного метафизического ничто, обретает себя как личность, становится бесконечным и бессмертным и, таким образом, вступает в прекрасное царство Божественных реальностей и вечных ценностей. Без любви нет личности.

В подвиге веры человек особенно остро ощущает свою малость, свое ничтожество, а с ним и свою безликость, в подвиге же хриstopодобной любви он более чувствует Бога, созерцает Его лицо, ибо в нашем человеческом мире любовь – единственная сила, которая открывает лицо Божие. Ничто так не указывает и не доказывает существование личного Бога, ничто так не способствует личному общению человека с Богом, как общение «лицем к лицу»³⁴⁵, ничто так не соединяет человека с Богом, как любовь.

Человек, который любит богочеловеческой любовью, никогда не умирает, ибо эту любовь никакая боль не может разочаровать, никакая

смерть умертвить³⁴⁶. Соединяясь с единственно Бессмертным, человек становится бессмертным, в нем уничтожается все преходящее и смертное и воскресает в нем то, что божественно и совершенно³⁴⁷, то, что никогда не умирает, то, что делает личность вечной и бессмертной. Бог из-за любви и по любви стал Человеком, чтобы человек по любви стал богом, не Богом по своей природе, но по благодати. Стяжав богочеловеческую любовь, человек тем самым стяжает и богочеловеческие добродетели, мысли и чувства.

Бог мыслит любовью, человек, обладающий богочеловеческой любовью, также мыслит любовью; Бог чувствует любовью, любовью познает, любовью живет, также и человек, имеющий божественную любовь, любовью чувствует, познает и живет. Все истинно Божие и истинно человеческое пронизано любовью. Мыслить любовью, чувствовать, знать – это значит жить евангельской, богочеловеческой, православной жизнью. Главное дело Христа состоит в том, что Он Свою богочеловеческую любовь сделал не атрибутом, но сутью Своей человеческой Личности. До Него любовь была лишь касательной в круге человеческой жизни, после Него она становится центром жизни людей и человеческого общества.

Богочеловек сделал любовь сутью и методом бого- и человекопознания. Любовь не только чувство, но и сущность духа, души и воли. Она главная творческая сила, с помощью которой новозаветная личность созидает самое себя. Тайна чарующей Личности Христовой – в любви, в любви же и тайна новозаветной гносеологии. Богочеловеческая любовь – это новый путь познания, и его категорический императив гласит: люби, чтобы познать. Истинное познание во всем зависит от любви: оно зачинается любовью, растет в любви и достигает своего совершенства в любви. Я люблю, значит – я знаю. Знание – это эманация любви. Вся философия познания содержится в философской любви. Если человек исполнен христоподобной любви, то он – истинный философ, так же точно человек любовью творит человеческое. Если же нет любви в человеке, то тогда в нем нет того, что делает его человеком, того, что делает его бессмертным. Любовь – единственная сила, которая человека преобразует в истинного философа и дает ему силы решать самые тяжелые проблемы жизни и мира.

Жестоко мучимый главными проблемами человеческого духа, Достоевский на своем личном опыте доказал, что любовь – единственное средство, с помощью которого возможно решить вековечные, «проклятые» проблемы: проблему существования Бога и проблему бессмертия души. Он

говорит: «Бессмертие души и Бог – это все одно, одна и та же идея»³⁴⁸. Дискурсивным и диалектическим путем эту идею невозможно доказать. Пред этой страшной тайной лихорадят, рушатся и обесцениваются все человеческие знания, все людские пророчества, все людские блага. Но в мирах, которые открыты для человеческого познания, существует только одна сила, которая окончательно решает проблему Бога и души. Эта сила – любовь. Она решает эту проблему не путем логических доказательств, но путем непосредственного личного опыта, внутренней убежденности, которая приобретается опытом активной любви, переживанием Божественной любви как сущности своей личности и своих взаимоотношений с миром и с людьми.

Святой философ Достоевского, старец Зосима, учит: существование Бога, бессмертия души и будущей жизни невозможно доказать, но возможно в этом убедиться.

"- Как? чем?

– опытом деятельной любви. Постарайтесь любить ваших ближних деятельно и неустанно. По мере того, как будете преуспевать в любви, будете убеждаться и в бытии Бога, и в бессмертии души вашей. Если же дойдете до полного самоотвержения в любви к ближнему, тогда уж, несомненно, уверуете, и никакое сомнение даже и не возможет зайти в вашу душу. Это истинно, это точно»³⁴⁹.

Человек обладает одной удивительной способностью: он ощущает и осознает свое существование. Это чувство и знание настолько загадочны, таинственны и чудесны, что человек их сам не смог бы ни выдумать, ни создать. Их происхождение, без сомнения, сверхчеловеческое, небесное, Божественное. Это чувство и знание человеку мог дать только Бог. И дал, ибо Он – любовь. И мы, любя людей настоящей, Божественной любовью, приходим к убеждению, что существуем как бессмертные существа. И наша любовь своей неодолимой богоцентричной силой притягивает все наше существо к Богу, соединяет с Ним и создает в нас непоколебимую убежденность в том, что Бог существует, есть бессмертие души и будущая жизнь. В опыте хриstopодобной любви человек получает истинное самопознание и реальное богопознание. Когда человек соделает богочеловеческую любовь сутью своей личности, тогда он чувствует, мыслит, живет, познает Богом; только тогда он чувствует, что каждая его мысль, каждое его чувство Бог претворяет в бессмертную мысль и в бессмертное чувство, только тогда он ощущает и познает себя в Боге и ясно видит, что его самоощущения таинственным образом коренятся в богоощущениях, а его самосознание – в богосознании.

Ярким примером и убедительным доказательством тому служат христоликие герои Достоевского. Они живут любовью, любовью познают Бога, людей, мир и самих себя. Каждое чувство и мысль, желания и дела их исполнены Божественной любовью, они и в души других людей вносят убеждение о существовании Бога и бессмертия души. Для них любовь, Бог, бессмертие души неразделимы и друг другом обусловленные не только понятия, но и – живое ощущение, живая и абсолютная реальность.

Через хриstopодобную любовь человек быстрее и более уверенно возрастает в Боге, приближаясь к незаменимому идеалу рода людского – к Богочеловеку Христу; он возрастает постоянно, доколе не придет «в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова» (Еф.4:13). К полному совершенству своей личности человек приходит, если возрастает «возрастом Божьим», а не своим человеческим. Ибо человек может стать совершенным, только если все усилия будет преобразовывать и умножать в Богочеловеке. Благодаря богочеловеческим добродетелям, человек достигает высшей полноты личности, приходя к богочеловеческой любви. Ибо эта любовь и есть наивысшая полнота личности в силу того, что окончательно соединяет человека с Богочеловеком. Без этой любви человек – получеловек, недочеловек. Более того, без этой любви человек без стержня, человек – ничто³⁵⁰. Любовь и есть «да», говоримое Я самому себе; ненависть же – это «нет» себе. Непереводаемо, но выразительно эту идею Р. Гамерлинг³⁵¹ отчеканивает в формуле: любовь есть *das lebhafteste Sich-selbst-bejahen des Seins* – живое самому себе «да» бытия³⁵².

Необъяснимым, таинственным образом всякое существо обусловлено любовью: и Существо Божие, и существо человеческое, и вообще всякое живое существо. В мире живых существ господствует следующее начало: любить – значит быть. Бог – вечное Существо, ибо абсолютная любовь – Его сущность. Это откровение принес в мир Богочеловек Христос, а хриstopлюбивые Его апостолы любви разнесли по всему миру это откровение. По этому откровению любить хриstopодобной любовью значит: уже здесь, на земле, жить вечной жизнью, победить смерть и грех и быть бессмертным. Не любить – значит быть мертвым, пребывать в смерти. «Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев; не любящий брата пребывает в смерти» (1Ин.3:14).

Хриstopлюбивая душа Достоевского насквозь проникнута чувством и убежденностью, что любить – значит быть. Судьба человека от начала и до конца обусловлена любовью. Достоевский уравнивает «я есмь» с «я люблю». Если люблю, то существую, ибо связан с Вездесущим, если не люблю, то и не существую, ибо связан с небытием. Но и это еще не все.

Для славянского апостола любви рай – это любовь, ад – ненависть. Кто любит, тот в раю, уже тут, на земле, кто не любит – уже в аду, ибо ад – это невозможность любить.

«Отцы и учителя, мыслю: что есть ад?» – вопрошает Достоевский устами святого старца Зосимы и отвечает: «Рассуждаю так: страдание о том, что нельзя уже больше любить. Раз, в бесконечном бытии, не измеримом ни временем, ни пространством, дана была некоему духовному существу, появлением его на земле, способность сказать себе: «я есмь и я люблю». Раз, только раз, дано было ему мгновение любви деятельной, живой, а для того дана была земная жизнь, а с нею времена и сроки, и что же: отвергло сие счастливое существо дар бесценный, не оценило его, не возлюбило, взглянуло насмешливо и осталось бесчувственным. Таковой, уже отошедший с земли, видит и лоно Авраамово и беседует с Авраамом, как в притче о богатом и Лазаре нам указано, и рай созерцает, и ко Господу восходить может, но именно тем-то и мучается, что ко Господу взойдет он, не любивший, соприкоснется с любившими, любовью их пренебрегший. Ибо зрит ясно и говорит себе уже сам: «Ныне уже знание имею и хоть возжаждал любить, но уже подвига не будет в любви моей, не будет и жертвы, ибо кончена жизнь земная и не придет Авраам хоть каплею воды живой, то есть вновь даром земной жизни, прежней и деятельной, прохладить пламень жажды любви духовной, которою пламенею теперь, на земле ее пренебрегши; нет уже жизни и времени более не будет! Хоть бы и жизнь свою рад был отдать за других, но уже нельзя, ибо прошла та жизнь, которую возможно было в жертву любви принести, и теперь бездна между той жизнью и сим бытием»³⁵³.

Некий Божественный смысл жизни вливается в любящее сердце, и человек всем своим существом ощущает, что Божественный Логос чудесным образом пронизывает и утверждает миры. Когда любовь вселяется в сердце человека, она становится всевидящим оком его души и непогрешимым наставником в его праведной жизни. «Главное – люби других как себя, – говорит Достоевский, – вот что главное, и это все, больше ровно ничего не надо: тотчас найдешь, как устроиться»³⁵⁴, поймешь, как надо жить. Если бы люди сделали любовь царицей своей души, тогда на земле в один день, в один час все могло бы устроиться самым лучшим образом.

Для Достоевского это самая очевидная истина, истина, которая имеет даже свое определенное лицо, свой лик. Любовь и истина – два синонима, два синонима реальности. Вечная любовь есть в то же время и вечная истина. Эту истину Достоевский не только ощутил и познал, но видел ее,

поэтому и верует в нее страстно и всеусердно. Он решительно заявляет: «Я видел истину, видел своими глазами, видел всю ее славу... Я видел истину, я видел и знаю, что люди могут быть прекрасны и счастливы, не потеряв способности жить на земле. Я не хочу и не могу верить, что зло было нормальным состоянием людей. А ведь они все только над этой верой-то моей и смеются. Но как мне не верить: я видел истину, – не то, что изобрел умом, а видел, и *живой образ*³⁵⁵ ее наполнил душу мою вовеки. Я видел ее в такой восполненной целостности, что не могу поверить, чтоб ее не могло быть у людей... Живой образ того, что я видел, будет всегда со мной и всегда меня поправит и направит. О, я бодр, я свеж, я иду, иду, и хоть бы на тысячу лет... Я пойду и все буду говорить неустанно, я буду проповедовать»³⁵⁶. Что проповедовать? Как из нашей адской планеты сделать рай. Средство для этого только одно – это любовь³⁵⁷, притом любовь хриstopодобная, богочеловеческая.

Есть много видов любви. Все они относительные, преходящие, смертные. Только одна среди них – абсолютная и вечная. Это богочеловеческая любовь. Проверяется эта любовь только Богочеловеком Христом. Различные европейские гуманизмы, альтруизмы, солидарности – не что иное, как ничтожные суррогаты любви. Все они исходят от человека и сводятся к человеку, поэтому и размах их слаб и век их короток. Нет в них той бескрайней и всепрощающей любви, которая любит человека и в грехах его. Тут человек с человеком соприкасается, но не соединяется. По понятиям европейского гуманистического человека, любить – значит: абстрактно и поверхностно соприкоснуться с любимым; по евангельскому, православному разумению, любить – значит: душой войти в душу любимого, соединиться с ним всем своим существом, воплотиться в нем.

Прозорливый Достоевский до конца разглядел трагическую мимолетность и бессмысленность любви европейского типа, поэтому он по-апостольски решительно и пламенно проповедует любовь евангельскую, любовь богочеловеческую. Достоевский говорил, что полюбить кого-нибудь – это значит принять его душу в свою душу, полюбить его самого, его природу, его лик, преобразиться в нем до конца³⁵⁸. Цель любви в том, чтобы двое стали одной, единой сущностью. Богочеловеческая любовь всегда нова тем, что она бессмертна и вечна; она любимого и любящего соединяет до единосущности. Поэтому такая любовь и есть как бы мета, которая отличает христиан от нехристиан (Ин.13:34–35). Универсальное осуществление этой любви и есть последнее желание и последнее завещание Христа³⁵⁹.

То, что делает человеческую жизнь на земле ценной, осмысленной, добродетельной – это христоподобная любовь. Жизнь исполнена смысла, если пронизана этой любовью. Там, где есть такая любовь, нет разочарования. Из всех ценностей самая большая – любовь: не только жизни, но и самому бытию она придает ценность и смысл. «И что дороже любви? Любовь выше бытия, любовь – венец бытия, и как же возможно, чтобы бытие было ей неподклонно?»³⁶⁰

Тяжелая трагедия человеческой жизни только в христоподобной любви обретает свой смысл и свое оправдание. Это любовь своей Божественной силой претворяет трагедию жизни в тихую грусть и спасает человека от скепсиса и отчаяния. Эту любовь Достоевский полностью отождествляет со спасением. Любовь спасает от всех смертей во всех мирах, ибо сама бессмертна и вечна. Достоевский говорит, что Бог дал человеку одну-единственную формулу спасения, она гласит: «Возлюби ближнего твоего как самого себя»³⁶¹.

Если человек чем-либо спасается, то спасается любовью к ближнему, ибо человек не может спастись иначе, как через ближнего³⁶². Или, как сказал бы Достоевский, человек может спастись, если в подвиге любви воплотится в своего ближнего, преобразится в его лик. Но такая любовь невозможна без воплощенного Бога и Его богочеловеческого тела, ибо истинное воплощение начинается и завершается в Нем. Воплощение всего Божьего в сфере человеческой происходит силой, которую человеку дает воплощенный Бог – Христос. Сила эта – любовь. По сути, любовь – единственная причина воплощения Христова (Ин.3:16). И всякое воплощение Божьего в человеческом мире – это видимое отражение невидимой сущности.

Христос «страшен величиим пред нами, ужасен высотой Своею, по милости бесконечной, нам из любви уподобился»³⁶³. В непревзойденном подвиге Своей божественной любви Он стал нашей сущностью³⁶⁴. Из-за любви и любовью Он стал человеком, чтобы мы обожились³⁶⁵. В воплощении Христовом Бог стал Человеком и человек – богом³⁶⁶. Неминуемое следствие воплощения Бога – обожение человека, ибо в Личности Богочеловека Христа Бог и человек соединены так тесно, что обожение человека стало естественным следствием этого.

Свою бесконечную любовь к людям Христос доказывает Своим воплощением. Все, что от Него – воплотимо, все, что от Него, обладает неоскудевающей способностью к воплощению. Став сутью человеческой личности, христоподобная любовь обладает способностью самым тесным образом соединять человека с предметом своей любви, то есть

воплощаться в любимого. Христоносные герои Достоевского соделали эту любовь душой своей души, сердцем своего сердца, волей своей воли. Любить человека для них значит – воплотиться в него, преобразиться в него, стать им: чувствовать его чувствами, думать его мыслями, страдать его страданиями, печалиться его печальми, радоваться его радостями.

Хриstopодобная, деятельная любовь – это «работа и выдержка, а для иных так, пожалуй, целая наука»³⁶⁷. «Любовь – учительница, но нужно уметь ее приобрести, ибо она трудно приобретается, дорого покупается, долгою работою и через долгий срок, ибо не на мгновение лишь случайное надо любить, а на весь срок. А случайно-то и всяк полюбить может, и злодей полюбит»³⁶⁸. Стяжает эту деятельную любовь человек с помощью хриstopлюбивых подвигов веры, молитвы, поста, смирения и других добродетелей до тех пор, пока в его сердце не вселится Христос, пока Он не станет главным путеводителем в жизни во всех мирах.

Святой старец Зосима советует: «Не пугайтесь никогда собственного вашего малодушия в достижении любви, даже дурных при этом поступков ваших не пугайтесь очень... Любовь деятельная, сравнительно с мечтательностью, есть дело жестокое и устрашающее. Любовь мечтательная жаждет подвига скорого, быстро удовлетворимого, и чтобы все на него глядели. Тут действительно доходит до того, что даже и жизнь отдают, только бы не продлилось долго, а поскорей свершилось, как бы на сцене, и чтобы все глядели и хвалили. Любовь же деятельная – это работа и выдержка... Но предрекаю, что в ту даже самую минуту, когда вы будете с ужасом смотреть на то, что, несмотря на все ваши усилия, вы не только не продвинулись к цели, но даже как бы от нее удалились, – в ту самую минуту, предрекаю вам это, вы вдруг и достигнете цели и узрите ясно над собою чудодейственную силу Господа, вас все время любившего и все время вами таинственно руководившего»³⁶⁹.

Для человеческого евклидова ума, не преображенного и не возрожденного Божественной силой в подвигах веры, молитвы, смирения и других евангельских добродетелей, эта хриstopодобная, деятельная любовь к людям представляется невозможным чудом на земле. Бунт Ивана претъкается этой мыслью. Этой мыслью он начинает свое исповедание Алеше: «Я тебе должен сделать одно признание: я никогда не мог понять, как можно любить своих ближних. Именно ближних-то, по-моему, и невозможно любить, а разве лишь дальних. Я читал вот как-то и где-то про «Иоанна Милостивого» (одного святого), что он, когда к нему пришел голодный и обмерзший прохожий и попросил согреть его, лег вместе с ним в постель, обняв его и начал дышать ему в гноящийся и зловонный от

какой-то ужасной болезни рот его. Я убежден, что он это сделал с надрывом, с надрывом лжи, из-за заказанной долгом любви, из-за натащенной на себя епитимии. Чтобы полюбить человека, надо, чтобы тот спрятался, а чуть лишь покажет лицо свое – пропала любовь.

– Об этом не раз говорил старец Зосима, – заметил Алеша, – он тоже говорил, что лицо человека часто многим неопытным в любви людям мешает любить. Но ведь есть и много любви в человечестве и почти подобной Христовой любви, это я сам знаю, Иван...

– Ну, я-то пока еще этого не знаю и понять не могу, и бесчисленное множество людей со мною тоже... По-моему, Христова любовь к людям есть в своем роде невозможное на земле чудо»³⁷⁰.

Иван утверждает, что в этом мире нет ничего, что понуждало бы человека любить себе подобных, и еще он утверждает, что нет такого закона природы, чтобы человек любил человечество³⁷¹. «Любить своего ближнего и не презирать его – невозможно. По-моему, человек создан с физической невозможностью любить своего ближнего». «Любить людей так, как они есть, невозможно»³⁷².

Но то, что невозможно человеку, возможно Богочеловеку, возможно и для людей, возрожденных и преображенных Богочеловеком. То, что невозможно для человеческого евклидова ума, возможно для ума освященного и просвещенного, обоженного Христом Богом. Для того чтобы человек почувствовал и понял, что христианская любовь возможна и осуществима на земле, надо вначале с помощью христоролюбивых подвигов совладать с эгоцентризмом и солипсизмом своего евклидова ума и, устремляя ум ко Христу, стяжать «ум Христов» (1Кор.2:16), сердце Христово. А это значит: надо Христом чувствовать, Христом думать, Христом желать, Христом жить. Тому, кто стяжает, Христос исполняет душу ощущением и убежденностью, что всяческая человеческая личность бессмертна и что богочеловеческая, бессмертная любовь не только возможна, но и естественна среди бессмертных человеческих существ на земле.

«Я объявляю, – говорит Достоевский, – что любовь к человечеству даже совсем невысказана, непонятна и совсем невозможна без совместной веры в бессмертие души человеческой»³⁷³. Те же, которые, отняв у человека веру в его бессмертие, хотят заменить эту веру, в смысле высшей цели жизни, «любовью к человечеству», те, говорю я, поднимают руки на самих себя, ибо вместо любви к человечеству насаждают в сердце потерявшего веру лишь зародыш ненависти к человечеству. Пусть пожмут плечами на такое утверждение мое мудрецы чугуновых идей. Но мысль эта мудренее

их мудрости, и я несомненно верю, что она станет когда-нибудь в человечестве аксиомой... Я даже утверждаю и осмеливаюсь высказать, что любовь к человечеству вообще есть, как идея, одна из самых непостижимых идей для человеческого ума. Именно как идея. Ее может оправдать лишь одно чувство. Но чувство то возможно именно лишь при совместном убеждении в бессмертии души человеческой»³⁷⁴.

Свое личное бессмертие, как и бессмертие всякой человеческой души, человек особенно сильно и ясно чувствует, когда духовно соединится с единственно Бессмертным – с Богочеловеком Христом, ибо Он – любовь, и в каждом человеческом существе любовь открывает богоподобную душу, которая бессмертна и которая коренится в Боге. Все может быть смертно, и только любовь не может, ибо Бог есть любовь, «и я вас из могилки любить буду..., ибо и по смерти – любовь»³⁷⁵.

Любовь, как бессмертная, Божественная сила, изгоняет из человека все, что преходяще и смертно, изгоняет грех и все, что с грехом связано. Своей Божественной силой любовь очищает людей от всякого греха и грязи, – и человеческую совесть, и сердце, и ум, и волю. И уже очищенных любовь соединяет во единое прекрасное, гармоническое и хриstopодобное целое. Тут нет места хаосу, дисгармонии, греху, ибо «ничто так не противно любви, как грех»³⁷⁶. Любовь исключает грех, ибо грех – единственная аномалия человеческой природы. Любовь – это созидание личности, грех – это разоритель личности. Насколько пребывает любовь, настолько же умалется грех. Там, где совершенная любовь, там нет места для греха. Совершенная любовь изгоняет всякий грех, всякую смерть. В совершенной безгрешности – совершенная красота человеческой личности. А поскольку только во Христе – абсолютная безгрешность, абсолютная святость, то только в Нем и абсолютная красота.

«Красота – это идеал, – говорит Достоевский, – а идеалы давно поколеблены у нас и в цивилизованной Европе. В мире существует только одно-единственное явление абсолютной красоты – Христос. Это бесконечно дивное явление, бесконечное чудо. Все Евангелие от Иоанна исполнено этой мыслью. Иоанн зрит чудо воплощения, явленную красоту»³⁷⁷.

«Красота спасет мир»³⁷⁸, – говорит любимый герой Достоевского князь Мышкин, но именно красота чарующей Личности Христовой, Которая открывается и познается любовью. Христос – не только абсолютная красота Сам в Себе, но и в Своем отношении ко всему тварному. Он – Украситель всего тварного: от Херувима до червя³⁷⁹. В Нем всякое существо находит свою боголикую и богоданную красоту, не

омраченную и не искаженную грехом. В Нем каждый человек ощущает и понимает, что Бог его создал бессмертным и вечным, что человек – подобие Божие (Прем.2:23).

С помощью христолюбивых подвигов человек стяжает христоликую красоту. Спаситься – это значит не только исполниться добром, истиной и любовью Христовыми, но и украсить себя Его Божественной красотой. Этого в наибольшей степени достигли святители, поэтому они, по словам Достоевского, – «положительные характеры невообразимой красоты и силы»³⁸⁰. Они – носители и стражи красоты, которая спасет мир. Они «образ Христов хранят благолепно и неискаженно, в чистоте правды Божьей, от древнейших отцов, апостолов, мучеников, и когда надо будет, явят его поколебавшейся правде мира»³⁸¹. Весь их облик необыкновенно и благо излучает неизреченную красоту их душ, христоносных и христоликих.

Земной реальностью Своего богочеловеческого совершенства Христос стал и вовек остался незаменимым идеалом для человека. Стать хриstopодобной – цель для каждой человеческой личности. Истинно совершенная человеческая личность созидает себя в христолюбивых подвигах: веры, любви, молитвы, смирения, милосердия и в других евангельских добродетелях. Каждая евангельская добродетель – от Лица Христова, она постепенно созидает душу человеческую до тех пор, пока она наконец не станет вся подобной Христу. Эти христоносные личности Достоевский показал неподражаемо реалистическим образом в лицах Зосимы и Алеши, Макара и Мышкина. Все они излучают христоликую красоту и полны евангельских добродетелей. В письме, в котором Достоевский пишет о Христе как об абсолютной красоте и идеале, он говорит, что главная идея его романа «Идиот» – описать истинно совершенного и благородного человека³⁸². И это блестяще ему удалось как никому ни до, ни после него. Все его христоликие герои наилучшим образом показывают и доказывают истину: Христос есть любовь; любовь есть красота; красота спасает мир от смерти, очищает от всех грехов, от всех пороков.

Ср.: Рим.13:8–10: «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви; ибо любящий другого исполнил закон. Ибо заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого и все другие заключаются в сем слове: люби ближнего твоего, как самого себя».

Наивысшая полнота жизни

Душа европейского человека раздроблена на части, мелкие, как атомы, и современный мир, созерцаемый в этой душе, представляется хаотичной, дробящейся, одичавшей стихией, которая никак не может вылиться в благозвучную симфонию любви. Душа христоносного человека соборна, целостна, ибо через богочеловеческие добродетели исцелилась от трагической раздробленности, и если смотреть на современный мир через призму такой души, мир видится монадой, которая устремлена к своей блаженной полноте, к чудесному Господу Иисусу. К наивысшей полноте жизни приходят через наивысшую полноту личности, ибо проблема жизни решается одновременно в проблеме личности.

Достоевский, более чем кто-либо, знает о безмерной ценности человеческой личности, поэтому на примерах своих отрицательных и положительных героев неутомимо ищет отгадку загадочности человеческой личности. На своих антигероях он опробовал все пути человекобога, но не смог решить «проклятой проблемы» личности. На своих положительных героях он опробовал евангельский путь и пришел к заключению, что Богочеловек Христос – единственное решение «проклятой проблемы» человеческой личности. Дорога, ведущая к разрешению проблемы личности – это личное подвижание в евангельских добродетелях, в личном подвижничестве.

Свое, как у Иова искреннее и как у Соломона мучительное, бдение над страшной проблемой человеческой личности Достоевский в полноте и открыто изложил в «Братьях Карамазовых», в шестой книге, которая называется «Русский монах». Старец Зосима – воплощение христолюбивых устремлений самого Достоевского. В нем (в старце Зосиме) отражается красота и сила души Достоевского. В благом и мудром православном подвижничестве Достоевский обрел мир своему беспокойному уму и мятежной душе своей, поэтому он и проповедует его по-апостольски сильно и неустрашимо. Разумеется, ему хорошо известно, что путь богочеловеческого подвижничества подвергается умалению и осмеянию многими, теми, которые проблему личности и жизни решают различными гуманистическими методами и способами человекобога. Но это его несколько не смущает и не страшит. Ибо Достоевский по собственному опыту, а также по опыту святых подвижников знает, что проблему личности можно решить в полноте и окончательно только на путях евангельского богочеловеческого, православного подвижничества.

«Отцы и учителя, – обращается старец Зосима к своим собратиям, – что есть инок? В просвещенном мире слово сие произносится в наши дни у иных уже с насмешкой, а у некоторых и как бранное. И чем дальше, тем больше. Правда, ох, правда, много в монашестве тунеядцев, плотоугодников, сластолюбцев и наглых бродяг. На сие указывают образованные светские люди: «Вы, дескать, лентяи и бесполезные члены общества, живете чужим трудом, бесстыдные нищие». А между тем, сколь много в монашестве смиренных и кротких, жаждущих уединения и пламенной в тишине молитвы. На сих меньше указывают и даже обходят молчанием вовсе, и сколь подивились бы, если скажу, что от сих кротких и жаждущих уединенной молитвы выйдет, может быть, еще раз спасение земли Русской! Ибо воистину приготовлены в тишине «на день и час, месяц и год». Образ Христов хранят пока в уединении своем благолепно и неискаженно, в чистоте правды Божьей, от древнейших отцов, апостолов и мучеников, и когда надо будет, явят его поколебавшейся правде мира. Сия мысль велика. От востока звезда сия воссияет»³⁸³.

Подвижники Христа ради постоянно усердствуют над преобразованием своих душ, стремятся созидать себя по образу Христову, ибо денно-нощно живут по Евангелию Богочеловеком. Светские же люди идут противоположным путем, который порочит и извращает богоподобную человеческую душу. «Посмотрите у мирских, не искажился ли в них лик Божий и правда Его? У них наука, а в науке лишь то, что подвержено чувствам. Мир же духовный, высшая половина существа человеческого, отвергнута вовсе, изгнана с неким торжеством, даже с ненавистью»³⁸⁴.

По мнению Достоевского, наука не знает человека, не знает пределов человеческой личности, а поэтому не в состоянии не только решить проблему личности, но и определить, что же такое личность³⁸⁵. «Помни, что мирская наука, соединившись в великую силу, разобрала, в последний век особенно, все, что завещано в книгах святых нам небесного, и после жестокого анализа у ученых мира сего не осталось из всей прежней святыни решительно ничего. Но разобрали они по частям, а целое просмотрели, и даже удивления достойно, до какой слепоты, тогда как целое стоит пред их же глазами незыблемо, как и прежде, и врата адовы не одолевают его. Разве не жило оно девятнадцать веков, разве не живет и теперь в движениях единичных душ и в движениях народных масс? Даже в движениях душ тех же самых, все разрушивших атеистов живет оно, как прежде, незыблемо! Ибо и отрекшиеся от христианства и бунтующие против него в существе своем сами того же самого Христова облика суть, таковыми же и остались, ибо до сих пор ни мудрость их, ни жар сердца их

не в силах были создать иного высшего образа человеку и достоинству его, как образ, указанный древле Христом»³⁸⁶.

Проблема свободы человека, которая никак не может решиться никакими усилиями человеческого ума, получает свое разрешение в богочеловеческих устремлениях души посредством богочеловеческих добродетелей: веры, молитвы, смирения, любви, поста, милосердия, сострадания. Человек чувствует и осознает, что совершенная свобода – это освобождение от самого себя: от своего эгоизма, от своей порабощенности страстям и чрезмерным потребностям, и добровольное подчинение Богочеловеку, Его истине, правде, любви, бессмертию, вечности и другим совершенствам. «Провозгласил мир свободу, в последнее время особенно, и что же видим в этой свободе ихней: одно лишь рабство и самоубийство! Ибо мир говорит: «Имеешь потребности, а потому и насыщай их, ибо имеешь права такие же, как у знатнейших и богатейших людей. Не бойся насыщать их, но даже приумножай», – вот нынешнее учение мира. В этом и видят свободу... Понимая свободу как приумноженное и скорое утоление потребностей, искажают природу свою, ибо зарождают в себе много бессмысленных и глупых желаний, привычек и нелепейших выдумок... И не диво, что вместо свободы впали в рабство»³⁸⁷.

Такому пониманию свободы противостоит богочеловеческое понимание, которое проблему свободы решает не в человеке, но Богочеловеком. Притом решает самым реалистическим и практическим путем: человек живет Богом, сотрудничает с Богом и воспринимает свою свободу как дар Божий, дар, данный человеку для добровольного участия в Божественных совершенствах. Человеческая свобода в этом контексте воспринимается и переживается человеком как богочеловеческий подвиг. Именно на этом и зиждется православное подвижничество. Каждый христианин должен быть подвижником, а монах в особенности. «Светские люди, – говорит старец Зосима, – над послушанием, постом и молитвой даже смеются, а между тем лишь в них заключается путь к настоящей, истинной уже свободе: отсекаю от себя потребности лишние и ненужные, самолюбивую и гордую волю мою смиряю и бичую послушанием и достигаю тем, с помощью Божьей, свободы духа, а с нею и веселия духовного»³⁸⁸. «В нынешнем образе мира, – говорит Достоевский, – полагают свободу в разнузданности, тогда как настоящая свобода – лишь в одолении себя и воли своей, так чтобы под конец достигнуть такого нравственного состояния, чтоб всегда, во всякий момент, быть самому себе настоящим хозяином. А разнузданность желаний ведет лишь к рабству вашему. Вот почему чуть-чуть не весь нынешний мир полагает свободу в

денежном обеспечении и в законах, гарантирующих денежное обеспечение. Есть деньги, стало быть, могу делать все что угодно; есть деньги – стало быть, не погибну и не пойду просить помощи, а не просить ни у кого помощи есть высшая свобода. А между тем это, в сущности, не свобода, а опять-таки рабство, рабство от денег. Напротив, самая высшая свобода – не копить и не обеспечивать себя деньгами, а разделить всем, что имеешь, и пойти всем служить. Если способен на то человек, если способен одолеть себя до такой степени – то он ли после этого не свободен? Это уже высочайшее проявление воли!»³⁸⁹

С помощью евангельских подвигов: поста, молитвы, послушания, монах освобождается от тирании вещей и привычек³⁹⁰ и тем самым устраняет всякую преграду между собой и Христом. Поэтому благой и кроткий Макарий так объясняет «пустыню»: «Сначала жалко себя, конечно (то есть когда поселишься в пустыне), – ну, а потом каждый день все больше радуешься, а потом уже и Бога узришь»³⁹¹.

В последний год своей жизни Достоевский пишет: «Не от омерзения удалились святые от мира, а для нравственного совершенствования»³⁹². В пустынном уединении человек в молитве собирает свой дух, который постоянно рассеян в заботах мира сего. В постоянных христоролюбивых подвигах очищается и ум, и сердце, и воля от всего грешного, от всего того, что устремляет человека ко греху. Таким образом постепенно исцеляется личность человека от общемирского недуга разделенности, разобщенности. Духовно воссоединяясь со Христом, он обретает в полноте своей внутренний мир; в нем более воля не восстает против разума, разум против сердца, но вся его жизнь течет в гармоническом русле богочеловеческих добродетелей, которые, умножаясь, ведут человека к совершенству. И когда человек окончательно воссоединяется со Христом, когда его жизнь будет «сокрыта со Христом в Боге» (Кол.3:3), тогда он достигает полной свободы и целостности личности, и тогда совершенный мир устранил разлад между сердцем и разумом, между разумом и волей; это и есть «мир Божий, который превыше всякого ума» (Флп.4:7).

Старец Зосима говорит, что монаха часто корят его уединением: «Уединился ты, – говорят ему, – чтоб себя спасти в монастырских стенах, а братское служение человечеству забыл». Но посмотрим еще, кто более братолюбиво поусердствует? Ибо уединение не у нас, а у них, но не видят сего. А от нас и издревле деятели народные выходили, отчего же не может их быть и теперь? Те же смиренные и кроткие постники и молчальники восстанут и пойдут на великое дело. От народа спасение Руси. Русский же монастырь искони был с народом. Если же народ в уединении, то и мы в

уединении».³⁹³

Удаление от мира христоролюбивого инока происходит не от ненависти к миру, но из-за любви ко Христу, для того чтобы в уединении беспрепятственно и постоянно быть со Христом. А тот, кто со Христом, разве он один? Быть может, он со всеми? Разве не переживает он как свое личное боли всех болящих, печали всех тоскующих, беды бедствующих и радости радующихся? И когда он со Христом, не усугубляет ли он труды ради жизни вечной и бессмертной? Разве не ревнует он обо всех существах, Христом созданных? Разве не соучаствует он таинственным образом в жизни всех существ и всей твари? Ибо быть со Христом Богочеловеком – значит быть с Трисолнечным Божеством, Которое все оживотворяет, все преисполняет Собою, все приводит в движение и дает бытие.

Когда человек оставляет мир Христа ради, он потом вновь принимает его из рук Христовых, но принимает его уже благолепным, очищенным, освященным Логосом. Это чувствует всем своим существом благой и кроткий Макарий, и как бы глядя на мир такими очами, он тихо благовествует: «Христос говорит: пойдти и раздавай твое богатство и стань всем слуга. И станешь богат паче прежнего в бесчисленно раз; ибо не пищею только, не платьями ценными, не гордостью и не завистью счастлив будешь, а умножившеюся бесчисленно любовью. Уже не малое богатство, не сто тысяч, не миллион, а целый мир приобретешь! Ныне без сытости собираем и с безумием расточаем, а тогда не будет ни сирот, ни нищих, ибо все мои, все родные, всех приобрел, всех до единого купил! Ныне не в редкость, что и самый богатый и знатный к числу дней своих равнодушен и сам уже не знает, какую забаву выдумать; тогда же дни и часы твои умножатся как бы в тысячу раз, ибо ни единой минутки потерять не захочешь, а каждую в веселии сердца ощутишь. Тогда и премудрость приобретешь не из-за единых книг токмо, а будешь с Самим Богом лицом к лицу, и воссияет земля паче солнца, и не будет ни печали, ни воздыхания, а лишь единый бесценный рай»³⁹⁴.

Таков богочеловеческий, православный путь к наивысшей полноте жизни. Вне его – только провалы и пропасти, в которых обламывается, дробится и пропадает человеческая мысль и человеческие чувства. В сущности, для человеческого существа есть только два пути в этом мире. Один – богочеловеческий, другой путь – путь человекобога. На богочеловеческом пути человек отрекается от себя самого и всего земнородного, удаляется Христа ради и воссоединяется с Ним, чтобы через единение с Ним приобщиться всем людям и всей твари. На путях

человекобога, на путях гуманистических, светских человек уединяется эгоистично, себя ради, живет, затворившись душой от людей, постепенно задыхаясь от себя самого, и так до тех пор, пока окончательно не задохнется от собственного самолюбия и гордости. В итоге: в первом случае – мир и духовная радость, во втором – неутоленность духа и духовное самоубийство.

В свете часто происходят ужасные трагедии: вещи поглощают людей, порабощают их, становятся их господами. Это – тирания самого плохого рода или идолопоклонство самого отвратительного типа. «Провозгласил мир свободу, в последнее время особенно, и что же видим в этой свободе ихней: одно лишь рабство и самоубийство! Ибо мир говорит: «Имеешь потребности, а потому и насыщай их, ибо имеешь права такие же, как у знатнейших и богатейших людей. Не бойся насыщать их, но даже приумножай», вот нынешнее учение мира. В этом и видят свободу. И что же выходит из сего права на преумножение потребностей? У богатых *уединение*³⁹⁵ и духовное самоубийство, а у бедных – зависть и убийство, ибо права-то дали, а средств насытить потребности еще не указали. Уверяют, что мир чем далее, тем более единится, слагается в братское общение тем, что сокращает расстояние, передает по воздуху мысли. Увы, не верьте такому единению людей... Понимая свободу как преумножение и скорое утоление потребностей, искажают природу свою, ибо зарождают в себе много бессмысленных и глупых желаний, привычек и нелепейших выдумок. Живут лишь для зависти друг к другу, для плотоугодия и чванства. Иметь обеды, выезды, экипажи, чины и рабов-прислужников считается уже такую необходимостью, для которой жертвуют далее жизнью, честью и человеколюбием, чтобы утолить эту необходимость, и даже убивают себя, если не могут утолить ее. У тех, которые не богаты, то же самое видим, а у бедных неутоление потребностей и зависть пока заглушаются пьянством. Но вскоре вместо вина упьются и кровью, к тому их ведут. Спрашиваю у вас: свободен ли такой человек? Я знал одного «борца за идею», который сам рассказывал мне, что когда лишили его в тюрьме табаку, то он до того был измучен лишением сим, что чуть не пошел и не предал свою «идею», чтобы только дали ему табаку. А ведь этакий говорит: «за человечество бороться иду». Ну куда такой пойдет и на что способен? На скорый поступок разве, а долго не вытерпит. И не дивно, что вместо свободы впали в рабство, а вместо служения братолюбию и человеческому единению впали, напротив, в *отъединение*³⁹⁶ и уединение. А потому в мире все более и более угасает мысль о служении человечеству, о братстве и целостности людей, и

воистину встречается мысль сия уже с насмешкой, ибо как отстать от привычек своих, куда пойдет сей невольник, если столь привык утолять бесчисленные потребности свои, которые сам же навывдумывал? В уединении он, и какое ему дело до целого. И достигли того, что вещей накопили больше, а радости стало меньше»³⁹⁷.

В наше время, говорит Достоевский, происходит возрастание человеческой разобщенности и уединения, «ибо всякий теперь стремится отделить свое лицо наиболее, хочет испытать в себе самом полноту жизни, а между тем выходит из всех его усилий вместо полноты жизни лишь полное самоубийство, ибо вместо полноты определения существа своего впадают в совершенное уединение. Ибо все-то в наш век разделились на единицы, всякий уединяется в свою нору, всякий от другого отдаляется, прячется и что имеет, прячет и кончает тем, что сам от людей отталкивается и сам людей от себя отталкивает. Копит уединенно богатство и думает: сколь силен я теперь и сколь обеспечен, а и не знает, безумный, что чем более копит, тем более погружается в самоубийственное бессилие. Ибо привык надеяться на себя одного и от целого отделился единицей, приучил свою душу не верить в людскую помощь, в людей и в человечество, а только трепещет того, что пропадут его деньги и приобретенные им права его. Повсеместно нынче ум человеческий начинает насмешливо не понимать, что истинное обеспечение лица состоит не в личном уединении его усилий, а в людской общей целостности. Но непременно будет так, что придет срок и сему страшному уединению, и поймут все разом, как неестественно отделились один от другого. Таково уже будет веяние времени, и удивятся тому, что так долго сидели во тьме, а света не видели. Тогда и явится знамение Сына Человеческого на небеси... Но до тех пор надо все-таки знамя беречь, и нет-нет, а хоть единично должен человек вдруг пример показать и вывести душу из уединения на подвиг братолюбивого общения, хотя бы даже и в чине юродивого. Это чтобы не умирала великая мысль»³⁹⁸

Единение людей невозможно без силы объединяющей. Такой объединяющей силой, которой ничто не может противостоять, является чувство братства. Единение людей невозможно без связующего их Отца. По словам князя Мышкина, вся суть христианства содержится в идее, что Бог – наш Отец, а люди – Его родные дети³⁹⁹. «Лишь в человеческом духовном достоинстве равенство... Были бы братья, будет и братство, а раньше братства никогда не разделялись»⁴⁰⁰.

Духовное же достоинство человека состоит в богоподобности его души, в святости и неприкосновенности его личности. Каждый человек

имеет богоподобную душу, поэтому каждый представляет Божественную ценность. Отыскать ее в человеке – значит найти истоки всех его добродетелей и силы духа его. Но отыскать в человеке богоподобную душу может лишь тот, кто пресветлый Лик Христа имеет своим путеводителем чрез мрачные бездны человеческой природы. Лик Христов целеустремленно ведет Достоевского через все бездны и мистерии человеческой природы, поэтому он во всяком человеке находит богоподобную сущность души, отделяет ее от греха, любит человека и во грехе его; ненавидя грех, он не ненавидит грешника, но любит и жалеет его.

В этом состоит тайна знаменитого реализма Достоевского. Ведомый светом Христовым, он не плутает в потемках, но высветляет и открывает в человеке то, что в нем бессмертно и вечно, то, что истинно и реально. А это – богоподобная душа со всеми ее взлетами и падениями. Не будет никакой похвалой для Достоевского сказать, что он великий психолог в европейском смысле этого слова. Но если он и психолог, то и в евангельском, православном значении этого слова. Таковыми были психологи, православные святители: Макарий Великий, Исаак Сирий, Симеон Новый Богослов и другие. Достоевский – реалист, к тому же православный реалист. А это значит, что он – писатель, который чувствует человека, понимает и видит его во всей богочеловеческой цельности его. О своем реализме Достоевский говорит: «При полном реализме найти в человеке человека. Это русская черта по преимуществу, и в этом смысле я, конечно, народен, ибо направление мое истекает из глубины христианского духа народного... Меня зовут психологом: неправда, я лишь реалист в высшем смысле, т.е. изображаю все глубины души человеческой»⁴⁰¹.

Этот реализм, в высшем смысле слова, свойственен хриstopодобным героям Достоевского. В самом плохом человеке они находят что-то доброе, в самом грешнике видят что-то безгрешное. Они любят человека и во грехе его, ибо «сие уже подобие Божеской любви и есть верх любви на земле»⁴⁰². Любя грешника, они не любят его грех. Воистину – это единственный знак Божественной, хриstopносной любви. Сам Господь Христос никогда не отождествлял грешника со грехом. Лучший пример тому – Его отношение к блуднице. Злостные ревнители закона, отождествляя грешника со грехом, схватив блудницу, привели ее к Иисусу, чтобы Он изрек Свой суд над ней. Но Он не осудил ее, но осудил грех ее. «Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши» (Ин.8, 3–11). Как «Свет истинный, Который просвещает всякого человека» (Ин.1:9), Богочеловек

Христос освещает все бездонные глубины человеческого существа и выявляет, что в них истинно, а что нет, что в них богоподобно, а что уродливо, что есть в них доброго, а что есть злого. И все это Он отделяет одно от другого.

Для совести человека и для человечества тайна добра и зла – одна из самых запутанных и самых страшных загадок. Человек, будучи всего лишь человеком, в своей эмпирической данности не располагает абсолютным мерилom добра и зла, греховности и безгрешности. «Трудно человеку знать про всякий грех, что грешно, а что нет: тайна тут, превосходящая ум человеческий»⁴⁰³. Да, человеческий ум не в состоянии самостоятельно решить проблему добра и зла. Достоевский это как никто другой прекрасно показал на примерах своих антигероев. Для них человеческий разум – верховное мерило добра и зла, поэтому они отождествляют человека со злом, грешника с грехом, поэтому и убивают грешника из-за греха. И именно этим они убедительно подтверждают правильность евангельской, православной истины: человеческий разум не может быть высшим мерилom добра и зла, рационалистическое определение добра и зла не имеет права на существование, и тайна добра и зла – неразрешимая категория для человеческого ума.

С другой стороны, Достоевский с помощью своих христоликих героев показал самым убедительным образом, что Лик Христов – единственное непогрешимое мерило добра и зла. В мирах, в которых вращается человеческая мысль, добро и зло так велики и так загадочны, что никакой человеческий разум не в состоянии ни охватить, ни определить их масштабность. Поэтому всемилостивый Господь оставил людям Свой чудесный Лик, чтобы Он был путеводителем в ужасной путанице смешения добра и зла в этом мире. «Вместо твердого древнего закона – свободным сердцем должен был человек решать впредь сам, что добро и что зло, имея лишь в руководстве Твой образ пред собою»⁴⁰⁴.

Чтобы человек в своих ощущениях, мыслях, желаниях и делах мог различать, что в них есть добро, а что есть зло, он должен беспрестанно вглядываться в Лик Христов и спрашивать себя: как отзывается благой Лик Спасителя на мою мысль, на мое чувство, на мои дела, на мое желание? Но и это еще не все. Для того чтобы человек смог точно и безошибочно отличать добро от зла, он должен жить Христом и во Христе, Им соизмерять все и вся в мире. Все свои убеждения он должен проверять Им, ибо для убеждений существует одна проверка – Христос⁴⁰⁵. «Если не имеем авторитета в вере и во Христе, то во всем заблудимся»⁴⁰⁶.

Только тогда, когда человек пребывает в подвиге

самосовершенствования по Лику Христову, когда всю свою душу он обновит во Христе, когда все свои чувства соделает Христовыми, когда очами Христа будет созерцать тайну жизни, только тогда он способен безошибочно различать добро и зло. Это – удел совершенных. Все их чувства, духовные и физические, долгим «навыком приучены к различению добра и зла» (Евр.5:14). Такие люди неустанно пребывают в духовном бдении над всеми движениями своей души с полным смирением так, как тому учит святой старец Зосима: «На всякий день и час, на всякую минуту ходи около себя и смотри за собой, чтоб образ твой был благолепен. Вот ты прошел мимо малого ребенка, прошел злобный, со скверным словом, с гневливою душой; ты и не заметил, может, ребенка-то, а он видел тебя, и образ твой, неприглядный и нечестивый, может, в его беззащитном сердечке остался. Ты и не знал сего, а может быть, ты уже тем в него семя бросил дурное, и возрастет оно, а все потому, что ты не уберёгся перед дитятей, потому что любви осмотрительной, деятельной не воспитал в себе»⁴⁰⁷.

Облекшийся во Христа никогда не расслабляется, никогда не отчаивается, никогда не разочаровывается, ибо свое неоскудевающее жизнелюбие черпает во Христе – Боге любви; он постоянно исполнен Божественной любовью, которая никогда не престаёт ни в этом, ни в том мире. Эта любовь, умудренная Божественной мудростью, становится средством, с помощью которого христоносная личность решает самые запутанные человеческие проблемы. «Пред иною мыслью станешь в недоумении, особенно видя грех людей, и спросишь себя: взять ли силой али смиренною любовью? Всегда решай: возьму смиренною любовью. Решишься так раз навсегда, и весь мир покорить сможешь. Смирение любовное – страшная сила, из всех сильнейшая, подобно которой и нет ничего»⁴⁰⁸.

Нет такой силы, которая смогла бы уничтожить жизнестойкость христоносного человека, нет такого страха, который смог бы изгнать Христа из его души. Он дышит и источает непобедимую силу богочеловеческой души, смело и неустрашимо живет Христом и проповедует Христа, ибо «в любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх» (1Ин.4:18), всякий страх, изгоняет и страх от человеческого греха. Потому «будьте веселы, как дети, как птички небесные, – советует старец Зосима. – И да не смущает вас грех людей в вашем делании, не бойтесь, что затрет он дело ваше и не даст ему свершиться, не говорите: «силен грех, сильно нечестие, сильна среда скверная, и мы одиноки и бессильны, затрет нас скверная среда и не даст

свершиться благому деланию». Бегите, дети, сего уныния! Одно тут спасение себе: возьми себя и сделай себя же ответчиком за весь грех людской. Друг, да ведь это и вправду так, ибо чуть только сделаешь себя за все и за всех ответчиком искренно, то тотчас же увидишь, что так и есть в самом деле и что ты-то и есть за всех и за вся виноват. А скидывая свою же лень и свое бессилие на людей, кончишь тем, что гордости сатанинской приобщишься и на Бога возропщешь»⁴⁰⁹.

Человек, одухотворенный и приобщенный силой богочеловеческой любви, которая усугубляет ощущение личной всегреховности и всеответственности, находится в постоянном внутреннем делании, таком, о котором говорит старец Зосима: «Делай неустанно. Если вспомнишь в нощи, отходя ко сну: я не исполнил, что надо было, то немедленно встань и исполни. Если кругом тебя люди злобные и бесчувственные и не захотят тебя слушать, то пади пред ними и у них прощения проси, ибо воистину и ты в том виноват, что не хотят тебя слушать. А если уже не можешь говорить с озлобленными, то служи им молча и в унижении, никогда не теряя надежды⁴¹⁰. Если же все оставят тебя и уже изгонят тебя силой, то, оставшись один, пади на землю и целуй ее, омочи ее слезами своими, и даст от слез твоих земля, хотя бы и не видел и не слышал тебя никто в уединении твоём. Верь до конца, хотя бы даже и случилось так, что все бы на земле совратилось, а ты лишь единый верен остался; если вас таких двое найдутся, – то вот уже и весь мир, мир живой любви, обнимите друг друга в умилении и восхвалите Господа: ибо хотя бы и в вас двоих, но восполнится правда Его»⁴¹¹.

Христов человек, преисполненный богочеловеческой любовью, живет в душах всех людей, сострадает всем страждущим, участвует во всем человеческом, и ничто человеческое ему не чуждо. Если же он потеряет эту любовь, то потеряет и силу, которая соединяла его со всеми людьми, тогда он погружается в одиночество и усыхает в этой отделенности от людей. Поэтому потеря равносильна потере души, равносильна самоубийству; эта потеря превращает человеческую жизнь в ад. «Если же злодейство людей возмутит тебя негодованием и скорбью уже необоримую, даже до желания отмщения злодеям, то более всего страшись сего чувства; тотчас же иди и ищи себе мук так, как бы сам был виновен в сем злодействе людей. Приими сии муки и вытерпи, и утолитя сердце твое, и поймешь, что и сам виновен, ибо мог светить злодеям, даже как единый безгрешный и не светил. Если бы светил, то светом своим озарил бы и другим путь, и тот, который совершил злодейство, может быть, не совершил бы его при свете твоём. Но даже если ты и светил, но увидишь,

что не спасаются люди даже при свете твоём, то пребудь тверд и не усомнись в силе света небесного: верь тому, что если теперь не спаслись, то потом спасутся. А не спасутся и потом, то сыны их спасутся, ибо не умрет свет твой, хотя бы и ты уже умер. Праведник отходит, а свет его остается. Спасаются же и всегда по смерти спасающего. Не принимает род людской пророков своих и избивает их, но любят люди мучеников своих и чтят тех, коих замучили. Ты же для целого работаешь, для грядущего делаешь. Награды же никогда не ищи, ибо и без того уже велика тебе награда на сей земле: духовная радость твоя, которую лишь праведный обретает. Не бойся ни знатных, ни сильных, но будь премудр и всегда благолепен. Знай меру, знай сроки, научись сему. В уединении же оставаясь, молись»⁴¹².

Тот, кто преисполнился Божественной любовью, тот всегда пребывает в молитвенном расположении духа, молится о всех людях. Без сомнения, любовь возрастает в молитве, а молитва возрастает в любви. Если существует такая сила, которая делает любовь бесконечной и бессмертной, то эта сила – молитва. Любовь всегда в молитве, молитва всегда в любви. Тот, кто любит искренно, тот молится истинно, тот любовью молится за всех и вся. Молитва – это душа любви, любовь – это тело молитвы. «На каждый день, и когда лишь можешь, – советует великий молитвенник старец Зосима, – тверди про себя: Господи, помилуй всех днесь пред Тобою представших. Ибо в каждый час и каждое мгновение тысячи людей покидают жизнь свою на сей земле, и души их становятся пред Господом, – сколь многие из них расстались с землею отъединенно, никому не ведомо, в грусти и тоске, что никто-то не пожалеет о них вовсе: жили ли они или нет. И вот, может быть, с другого конца земли вознесется ко Господу за упокой его и твоя молитва, хотя бы ты и не знал его вовсе, а он тебя. Сколь умиленно душе его, ставшей в страхе пред Господом, почувствовать в тот миг, что есть и за него молельщик, что осталось на земле человеческое существо и его любящее. Да и Бог милостивее воззрит на обоих вас, ибо если уже ты столь пожалел его, то кольми паче пожалеет Он, бесконечно более милосердный и любезный, чем Ты. И простит его тебя ради»⁴¹³.

Святой философ Иоанн Златоуст говорит, что мера любви – неисчерпаема⁴¹⁴. Но мера молитвы – в мере любви. Границы любви и молитвы полностью тождественны; их граница – безграничность. «Горе самим истребившим себя на земле, горе самоубийцам, – с печалью говорит жалостливый старец Зосима. – Мыслью, что уже несчастнее сих и не может быть никого. Грех, рекут нам, о сих Бога молить, и Церковь наружно их

как бы и отвергает, но мыслю в тайне души моей, что можно бы и за сих помолиться. За любовь не осердится ведь Христос. О таковых я внутренно во всю жизнь молился, да и ныне на всяк день молюсь»⁴¹⁵.

Через молитву любовь разрастается до Божественной бескрайности, точно так же и молитва благодаря любви простирается до Божественной бесконечности. Размягченное молитвенной любовью человеческое сердце вещает благо и кротко: «Не гордитесь пред малым, не гордитесь и пред великим. Не ненавидьте и отвергающих вас, позорящих вас, поносящих вас и на вас клеветующих. Не ненавидьте атеистов, злоучителей, материалистов, даже злых из них, не токмо добрых, ибо и из них много добрых, наипаче в наше время. Поминайте их в молитве тако: спаси всех, Господи, за кого некому помолиться, спаси и тех, кто не хочет Тебе молиться. И прибавьте тут же: не по гордости моей молю о сем, Господи, ибо и сам мерзок есмь паче всех и вся...»⁴¹⁶

Херувим Алеша Карамазов – дивное воплощение учения о любви старца Зосимы. Он весь соткан из Божественной любви и христоролюбивой молитвенности. Пресветлый Лик Богочеловека Христа ведет его сквозь дикие, хаотические бури, ведет его любовью и молитвой. Его сердце преисполнено любовью ко всем, в особенности к несчастным и обремененным. Ощущая муки и страдания этих мятежных и несчастных душ, он нежно и трогательно молится Богу: «Господи, помилуй всех давешних, сохрани их, несчастных и бурных, и направь. У Тебя пути: ими же веси путями спаси их; Ты любовь, Ты всем пошлешь и радость»⁴¹⁷.

Когда христоносная личность обратит свою душу к твари, она вся растворяется в милующем сострадании и молитве. Она печалится и вздыхает вздыханием раненой твари, которую человек сделал больной и несчастной до слез. Такая личность живет и болезненно ощущает свою человеческую ответственность пред оскорбленной и униженной тварью. И стыдится пред Богом за всех людей, истязующих и мучающих каждую тварь, не через себя, но через Христа: видит ее Его оком, чувствует Его сердцем, мерит Его мерой. И так под коркой греха она открывает безгрешную сущность твари.

Христоносная личность, водимая Христом чрез тайны миров, видит Логос и логику вселенной и всякую тварь принимает, как из рук Творца. И увидев себя в зеркале души твари, она способна представить больную тварь в своей логосной безгрешности и красоте. Христоносной душе открывается последняя тайна твари, ибо она любит тварь. А тот, кто любит, всегда открывает свою тайну тому, кого любит. Христоносная личность смотрит на природу не как на дикое чудовище, которое надо

немилосердно укрощать, но как на больного, за которым надо ухаживать и целить любовью. Для такой личности природа представляется не бездушной материей, которую можно грубо расточать и безболезненно использовать, но представляется дивной Божьей тайной, которую нужно молитвенно любить и с любовью изучать. Кротко и благо, нежно и с любовью приближается она ко всякой твари и в каждой ощущает ее таинственность. «Любите все создание Божие, и целое и каждую песчинку. Каждый листик, каждый луч Божий любите. Любите животных, любите растения, любите всякую вещь. Будешь любить всякую вещь и тайну Божию постигнешь в вещах. Постигнешь однажды и уже неустанно начнешь ее познавать все далее и более, на всяк день. И полюбишь наконец весь мир уже всецело, всемирною любовью»⁴¹⁸.

Прозорливым оком своей молитвенной любви христоносная личность видит непреходящую ценность всякой Божьей твари и отводит подобающее ей место в логосной гармонии мира. Воистину «всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если... освящается словом Божиим и молитвою» (1Тим.4 4–5). «Для чистых все чисто; а для оскверненных... нет ничего чистого, но осквернены и ум их и совесть» (Тит.1:15). Для неверующего ума Ивана все дико, проклято, все – дьявольский хаос; для Зосимы, для ума его, облагороженного Христом, так же как и для других христоносных личностей Достоевского, все – сладостная тайна Божия, только омраченная грехом; надо отклонить грех, и все станет вновь чудным и величественным.

«Истинно все хорошо и великолепно, потому что все истина, – говорит святой старец Зосима. – Посмотри на коня, животное великое, близ человека стоящее, али на вола, его питающего и работающего ему, понурого и задумчивого, посмотри на лики их: какая кротость, какая привязанность к человеку, часто бьющему его безжалостно, какая незлобивость, какая доверчивость и какая красота в его лице. Трогательно это даже и знать, что на нем нет никакого греха, ибо все совершенно, все, кроме человека, безгрешно и с ним Христос еще раньше нашего.

– Да неужто и у них Христос?

– Как же может быть иначе, ибо для всех Слово, все созданное и вся тварь, каждый листик устремляется к Слову, Богу славу поет, Христу плачет, себе неведомо, тайной жития своего безгрешного совершает сие»⁴¹⁹.

Своим самым потаенным и самым главным нервом всякая тварь устремлена ко Христу, ибо только во Христе находит свой смысл, свой логос, свое оправдание. Вне Его всякая тварь – бессмысленна, алогична,

неоправданна. В Логосе, в вечном Слове Божиим всякая тварь находит свое слово, которое в полноте рассказывает о ее таинственной сущности. Без вечного Слова Божия вся вселенная представляется неким чудовищем, а наша планета – диким безумием. Единственно в дивном Богочеловеке всяческая тварь, к какому бы миру она ни принадлежала, находит свою вечную и абсолютную ценность, ибо «все Им и для Него создано» (Кол.1:16).

В воплотившемся Боге Логосе всякая тварь обретает свою первоизданную красоту, свет и безгрешность. В Нем все есть красота, все есть любовь; Его красота спасает мир от смертоносной мерзости зла и греха. Омытая и освященная тварь излучает эту красоту. Эту Божественную красоту твари видят христоликие души святых, каждую тварь воспринимают они в ее первоизданной безгрешности и красоте. «Цель устремлений подвижника – воспринимать всю тварь в ее первоизданной красоте. Дух Святой открывает Себя в способности видеть красоту твари»⁴²⁰.

Чистое, нежное сердце Зосимы чувствует и видит красоту Божьего мира и говорит о красоте мира сего Божьего и о великой тайне его⁴²¹. «Посмотрите кругом на дары Божии: небо ясное, воздух чистый, травка нежная, птички, природа прекрасная и безгрешная, а мы, только мы одни – безбожные и глупые и не понимаем, что жизнь есть рай, ибо стоит только нам захотеть понять, и тотчас же он настанет во всей красе своей, обнимемся мы и заплачем»⁴²². В каждой твари живет нечто от Логоса, нечто мудрое ведет тварь через бескрайние таинства Божии. «Всякая-то травка, всякая-то букашка, муравей, пчела золотая, все-то до изумления знают путь свой, не имея ума, тайну Божию свидетельствуют, непрерывно совершают ее сами...»⁴²³.

Таинственная красота открывается чистому, «почти безгрешному сердцу»⁴²⁴ Макара. «Все есть тайна, – кротко вещает Макара, – во всем тайна Божия. В каждом дереве, в каждой былинке эта самая тайна заключена. Птичка ли малая поет али звезды всем сонмом на небе блещут в ночи – все одна это тайна одинаковая... Красота везде неизреченная! Тихо все, воздух легкий; травка растет – расти, травка Божия, птичка поет – пой, птичка Божия, ребеночек у женщины на руках пискнул – Господь с тобой, маленький человечек, расти на счастье, младенчик!.. Хорошо на свете, милый!.. А что тайна, то оно тем даже и лучше; страшно оно сердцу и дивно; и страх сей к веселию сердца; все в Тебе, Господи, и я сам в Тебе, и прими меня!.. Не ропщи, вьюнош: тем еще прекрасней оно, что тайна...»⁴²⁵

Христос пришел в мир не для того, чтобы уклонить тайну мира. Во Христе тайна мира не перестает, но преображается: из горькой становится сладостной, из безобразной – красивой. А с Его помощью человек всем своим существом вращается в бесконечную тайну мира: живет жизнью всей твари, страдает ее страданиями, печалится ее печалью, чувствует ее чувствами, мыслит ее мыслями. «На земле же воистину мы как бы блуждаем, и не было бы драгоценного Христова образа пред нами, то погибли бы мы и заблудились совсем, как род человеческий пред потопом. Много на земле от нас скрыто, но взамен того даровано нам тайное, сокровенное ощущение живой связи с миром иным, с миром горним и высшим, да и корни наших мыслей и чувств не здесь, а в мирах иных. Вот почему и говорят философы, что сущности вещей нельзя постичь на земле. Бог взял семена из миров иных и посеял на сей земле и взрастил сад Свой, и возшло все, что могло взойти, но возвращенное живет и живо лишь чувством соприкосновения своего с таинственным миром иным; если ослабевает или уничтожается в тебе сие чувство, то умирает и возвращенное в тебе. Тогда станешь к жизни равнодушен и даже возненавидишь ее»⁴²⁶.

Христова любовь покрывает любовью всех людей, и праведных, и грешных. Христоролюбивый человек смиряет себя пред всякой тварью как пред великой тайной и как пред чудным символом Божьим. Для него всякая тварь – мысль Божия, облеченная в материю. Такой человек живет и умудряется истиной: «Животных любите: им Бог дал начало мысли и радость безмятежную. Не возмущайте же ее, не мучьте их, не отнимайте у них радости, не противьтесь мысли Божьей. Человек, не возносись над животными: они безгрешны, а ты со своим величием гноишь землю своим появлением на ней и след свой гнойный оставляешь после себя, – увы, почти всяк из нас!»⁴²⁷

Но возможно ли любить диких зверей, жить в мире и любви с ними? Разумеется, человеку не преображенному и не молитвеннику это невозможно, но возможно человеку, всегда пребывающему в молитве и христоносному, который только одного Христа имеет посредником между собой и остальной тварью. Божественная кротость Христова изливается из такого человека и укрощает не только одичавшие души, но и диких зверей. Кроткий старец Зосима рассказывает одному молодому человеку о великом святом, спасавшемся в лесу, в малой келии, как к этому святому однажды пришел медведь. Умилился над ним святой и без страха вышел к нему и подал ему хлеба кусок: «Ступай, дескать, Христос с тобой», и отошел свирепый зверь послушно и кротко, вреда не сделав»⁴²⁸.

«Жил со зверями» – эти слова часто встречаются в житиях святых

подвижников. В них выражается суть нового, восстановленного жития, в котором восстановлена утраченная гармония жития купно со всею тварью⁴²⁹.

Милостивое и жалостливое сердце христоролюбивого человека легко сживается с душой любого человеческого существа и восстанавливает логосную связь со всякой тварью. Соучастие становится главной жизненной категорией, через которую он воспринимает мир. Соучастие – самый главный, а возможно, и единственный закон всего человечества⁴³⁰. Об этом соучастии пишет Достоевский в своем дневнике: «Эта жалость, – драгоценная наша, и искоренять ее из общества страшно. Когда общество перестанет жалеть слабых и униженных, тогда ему же самому станет плохо: оно очерствеет и засохнет, станет развратно и бесплодно»⁴³¹.

Христоролюбивая молитва открывает в душе таинственный источник слез, и человек проливает слезы над болью всей твари, которая воздыхает и страдает в страшном рабстве греха и смерти. Размягченная молитвой душа с грустью любит всю тварь: «Когда пребываешь в уединении, – советует старец Зосима, – молись. Люби повергаться на землю, все люби, ищи восторга и исступления сего. Омочи землю слезами радости твоя и люби сии слезы твои. Исступления же сего не стыдись, дорожи им, ибо есть дар Божий, великий, да и не многим дается, а избранным»⁴³².

Под печальной коркой греха таится безгрешная сущность твари, логосная и райская. Грех – это гадкое и отвратительное наложение, в котором грехолюбивый род людской зарыл эту прекрасную сущность и стал рабом погибели и смерти. Христоносная личность смиряет себя пред всякой тварью и чувствует себя виновной в печали и трагедии вселенной, а поэтому молит о прощении даже птиц: «Птички Божии, птички радостные, простите и вы меня, потому что и пред вами я согрешил»⁴³³.

В своей Божественной, логосной сути жизнь – это рай. Почувствовать это, ощутить это – значит ощутить радость и счастье бытия. А чтобы понять это, не нужно жить много лет. «Да чего годы, чего месяцы! Что тут дни-то считать, и одного дня довольно человеку, чтобы все счастье узнать. Милые мои, чего мы ссоримся, друг пред другом хвалимся, один на другом обиды помним? Лучше всего друг друга любить и восхвалять, и целовать, и жизнь нашу благословлять»⁴³⁴.

Тайна жизни, как океан, бескрайня и бесконечна, в ней разлито некое Божественное начало, евклидов ум человека страшится этой бескрайности, поэтому он иногда и прокликает жизнь. Но в своей логосной сути жизнь – это то, что надо благословлять, ибо каждая тварь и каждое существо имеют свой маленький нимб, в котором затерялась капелька небесного

счастья. Боголюбивой душе князя Мышкина всякая тварь открывается небесной стороной своего существа, и он, очарованный этим, вопрошает: «...Неужели на самом деле можно быть несчастным? О, что такое мое горе и моя беда, если я в силах быть счастливым? Знаете, я не понимаю, как можно проходить мимо дерева и не быть счастливым, что видишь его? Говорить с человеком и не быть счастливым, что любишь его! О, я только не умею высказать... а сколько вещей на каждом шагу таких прекрасных, которые даже самый потерявшийся человек находит прекрасными? Посмотрите на ребенка, посмотрите на Божию зарю, посмотрите на травку, как она растет, посмотрите в глаза, которые на вас смотрят и вас любят...»⁴³⁵

Все́й природой своего естества человек связан со всеми мирами. Нечто от этих миров заключено в человеке. Необъяснимым образом в него вливаются видимые и невидимые силы всех существующих миров. А когда человек с помощью евангельских добродетелей одухотворит и преобразует свою душу, то он все эти миры ощущает как органическую часть своего существа; тайны всего тварного вливаются в него и живут в нем во всей своей бескрайности и бесконечности. «Брат мой, – говорит старец Зосима, – у птичек прощения просил: оно как бы и бессмысленно, а ведь правда, ибо все как океан, все течет и соприкасается, в одном месте тронешь, в другом конце мира отдается. Пусть безумие у птичек прощения просить, но ведь и птичкам было бы легче, и ребенку, и всякому животному около тебя, если бы ты сам был благолепнее, чем ты есть теперь, хоть на одну каплю да было бы. Все как океан, говорю вам. Тогда и птичкам стал бы молиться, всецело любовью мучимый, как бы в восторге каком, и молить, чтоб и они грех твой отпустили тебе. Восторгом же сим дорожи, как бы ни казался он людям бессмысленным»⁴³⁶.

Алеша весь в этой истине и в этом чувстве. Он не только любит всех и вся, но опьянен Божественной любовью, любовью ко всем людям, ко всей твари. Дивная красота этой христианской все-влюбленности трогательно описана в главе «Кана Галилейская». Пока отец Паисий читает Евангелие над гробом только что усопшего старца Зосимы, Алеша тихонько молится Богу, но вскоре замечает, что молится почти машинально. Обрывки каких-то мыслей кружат в его душе, иногда сияют ярко, как звездочки, и тут же гаснут, сменяясь другими... Но вместе с тем в душе его царило и нечто нейтральное, устойчивое, то, что убажает и утешает душу, и он осознавал это. Иногда он с жаром начинает молитву, не замечая, что переходит на что-то другое, задумывается, забывая молитву и забывая, почему он ее прервал. Он начинает вслушиваться в то, что читает отец

Паисий, но, сильно утомленный, мало-помалу начинает дремать.

«И в третий день брак бысть в Кане Галилейской, и бе Мати Иисусова ту. Зван же бысть Иисус и ученицы Его на брак».

– «Ах, да, – как вихрь проносится в голове Алеша, – я это место люблю. Это Кана Галилейская, первое чудо Христово... Ах, это чудо, это милое чудо. Не горе, а радость людскую посетил Христос, в первый раз сотворя чудо, радости людской помог... «Кто любит людей, тот и радость их любит...» Это повторял покойник поминутно, это одна из главнейших мыслей его была... «Все, что истинно и прекрасно, всегда полно всепрощения», – это опять-таки он говорил».

Среди гостей Алеша видит старца Зосиму. «Но кто это? Кто? Как... И он здесь? Да ведь он во гробе... Но он здесь... встал, увидел меня, идет сюда... Господи!»

Да, к нему подошел он, сухонький старичок, с мелкими морщинками на лице, радостный и тихо смеющийся. Гроба уже нет, и он в той же одежде, как и вчера сидел с нами, когда собирались к нему в гости. Лицо же открытое, глаза сияют. Как же это, он, стало быть, тоже на пире, тоже званный на брак в Кане Галилейской...

– Тоже, милый, тоже зван, зван и призван, – раздаётся над ним тихий голос. – Пойдем и ты к нам.

Голос его, голос старца Зосимы...

– Веселимся, – продолжает сухонький старичок, – пьем вино новое, вино радости новой, великой; видишь, сколько гостей?.. А видишь ли Солнце наше, видишь ли ты Его?

– Боюсь... не смею глядеть... – прошептал Алеша.

– Не бойся Его. Страшен величием пред нами, ужасен высотой Своею, но милостив бесконечно, нам из любви уподобился... воду в вино превращает, чтобы не пресекалась радость гостей, новых гостей ждет, новых беспрерывно зовет и уже на веки веков. Вон и вино несут новое, видишь – сосуды несут...

Что-то горело в сердце Алеша, что-то наполнило его вдруг до боли, слезы восторга рвались из души его... Он простер руки, вскрикнул и проснулся...»⁴³⁷

Бесконечная тайна жизни перерастает в бескрайнюю радость. Из бездонных глубин и недостижимых высот Божьих миров изливается и растекается Божественная радость, размягчая человеческое сердце. Христоносная душа завершает свой земной путь небесной трапезой, небесной радостью, а через нее и вся тварь. И сознаешь тогда, что в своей чудесной красоте вся тварь представляет вечное и бесконечное чудо Божие

в Кане Галилейской. Стоит прикоснуться Христу Своей чудодейственной рукой, и в каждом существе заструится вечная Божественная радость и обновляется тварь: из ветхой становится новой, из смертной – бессмертной, из горестной – сладостной, из опечаленной – радостной. Ибо Он, только Он горестную жизнь твари услаждает вечной Божественной сладостью – Собою. От Него и в Нем жизнь всегда нова, всегда сладостна, всегда логосна. В обветшавшее существо твари Он непрестанно вливает вино новой радости, Божественной радости. Пресную воду жизни Он постоянно претворяет в вино вечной новой радости, чтобы исстрадавшиеся жители нашей планеты не утратили драгоценное ощущение того, что мир этот – всегда новое, сладостное и радостное чудо Божие. В бесконечном Своем человеколюбии Он непрестанно зовет всех людей быть Его гостями, чтобы они пили Его вино, радовались Его радостью и жили бы вечно в дивном и чарующем свете Его Личности.

Очарованный прекрасным видением первого чуда Христова, Алеша быстро выходит из келии на воздух. «Полная восторгом душа его жаждала свободы, места, широты. Над ним широко, необозримо опрокинулся небесный купол, полный тихих, сияющих звезд. С зенита до горизонта двоился еще неясный Млечный путь. Свежая и тихая до неподвижности ночь облегла землю. Белые башни и золотые главы собора сверкали на яхонтовом небе. Осенние роскошные цветы в клумбах около дома заснули до утра. Тишина земная как бы сливалась с небесною, тайна земная соприкасалась со звездною... Алеша стоял, смотрел и вдруг, как подкошенный, повергся на землю.

Он не знал, для чего обнимал ее, он не давал себе отчета, почему ему так неудержимо хотелось целовать ее, целовать ее всю, но он целовал ее, плача, рыдая и обливая ее своими слезами, и иступленно клялся любить ее, любить во веки веков. «Облей землю слезами радости твоя и люби сии слезы твои...», – прозвенело в душе его. О чем плакал он? О, он плакал в восторге своем даже и об этих звездах, которые сияли ему из бездны, и не стыдился иступления сего. Как будто нити ото всех этих бесчисленных миров Божиих сошлись разом в душе его, и она вся трепетала, «соприкасаясь мирам иным». Простить хотелось ему всех и за все, и просить прощения, о! не себе, а за всех, за все и вся, а «за меня и другие просят», прозвенело опять в душе его. Но с каждым мгновением он чувствовал явно и как бы осязательно, как что-то твердое и незыблемое, как этот свод небесный, сходило в душу его. Какая-то как бы идея воцарялась в уме его – и уже на всю жизнь и на веки веков. Пал он на землю слабым юношей, а встал твердым на всю жизнь бойцом, и сознавал,

и почувствовал это вдруг, в ту же минуту своего восторга. И никогда, никогда не мог забыть Алеша во всю жизнь свою потом этой минуты. «Кто-то посетил мою душу в тот час», – говорил он потом с твердой верою в слова свои...»⁴³⁸ А тот «Кто-то» был Христос, Которого так жаждала душа Алеши.

В богочеловеческой любви, которая исполняет все существа во всех Божьих мирах, христоносная душа достигает самой высшей полноты жизни. В этой любви вся тварь открывается райской красоте и органической цельности. Между христоликой душой и всей тварью находится Христос, и душа воспринимает мир не отвлеченно, но напрямую через Христа, поэтому для нее мир есть Божья Благая весть. В святилище своего существа христолика душа переживает горную радость, высшее блаженство, жизнь становится райской. Под спудом громыхающей дисгармонии мира, пробивающей кору жизни и взламывающей жизнь, сокрыта неизреченная гармония жизни. К ней можно придти, если душа живет христианской вселюбовью, ибо только вселюбовь дает человеку возможность отыскать, ощутить и познать Божественную гармонию жизни. Совершенная и абсолютная гармония возможна только в совершенной и абсолютной любви – в Боге. Ощущение и видение этой гармонии дается только человеку, чье сердце постоянно исполнено бескрайней любовью ко всем и вся. Таким человеком был Достоевский. Он имел это видение и прекрасно описал его в фантастическом рассказе «Сон смешного человека».

Смешному человеку Достоевского снится, что он находится на какой-то другой земле. И он рассказывает следующее: «Все было точно так же, как у нас, но казалось, всюду сияло каким-то праздником и великим, святым и достигнутым наконец торжеством. Ласковое изумрудное море тихо плескало о берега и лобызало их с любовью, явной, видимой, почти сознательной. Высокие, прекрасные деревья стояли во всей роскоши своего цвета, а бесчисленные листочки их, я убежден в том, приветствовали меня тихим, ласковым своим шумом и как бы выговаривали какие-то слова любви. Мурава горела яркими ароматными цветами. Птички стадами перелетали в воздухе и, не боясь меня, садились мне на плечи и на руки и радостно били меня своими милыми, трепетными крылышками. И наконец я увидел и узнал людей счастливой земли этой. Они пришли ко мне сами, они окружили меня, целовали меня. Дети солнца, дети своего солнца, – о, как они были прекрасны! Никогда я не видывал на нашей земле такой красоты в человеке... Глаза этих счастливых людей сверкали ясным блеском. Лица их сияли разумом и

каким-то восполнившимся уже до спокойствия сознанием, но лица эти были веселы; в словах и в голосах этих людей звучала детская радость. О, я тотчас же, при первом взгляде на их лица, понял все, все! Это была земля, не оскверненная грехопадением, на ней жили люди, не согрешившие, жили в таком же раю, в каком жили, по преданиям всего человечества, и наши согрешившие прародители, с тою только разницею, что вся земля здесь была повсюду одним и тем же раем. Эти люди, радостно смеясь, теснились ко мне и ласкали меня; они увели меня к себе, и всякому из них хотелось успокоить меня. О, они не спрашивали меня ни о чем, но как бы все уже знали, так мне показалось, и им хотелось согнать поскорее страдание с лица моего.

Пусть это был только сон, – продолжает Достоевский, – но ощущение любви этих невинных и прекрасных людей осталось во мне навеки, и я чувствую, что их любовь изливается на меня и теперь оттуда. Я видел их сам, их познал и убедился, я любил их, я страдал за них потом... Они, зная столь много, не имеют нашей науки. Но я скоро понял, что знание их восполнилось и питалось иными проникновениями, чем у нас на земле, и что стремления их тоже совсем иные. Они не желали ничего и были спокойны, они не стремились к познанию жизни так, как мы стремимся познать ее, потому что жизнь их была восполнена. Но знание их было глубже и выше, чем у нашей науки; ибо наука наша ищет объяснить, что такое жизнь, сама стремится познать ее, чтоб научить других жить; они же и без науки знали, как им жить, и это я понял, но я не мог понять их знания. Они указывали мне на деревья свои, и я не мог понять той степени любви, с которою они смотрели на них: точно они говорили о себе подобных существах. И знаете, может быть, я не ошибусь, если скажу, что они говорили с ними! Да, они нашли их язык, и я убежден, что те понимали их. Так смотрели они и на всю природу, – на животных, которые жили с ними мирно, не нападали на них и любили их, побежденные их же любовью. Они указывали мне на звезды и говорили о них со мною о чем-то, чего я не смог понять... Они были резвы и веселы, как дети. Они блуждали по своим прекрасным рощам и лесам, они пели свои прекрасные песни, они питались легкою пищею, плодами своих деревьев, медом лесов своих и молоком их любивших животных. Для пищи и для одежды своей они трудились лишь немного и слегка. У них была любовь и рождались дети, но никогда я не замечал у них порывов того жестокого сладострастия, которое постигает почти всех на нашей земле, всех и всякого, служит единственным источником почти всех грехов нашего человечества. Они радовались явившимся у них детям как новым

участникам в их блаженстве. Между ними не было ссор и не было ревности, и они не понимали даже, что это значит. Их дети были детьми всех, потому что составляли одну семью. У них почти совсем не было болезней, хоть и была смерть; но старики умирали тихо, как бы засыпая, окруженные прощавшимися с ними людьми, благословляя их, улыбаясь им, и сами напутствуемые их светлыми улыбками. Скорби, слез при этом я не видал, а была лишь умножавшаяся как бы до восторга любовь, но до восторга спокойного, восполнившегося, созерцательного. Подумать можно было, что они соприкасались еще с умершими своими даже после их смерти и что земное единение между ними не прерывалось смертью. Они почти не понимали меня, когда я спрашивал их про вечную жизнь, но, видимо, были в ней до того убеждены безотчетно, что это не составляло для них вопроса... У них было какое-то насущное, живое и непрерывное единение с единой вселенной... Они славили природу, землю, море, леса... Казалось, и всю жизнь свою они проводили лишь в том, что любовались друг другом. Это была какая-то влюбленность друг в друга, всецелая, всеобщая... Я чувствовал, что при них и мое сердце становилось столь же невинным и правдивым, как и их сердца... От ощущения полноты жизни мне захватывало дух, и я молился на них»⁴³⁹.

После пробуждения Достоевский почувствовал, что все его существо преисполнено бесконечной вселюбовью и вечной истиной. Все в нем в восхищении восклицало: «О, теперь жизни и жизни! Я поднял руки и воззвал к вечной истине; не воззвал, а заплакал; восторг, неизмеримый восторг поднимал все существо мое. Да, жизнь, и – проповедь! О проповеди я порешил в ту же минуту, и уж, конечно, на всю жизнь! Я иду проповедовать, я хочу проповедовать – что? Истину, ибо я видел ее, видел своими глазами, видел всю ее славу!.. Я и сбиться не могу, потому что я видел истину, видел и знаю, что люди могут быть прекрасны и счастливы, не потеряв способности жить на земле. Я не хочу и не могу верить, чтобы зло было нормальным состоянием людей. А ведь они все только над этой верой-то моей и смеются. Но как мне не веровать: я видел истину, – не то, что изобрел умом, а видел, видел, и *живой образ*⁴⁴⁰ ее наполнил душу мою навеки. Я видел ее такой восполненной целостности, что не могу поверить, чтоб ее не могло быть у людей. И так как же я собьюсь?.. Живой образ того, что я видел, будет всегда со мной и навсегда меня направит. О, я бодр, я свеж, я иду, иду, и хоть бы тысячу лет!»⁴⁴¹

Достоевский, озлобленный мятежник и ожесточившийся богоборец, принял мир, нашел в нем смысл и вечную ценность и, таким образом, достиг наивысшей полноты жизни. Все дикие атеистические сомнения, все

опустошающие анархические стремления, все самоубийственное расположение духа, все это отступило и закончило свое существование. И все его существо охватило возвышенное спокойствие и тихое блаженство, наполненное ясностью мысли, гармоничной горней радостью и безмерной надеждой. Некогда самый отчаявшийся из отчаявшихся исполнил свою беспокойную душу Божественной гармонией, невиданной красотой, непреходящей истиной, всепобеждающей любовью и в христоролюбивом восторге растворился в наивысшей полноте жизни, где все есть – «красота и молитва»⁴⁴².

Через молитвенное погружение в наивысшую полноту жизни, во Христа, «проклятая проблема» страдания, которая для человеческого ума представляет самый главный искус непринятия мира и Бога, получает свое конечное разрешение. Только во Христе и со Христом страдание теряет свою отравляющую горечь, оно осветляется, осмысливается и становится необходимым средством для человеческого совершенствования и спасения. Вне Христа человеческое страдание не имеет ни смысла, ни оправдания. С Ним оно становится чистилищем, в котором душа очищается от всяческой нечистоты и становится самой лучшей школой христианства⁴⁴³.

Таинственным и чудодейственным прикосновением благой руки Христовой горькая тайна людского страдания становится сладостной, и старая боль, и тягостная печаль постепенно перерастают в тихую радость и блаженство. Только человек, погруженный в молитвенную любовь, ощущает, как его земная жизнь соприкасается с горней, бесконечной, не известной ему, но столь же желанной жизнью. От этого предвосхищения душа возвышенно трепещет, разум озаряется и сердце радостно плачет, «а надо всем-то правда Божия умиляющая, примиряющая, всепрощающая»⁴⁴⁴. Господь Христос дает возможность человеку сносить не только всяческие страдания, но сверх того, дает силы в страданиях быть блаженным и счастливым. Христоликий старец Зосима, отправляя Алешу в мир, говорит: «Благословляю тебя на великое послушание в миру. Много тебе еще странствовать... Все должен будешь перенести, пока вновь пребудеши. А дела много будет. Но в тебе не сомневаюсь, потому и посылаю тебя. С тобой Христос. Сохрани Его, и Он сохранит тебя. Горе узришь великое и в горе сим счастлив будешь. Вот тебе завет: в горе счастья ищи. Работай, неустанно работай... Много несчастий принесет тебе жизнь, но именно ты и счастлив будешь, и жизнь благословишь, и других благословлять заставишь, – что важнее всего»⁴⁴⁵.

К наивысшей полноте жизни в Богочеловеке Христе приходят через

внутреннее делание в евангельских добродетелях. Когда христоносная личность евангельские добродетели стяжает в своей душе, когда претворит в содержание своего существа, своей жизни, тогда она исцеляет себя тем самым от греховной раздробленности, секулярности, самозамкнутости и входит в царство высшей полноты жизни, где Христос в бескрайней любви и бесконечной мудрости царствует и властвует.

Тайна Европы

Все человеческие мысли, все ощущения, все человеческие дела в своем конечном выражении заканчиваются только двумя путями: или в человекобоге, или в Богочеловеке. Между этими полюсами протекает вся творческая жизнь рода людского как в духовном, так и в материальных планах. Хочет человек того или нет, но он служит или человекобогу, или Богочеловеку, содействуя тем самым преуспеванию в мире или человекобожества или Богочеловечества. Не только главное, но и единственное направление всякой человеческой жизни на земле – это направленность или к человекобожеству, или богочеловечеству. Все божества различных религий на нашей планете, в сущности, только разнородные виды и облики двух божеств: человекобога и Богочеловека.

Люди всегда это ощущали, но в полноте сие открылось только верующим человеческим умам. Среди них на первом месте – Достоевский. Различные проблемы человеческого духа он свел к двум главным: к проблеме Бога и к проблеме человека. Но и эти две проблемы, по сути, одна. Это – «проклятая проблема» человеческой личности. Тот, кто решил эту проблему, решил тем самым и другие проблемы; это – главное убеждение Достоевского. Тысячелетиями человек решал «проклятую проблему» человеческой личности и не мог ее решить. Окончательно и в полноте решил ее только Богочеловек. Он решил ее Своим Богочеловечеством, человек же своим человекобожеством не смог разрешить эту проблему.

Веками Европа мучилась над решением «проклятой проблемы» человеческой личности, и разрешить ей эту проблему никак не удавалось, ибо она всегда решала проблему человеком и человекобогом, а не Богочеловеком. Достоевского очень мучил идейный и моральный хаос Европы, долго он искал причину этого хаоса и, в конце концов, нашел ее. Нашел в римокатолицизме.

Почему в римокатолицизме? – вознегодуют многие. Разве не проповедует Христа римокатолицизм? Да, проповедует, – отвечает Достоевский, – но искаженного Христа, европеизированного Христа, Христа, созданного по образу и подобию европейского человека. В своей безмерной гордости европейский человек не хотел себя уподобить Богочеловеку, но Богочеловека уподобил себе. Самыми разными способами европейский человек долго и систематически оценивал человека по отношению к Богочеловеку, пока в своем самолюбии не дошел

до полного безумия – создал гордый догмат о непогрешимости человека. В этом догмате – дух Европы, все ее ценности, все ее идеалы, все ее устремления. Человек наконец-то потеснил и почти совсем заменил собою Богочеловека. Долго и упорно европейский человек боготворил себя через философию, науку, религию (папизм), через культуру и цивилизацию. Все его дела пронизаны одним и тем же духом – духом римокатолицизма. Из-за того, что римокатолицизм догматом о непогрешимости человека обоготворил человека и провозгласил его верховным мерилем в мире человеческих ценностей, он тем самым вольно или невольно стал причиной атеизма, социализма, анархизма; римокатолицизм создал человекобожескую культуру, поклонившуюся человеку. Европейский человекобог оттеснил собою Богочеловека. Догматом о непогрешимости человека римокатолицизм дал право на жизнь человекобожеству во всех его проявлениях и действиях. Всеми силами трудится Европа, чтобы это человекобожество воцарилось во всех сферах человеческой деятельности и творчества. Отсюда все ее мучения, все ее трагедии, все ее смерти.

Проблема Европы, по сути – проблема римокатолицизма; это вывод, к которому приходит прозорливый Достоевский, изучая Европу. Во многих своих произведениях он исследует эту проблему. Но чтобы мы смогли получить полную картину его мировоззрения по этому поводу, будем придерживаться хронологического порядка. Первый раз достаточно обширно Достоевский занимается этой проблемой в романе «Идиот» (1868 г.). Для выражения своих идей он избирает своего любимого героя – князя Мышкина.

«Католичество – все равно, что вера нехристианская, – говорит князь Мышкин. – Да, нехристианская, – это во-первых. А во-вторых, католичество римское даже хуже самого атеизма. Атеизм только проповедует нуль, а католицизм идет дальше: он искаженного Христа проповедует, им же оболганного и поруганного, Христа противоположного! Он анархиста проповедует, клянусь вам, уверяю вас! Это мое личное и давнишнее убеждение, и оно меня самого измучило... Римский католицизм верует, что без всемирной государственной власти Церковь не устоит на земле и кричит: Non possumus! По-моему, римский католицизм даже и не вера, а решительно продолжение западной Римской империи, и в нем все подчинено этой мысли, начиная с веры. Папа захватил землю, земной престол и взял меч; с тех пор все так и идет, только к мечу прибавили ложь, пронырство, обман, фанатизм, суеверие, злодейство, играли самыми святыми, правдивыми, простодушными, пламенными чувствами народа, все, все променяли за деньги, за низкую

земную власть. И это не учение антихристово? Как же было не выйти от них атеизму? Атеизм от них вышел, из самого римского католичества! Атеизм, прежде всего, с них самих начался: могли ли они веровать себе сами? Он укрепился из отвращения к ним; он – порождение их лжи и бессилия духовного! Атеизм! У нас не веруют еще только сословия исключительные, корень потерявшие, а там, в Европе, уже страшные массы самого народа начинают не веровать, – прежде от тьмы и от лжи, а теперь уж от фанатизма, из ненависти к Церкви и к христианству.

– Вы очень преувеличиваете, – протянул Иван Петрович, – в тамошней Церкви тоже есть представители, достойные всякого уважения и добродетельные...

– Я никогда и не говорил об отдельных представителях Церкви. Я о римском католичестве в его сущности говорил, я о Риме говорю. Разве может Церковь совершенно исчезнуть? Я этого никогда не говорил!

– Согласен, но все это известно и даже не нужно и... принадлежит богословию...

– О, нет, о, нет! – возражает князь Мышкин. – Не одному богословию, уверяю вас, что нет! Это гораздо ближе касается нас, чем вы думаете. В этом-то вся и ошибка наша, что мы не можем еще видеть, что это дело не исключительно одно только богословское! Ведь и социализм – порождение католичества и католической сущности! Он тоже, как и брат его атеизм, вышел из отчаяния, в противоположность католичеству в смысле нравственном, чтобы заменить собою потерянную нравственную власть религии, чтобы утолить жажду духовную возжаждавшего человечества и спасти его не Христом, а тоже насилем! Это тоже свобода чрез насилие, это тоже объединение чрез меч и кровь! «Не смей веровать в Бога, не смей иметь собственности, не смей иметь личности, *fraternite ou la morte*, два миллиона голов! По делам их вы узнаете их – это сказано!»⁴⁴⁶

С известными дополнениями Достоевский повторяет эту идею в романе «Бесы» (1817 г.). Он пишет: «...Римский католицизм уже не есть христианство... Рим провозгласил Христа, поддавшегося на третье диаволово искушение, и, возвестив всему свету, что Христос без царства земного на земле устоять не может, католичество тем самым провозгласило антихриста и тем погубило весь западный мир»⁴⁴⁷.

Нет ни одного политического или социального вопроса в Европе, который опосредованно или напрямую не был бы связан с вопросом римского католичества. По мнению Достоевского, римокатолицизм – самый главный вопрос в Европе. Все отрицательные, христорборческие силы европейского духа сошлись, как в фокусе, в догмате о

непогрешимости папы и получили свою неизменную религиозную санкцию. В своем дневнике в 1873 г. Достоевский пишет: «Римская Церковь в том виде, в каком она состоит теперь, существовать не может. Она заявила об этом громко сама, заявив тем самым, что царство ея от мира сего и что Христос ея «без царства земного удержаться на свете не может». Идею римского светского владычества католическая Церковь вознесла выше правды и Бога; с той же целью провозгласила и непогрешимость вождя своего, и провозгласила именно тогда, когда уже в Риме стучалась и входила светская власть; совпадение замечательное и свидетельствующее о «конце концов». До самого падения Наполеона III Церковь римская могла еще надеяться на покровительство царей, которыми держалась (а именно Франциею) вот уже столько веков. Чуть только оставила ее Франция – пала и светская власть Церкви. Между тем Церковь католическая этой власти своей ни за что, никогда и никому не уступит и лучше согласится, чтоб погибло христианство совсем, чем погнубить светскому государству Церкви. Мы знаем, что многие из мудрых мира сего встретят нашу идею с улыбкою и с покиванием главы; но мы твердо отстаиваем ее и провозглашаем еще раз, что нет теперь в Европе вопроса, который бы труднее было разрешить, как вопрос католический; и что нет и не будет отныне в будущем Европы такого политического и социального затруднения, к которому бы не примазался и с которым не соединился бы католический римский вопрос. Одним словом, для Европы нет ничего труднее, как разрешение этого вопроса в будущем, *хотя 99100 европейцев в данную минуту, может быть, и не думают даже об этом*»⁴⁴⁸.

Все малые и великие тайны европейского духа вместились и слились в одном огромном и неизменном догмате, догмате о непогрешимости человека. Тем самым разрешились главные устремления европейского гуманизма в самых различных его проявлениях – от светского до религиозного. Человек провозглашен человекобогом. По сути, в догмате о непогрешимости человека открылась главная тайна европейского человека. Европейский человек ясно и искренне исповедал пред земным и небесным мирами то, что хотел сказать, то, к чему стремился. Догматом о непогрешимости человека он решительно и окончательно изгнал из Европы Богочеловека и воцарил человекобога, а тем самым навсегда предопределил будущее Европы: она неминуемо должна продвигаться по путям непогрешимости человека – европейского человекобога.

Достоевский с болью и отчаянием ощущает все это, и в 1876 году так пишет: «Римское католичество давно уже считает себя выше всего

человечества. До сих пор оно блудодействовало лишь с сильными земли и надеялось на них до последнего срока. Но срок этот пришел теперь, кажется, окончательно, и римское католичество, несомненно, бросит властителей земных, которые, впрочем, сами ему изменили и давно уже в Европе затеяли на него всеобщую травлю, а теперь, в наши дни, уже окончательно организовавшуюся. Что ж, римское католичество и такие повороты проделывало: раз, когда надо было, оно, не задумавшись, продало Христа за земное владение. Провозгласив как догмат, «что христианство на земле удержаться не может без земного владения Папы», оно тем самым провозгласило Христа нового, на прежнего не похожего, прельстившегося на третье диаволово искушение, на царства земные: «все сие отдам Тебе, поклонися мне»! О, я слышал горячие возражения на эту мысль; мне возражали, что вера и образ Христов и поныне продолжают еще жить в сердцах множества католиков во всей прежней истине и во всей чистоте. Это несомненно так, но главный источник замутился и отравлен безвозвратно. К тому же Рим слишком еще недавно провозгласил свое согласие на третье диаволово искушение в виде твердого догмата, а потому всех прямых последствий этого огромного решения нам еще заметить нельзя было. Замечательно, что провозглашение этого догмата, – это открытие «всего секрета», – произошло именно в то самое мгновение, когда объединенная Италия стучалась уже в ворота Рима. У нас многие тогда над этим смеялись: «...сердит, да не силен» (о Папе⁴⁴⁹)... Только навряд ли не силен. Нет, такие люди, способные на такие решения и повороты, не могут умереть без боя. Возразят, что это и всегда так было в католичестве, по крайней мере, подразумевалось, и что, стало быть, не было никакого переворота. Да, но не всегда был секрет. Папа много веков делал вид, что доволен крошечным владеньицем своим, Папской областью, но все это лишь единственно для аллегории; главное же в том, что в этой аллессии неизменно таилось зерно главной мысли, с несомненной и всегдашней надеждой Папства, что зерно это разовьется в будущем в пышное дерево и осенит им всю землю. И вот, в самое последнее мгновение, когда отнимали от него последнюю десятину его земного владения, владыка католичества, видя смерть свою, вдруг восстает и изрекает всю правду о себе всему миру: «Это вы думали, что я только титулом государя Папской области удовольствуюсь? Знайте же, что я всегда считал себя владыкой мира и всех царей земных, и не духовным только, а земным, настоящим их господином, властителем и императором. Это я – царь над царями и господин над господствующими, и мне одному принадлежат на земле судьбы, времена и сроки; и вот я всемирно

объявляю это теперь в догмате о моей непогрешимости». Нет, тут сила; это величаво, а не смешно; это – воскрешение древней римской идеи всемирного владычества и единения, которая никогда и не умирала в римском католичестве; это Рим Юлиана Отступника, но не побежденного, а как бы победившего Христа в новой и последней битве. Таким образом, продажа истинного Христа за царства земные совершилась»⁴⁵⁰.

Догматом о своей непогрешимости, – пишет Достоевский, – Папа тем самым провозгласил тезис о том, что без земного владения христианство не может уцелеть на земле, – то есть, в сущности, провозгласил себя владыкой мира, а пред католичеством поставил уже догматически прямую цель всемирной монархии, к которой и повелел стремиться во славу Божию и Христа на земле. Эта идея, которая восходит ко времени искушений Христовых в пустыне, не может и не сможет легко умереть⁴⁵¹.

Когда человек, любой человек, провозгласит себя непогрешимым, он тем самым имеет право делать все то, что он считает нужным. И это вполне естественно и логично, ибо если я непогрешим, то я делаю то, что есть наилучшее. Непогрешимому все разрешено, ибо он непогрешим. И если необходимо для достижения определенных целей дозволить грех, он и это сделает. На его путях нет моральных препон и запретов. Его «непогрешимая» совесть действует самолично, самостоятельно, независимо от всех и вся. Если же «непогрешимому» человеку неважно, из-за каких побуждений необходимо уклонить или продать и наивысшую ценность нашей планеты – Богочеловека Христа, то он и это сделает, вдохновленный человекобожеским воодушевлением.

В царстве непогрешимого человека в Европе завершится продажа Христа, которая началась ради земной власти. Достоевский это очень сильно преодушает. Вершители земного царства непогрешимого человека пойдут на все уступки и компромиссы, ибо им с благословения «непогрешимого» все разрешается. Страшная черная армия «непогрешимого» знает, на кого ей опереться. Достоевский пишет, что продажа истинного Христа за царства земные совершится и закончится на деле в римском католичестве. «У этой страшной армии слишком острые глаза, чтобы не разглядеть наконец, где теперь настоящая сила, на которую бы ей опереться. Потеряв союзников царей, католичество, несомненно, бросится к демосу. У него десятки тысяч соблазнительей, премудрых, ловких, сердцеведов и психологов, диалектиков и исповедников, а народ всегда и везде был прямодушен и добр... Все эти сердцеведы и психологи бросятся в народ и понесут ему Христа нового, уже на все согласившегося, Христа, объявленного на последнем римском нечестивом соборе. «Да,

друзья и братья наши, – скажут они, – все, о чем вы хлопочете, – все это есть у нас для вас в той книге давно уже, а ваши препроводители все это украли у нас. Если же до сих пор мы говорили вам немного не так, то это потому лишь, что до сих пор вы были еще, как малые дети, и вам рано было узнавать истину, но теперь пришло время и вашей правды. Знайте же, что у Папы есть ключи святого Петра и что вера в Бога есть лишь вера в Папу⁴⁵², который на земле Самим Богом поставлен вам вместо Бога. Он непогрешим, и дана ему власть божеская, и он владыка времен и сроков; он решил теперь, что настал и ваш срок. Прежде главная сила веры состояла в смирении, но теперь прошел срок смирению, и Папа имеет власть отменить его, ибо ему дана всякая власть. Да и вы все братья, и Сам Христос повелел быть всем братьями; если же старшие братья ваши не хотят вас принять к себе как братьев, то возьмите палки и сами войдите в их дом и заставьте их быть вашими братьями силой. Христос долго ждал, что развратные старшие братья ваши покаются, а теперь Он Сам разрешает нам провозгласить: «Fraternite ou la mort». (Будь мне братом, или голову долой!) Если брат твой не хочет разделить с тобой пополам свое имение, то возьми у него все, ибо Христос долго ждал его покаяния, а теперь пришел срок гнева и мщениа. Знайте тоже, что вы безвинны во всех бывших и будущих грехах ваших, ибо все грехи ваши происходят лишь от вашей бедности. И если вам уже возвещали про это еще прежде ваши бывшие предводители и учителя, то знайте, что хоть они и правду вам говорили, но власти не имели вам возвещать ее раньше срока, ибо власть эту имеет один только Папа от Самого Бога, а доказательство в том, что эти учителя ваши ни до чего вас путного не довели, кроме казней и пущих бедствий, и что всякое начинание их погибло само собой; да к тому же они все мошенничали, чтоб, опираясь на вас, показаться сильными и потом продать себя подороже врагам вашим. А Папа вас не продаст, потому что над ним нет сильнейшего, и сам он первый из первых, только веруйте, да не в Бога, а только в Папу и в то, что лишь он один есть царь земной, а прочие должны исчезнуть, ибо им срок пришел. Радуйтесь же теперь и веселитесь, ибо теперь наступил рай земной, все вы станете богаты, а через богатство и праведны, потому что все ваши желания будут исполнены и у вас будет отнята всякая причина ко злу». «Слова эти льстивые, – продолжает Достоевский, – но, без сомнения, демос примет предложение: разглядит в неожиданном союзнике объединяющую великую силу, на все соглашающуюся, вместо предводителей мечтателей и спекулянтов, в практические способности которых, а иногда и честность, он и теперь сплошь да рядом не верует. Тут же вдруг и точка приложения

силы готова, и рычаг дают мне в руки, стоит лишь налечь всей массой и повернуть. А народ ли не повернет, он ли не масса? А в довершение ему опять дадут веру и успокаивают тем сердца слишком многих, ибо слишком многие из них давно уже чувствовали тоску без Бога...

Пусть мне простят мою самонадеянность, но я уверен, что все это несомненно осуществится в Западной Европе в той или другой форме, т.е. католичество бросится в демократию, в народ и оставит царей земных за то, что те его оставили»⁴⁵³.

Главные идеи и направления в Западной Европе опосредованно или напрямую находятся в явной зависимости от римокатолической идеи. Эта идея невидимо в них присутствует, как душа в теле, и так же, как душа, сильна. Какими бы путями ни продвигалась мысль европейского человека, она вольно или невольно созидает все на человеке, как на фундаменте, и избегает Богочеловека и Его Евангелие. Все проникнуто стремлением к непогрешимости и самодостаточности человеческой личности, или же мы замечаем самозванную непогрешимость и тщеславное самодовольство. На всем лежит печать римокатолицизма. Говоря о римокатолицизме, Достоевский говорит не только о римокатолической религии, но о целокупной римокатолической идее, о судьбе нации, которая сложилась в рамках этой идеи в течение тысячелетия и которой все пронизано. «В этом смысле, – говорит Достоевский, – Франция, например, есть как бы полнейшее воплощение католической идеи в продолжение веков, глава этой идеи, унаследованной, конечно, еще от римлян и в их духе. Эта Франция, даже и потерявшая теперь почти вся всякую религию (иезуиты и атеисты тут все равно, все одно), закрывавшая не раз свои церкви и даже подвергавшая однажды баллотировке собрания Самого Бога, эта Франция, развившая из идей 89 года свой особенный французский социализм, т.е. успокоение и устройство человеческого общества уже без Христа и вне Христа, как хотело, да не сумело устроить его во Христе католичество, – эта самая Франция и в революционерах конвента, и в атеистах своих, и в социалистах своих, и в теперешних коммунарах своих, – все еще в высшей степени есть и продолжает быть нацией католической вполне и всецело, вся зараженная католическим духом и буквой его, провозглашающая устами самых отъявленных атеистов своих: *Liberte, Egalite, Fraternite – ou la mort*, т.е. точь-в-точь как бы провозгласил это сам папа, если бы только принужден был провозгласить и формулировать *liberte, egalite, fraternite* католическую – его слогом, его духом, настоящим слогом и духом папы Средних веков. Самый теперешний социализм французский – по-видимому горячий и роковой протест против идеи католической всех

измученных и задушенных ею людей и наций, желающих во что бы то ни стало жить и продолжать жить уже без католичества и без богов его, – самый этот протест, начавшийся фактически с конца прошлого столетия (но, в сущности, гораздо раньше), есть не что иное, как лишь вернейшее и неуклонное продолжение католической идеи, самое полное и окончательное завершение ее, роковое ее последствие, выработавшееся веками! Ибо социализм французский есть не что иное, как *насильственное*⁴⁵⁴ единение человека – идея, еще от древнего Рима идущая и потом всецело в католичестве сохранившаяся. Таким образом, идея освобождения духа человеческого от католичества облеклась тут именно в самые тесные формы католические, заимствованные в самом сердце духа его, в букве его, в материализме его, в деспотизме его, в нравственности его»⁴⁵⁵.

Человек – менее всего механистическое существо среди земных существ. Главные свойства его естества и основные функции его природы не имеют в себе ничего механистического. Только незнание психофизического устройства человека или намеренное отрицание свободы человеческого духа уподобляет человека механизму и желает подвести его под механистические законы развития и деятельности. И если речь идет об объединении людей, то оно никак не может произойти механически. Люди – существа более духовные, нежели физические, а поэтому проблема единения людей – проблема духовная. Пока не будут найдены и изучены и воплощены начала и силы, которые смогут духовно объединить людей, все остальные попытки к объединению будут осуществляться огнем и мечом. Идея об объединении людей во всемирную империю (любыми способами) – это идея старого, языческого Рима. В противовес ей стоит христианская идея о духовном единении людей как детей единого Небесного Отца и всеобщего братства; это единение достигается евангельскими средствами. Идею старого Рима римокатолицизм взял с известными несущественными поправками. Для Достоевского это ясно и бесспорно, ибо он, как никто другой, сумел прочесть самые загадочные иероглифы людской истории. Он пишет: «Древний Рим первый родил идею всемирного единения людей и первый думал (и твердо верил) практически ее выполнить в форме всемирной монархии. Но эта формула пала пред христианством, – формула, а не идея. Ибо идея эта есть идея европейского человечества, из нее составилась его цивилизация, для нее одной лишь оно и живет. Пала лишь идея всемирной римской монархии и заменилась новым идеалом всемирного же единения во Христе. Этот новый идеал раздвоился на восточный, то есть идеал

совершенно духовного единения людей, и на западноевропейский, римско-католический, папский, совершенно обратный восточному. Это западное римско-католическое воплощение идеи и совершилось по-своему, не утратив свое христианское, духовное начало и поделившись им с древнеримским наследством. Римским папством было провозглашено, что христианство и идея его, без всемирного владения землями и народами, – не духовно, а государственно, – другими словами, без осуществления на земле новой всемирной римской монархии, во главе которой будет уже не римский император, а Папа, – осуществимо быть не может. И вот началась попытка всемирной монархии совершенно в духе древнеримского мира, но уже в другой форме. Таким образом, в восточном идеале – сначала духовное единение во Христе, а потом уж, в силу этого, духовное единение под началом папы как владыки мира сего».

«С тех пор, – продолжает Достоевский, – эта попытка в римском мире шла вперед и изменялась непрерывно. С развитием этой попытки самая существенная часть христианского начала почти утратилась вовсе. Отвергнув наконец христианство духовное, наследники древнеримского мира отвергли и папство. Прогремела страшная французская революция, которая, в сущности, была не более как последним видоизменением той же древнеримской формулы всемирного единения. Но новая формула оказалась недостаточной, новая идея не завершилась. Был даже момент, когда для всех наций, унаследовавших древнеримское призвание, наступило почти отчаяние. О, разумеется, та часть общества, которая выиграла для себя с 1789 года политическое главенство, т.е. буржуазия, восторжествовала и объявила, что далее и не надо идти. Но зато все те умы, которые по вековым законам природы обречены на вечное мировое беспокойство, на искание новых формул идеала и нового слова, необходимых для развития человеческого организма, – все те бросились ко всем униженным и обойденным, ко всем не получившим доли в новой формуле всечеловеческого единения, провозглашенной французской революцией 1789 года. Они провозгласили свое уже новое слово, именно – необходимость всеединения людей уже не в виду распределения равенства и прав жизни для какой-нибудь одной четверти человечества, оставляя остальных лишь сырым материалом и эксплуатируемым средством для счастья этой четверти человечества, а напротив: всеединения людей на основаниях всеобщего уже равенства при участии всех и каждого в пользовании благами мира сего, какие бы они там ни оказались. Осуществить же это решение положили *всякими*⁴⁵⁶ средствами, т.е. отнюдь уж не средствами христианской цивилизации, и не останавливаясь

ни перед чем»⁴⁵⁷.

Если в Западной Европе непогрешимость человечества в принципе догматически санкционирована, то почему бы ею не воспользоваться любому европейцу? Главное, что человек по своей сути существо непогрешимое, значит, имеет право все свои проблемы и все мучения своего духа решать по своему разумению. Тем более, что Лик Богочеловека Христа, – это единственное непогрешимое руководство для человеческого существа, – искажен римокатолицизмом. Именно в этом – источник всех бед и заблуждений европейского человека. Вместо Христа европейский человек напридумывал бесчисленное количество теорий, идей, гипотез, иллюзий и упований. Среди них: материализм, атеизм и социализм. Прав Достоевский, когда говорит: «Римское католичество, предавшее давно уже Христа за земное владение, заставившее отвернуться от себя человечество и бывшее, таким образом, главнейшей причиной материализма и атеизма Европы, это католичество естественно породило в Европе и социализм. Ибо социализм имеет задачей разрешение судеб человечества уже не по Христу, а вне Бога и вне Христа, и должен был зародиться в Европе естественно, взамен упавшего христианского в ней начала, по мере извращения и утраты его в самой Церкви католической»⁴⁵⁸.

Когда люди заменяют Богочеловека «непогрешимым» человеком, то они, как следствие такой подмены, заменяют и Его Евангелие различными учениями. «Непогрешимый» имеет право на все. Если он положил себе целью основать всемирную монархию во главе с ним – «непогрешимым», то для осуществления этой цели приемлемы все средства, ибо на них «непогрешимый» дает свои санкции. Возможно все, возможны человеческие компромиссы, если они способствуют осуществлению цели. Союзник и соратник царя и властителя, «непогрешимый» примкнет к социалистам, когда это будет нужно. Пророческая истина, как набатный звон, слышна в словах Достоевского: «...Если папство когда-нибудь будет покинуто и отброшено правительствами мира сего, то весьма и весьма может случиться, что оно бросится в объятия социализма и соединится с ним воедино. Папа выйдет ко всем нищим пеш и бос и скажет, что все, чему они учат и хотят, давно уже есть в Евангелии, что до сих пор лишь время не наступило им про это узнать, а теперь наступило, и что он, папа, отдает им Христа и верит в муравейник. Римскому католичеству (слишком уж ясно это) нужен не Христос, а всемирное владычество: «Вам де надо единение против врага – соединитесь под моей властью, ибо я один всемирен из всех властей и властителей мира, и пойдем вместе»⁴⁵⁹.

Когда папизм потеряет поддержку властителей, он обратится к демосу, к народу. Достоевский пишет, что римокатолицизм обратится к народу, к тому самому народу, который римская Церковь веками высокомерно презирала, ранее угождая земным королям и царям. Теперь же католичество обратится к народу, ибо теперь уж не к кому будет обращаться, и обратится именно к вождям самого подвижного и мятежного элемента в народе – к социалистам. «Народу оно скажет, что все, что им проповедают социалисты, проповедал и Христос. Оно исказит и продаст им Христа еще раз, как продавало прежде столько раз за земное владение, отстаивая права инквизиции, мучившей людей за свободу совести во имя любящего Христа, – Христа, дорожающего лишь свободно пришедшим учеником, а не купленным и напуганным. Оно продавало Христа, благословляя иезуитов и одобряя праведность всякого средства для Христова дела»⁴⁶⁰. Все учение Христово свелось единственно к озабоченности о земном господстве и о будущем государственном властвовании во всем мире.

Когда католическое человечество отвернулось от того чудовищного образа, в котором им представили Христа, то после целого ряда веков протестов, реформации и проч. явились наконец с начала нынешнего столетия попытки устроиться вне Бога и вне Христа. Не имея инстинкта пчелы или муравья, безошибочно и точно создающих улей или муравейник, люди захотели создать нечто вроде человеческого безошибочного муравейника. Они отвергли происшедшую от Бога и Откровением возведенную человеку единственную формулу спасения его: «Возлюби ближнего, как самого себя» и заменили ее практическими выводами вроде: «Chacun pour soi et Dieu pour tous»⁴⁶¹ или научными аксиомами вроде «борьбы за существование». Не имея инстинкта животных, по которому те живут и устраивают жизнь свою безошибочно, люди гордо вознадеялись на науку, забыв, что для такого дела, как создать общество, наука еще все равно в пленках⁴⁶². Явились мечтания.

Будущая Вавилонская башня⁴⁶³ стала идеалом и, с другой стороны, страхом всего человечества. Но за мечтателями явились вскоре уже другие учения, простые и понятные всем, вроде: «*огрбить богатых, залить мир кровью, а там как-нибудь само собою все вновь устроится*»⁴⁶⁴. Наконец пошли дальше и этих учителей, явилось учение анархии, за которую, если б она могла осуществиться, наверно бы началось опять все сначала, как тысяч за десять лет назад. Католичество понимает все это отлично и сумеет соблазнить предводителей подземной войны. Оно скажет им: «У вас нет центра, порядка в ведении дела, вы – раздробленная по всему миру

сила, а теперь, с падением Франции, и придавленная. Я буду единением вашим и привлеку к вам и всех тех, кто в меня верует». Так или эдак, а соединение произойдет. Католичество умирать не хочет, социальная же революция в новый социальный период в Европе тоже несомненна: две силы несомненно должны согласиться, два течения – слиться. Разумеется, католичеству даже выгодно будет резня, кровь, грабеж и хотя бы даже антропофагия. Тут оно и может надеяться поймать на крючок в мутной воде еще раз свою рыбу, предчувствуя момент, когда наконец измученное хаосом и бесправицей человечество бросится к нему в объятия, и оно очутится вновь, но уже всецело и наяву, нераздельно ни с кем и единолично, «земным владыкою и авторитетом мира сего и тем окончательно уже достигнет цели своей»⁴⁶⁵.

Главную тайну отношения «непогрешимого» европейского человека к Богочеловеку Достоевский с пророческим ясновидением неподражаемо проанализировал в «Великом инквизиторе». Гениальный идеолог и прагматик римокатолицизма Великий инквизитор говорит Христу: «Мы исправили подвиг Твой и основали его на чуде, тайне и *авторитете*...»⁴⁶⁶. Рассердись, я не хочу любви Твоей, потому что сам не люблю Тебя. И что мне скрывать от Тебя? Или я не знаю, с Кем говорю? То, что имею сказать Тебе, все Тебе уже известно, я читаю это в глазах Твоих. И я скрою от Тебя тайну нашу? Может быть, Ты именно хочешь услышать ее из уст моих, слушай же: «Мы не с Тобою, а с ним, вот наша тайна. Мы давно уже не с Тобой, а с *ним*⁴⁶⁷, уже восемь веков. Ровно восемь веков назад⁴⁶⁸, как мы взяли от него то, что Ты с негодованием отверг, тот последний дар, который он предложил Тебе, показав Тебе все царства земные: мы взяли от него Рим и меч кесаря и объявили лишь себя царями земными, царями едиными, хотя и доньше не успели еще привести наше дело к полному окончанию... Долго еще ждать завершения его, и еще много выстрадает земля, но мы достигнем и будем кесарями, и тогда уже помыслим о всемирном счастье людей... Мы и взяли меч кесаря, а взяв его, конечно, отвергли Тебя и пошли за ним»⁴⁶⁹.

По Великому инквизитору, тайна социализма частично сокрыта в тайне римокатолицизма. Инквизитор говорит Христу: «О, пройдут еще века бесчинства свободного ума, их науки и антропофагии, потому что, начав возводить свою Вавилонскую башню без нас, они кончат антропофагией... Знаешь ли Ты, что пройдут века и человечество провозгласит устами своей премудрости и науки, что преступления нет, а стало быть, нет и греха⁴⁷⁰, а есть лишь только голодные. «Накорми, тогда и спрашивай с них добродетели!» – вот что напишут на знамени, которое

воздвигнут против Тебя и которым разрушится храм Твой. На месте храма Твоего воздвигнется новое здание, воздвигнется вновь страшная Вавилонская башня, и хотя и эта не достроится, как и прежняя, но все же Ты бы мог избежать этой новой башни и на тысячу лет сократить страдания людей, – ибо к нам же ведь придут они, промучившись тысячу лет со своей башней! Они отыщут нас тогда опять под землей, в катакомбах, скрывающихся (ибо мы будем вновь гонимы и мучимы), найдут нас и возопиют к нам: «Накормите нас, ибо те, которые обещали нам огонь с небеси, его не дали». И тогда мы и достроим их башню, ибо достроит тот, кто накормит, а накормим лишь мы, во имя Твое, и солжем, что во имя Твое»⁴⁷¹. И чтобы уж совсем заполучить их, «мы дадим им тихое, смиренное счастье, счастье слабосильных существ, какими они и созданы... О, мы разрешим им и грех, ибо они слабы и бессильны, и они будут любить нас, как дети, за то, что мы им позволим грешить. Мы скажем им, что всякий грех будет искуплен, если сделан будет с нашего позволения; позволяем же им грешить потому, что их любим... Самые мучительные тайны их совести, – все, все понесут они нам, и мы все разрешим»⁴⁷².

Одна и та же таинственная, темная сила действует и в творцах человекобога, и в идеологах европейского «непогрешимого» человека; в глубинах этой силы таится мрачный дух зла и уничтожения, окончательной целью которого является устранение Богочеловека и замена Его «непогрешимым» человеком, человекобогом. Для Достоевского это очевидная и неоспоримая аксиома. Он придерживался этого мнения до конца своей жизни. В своем «исповедании веры» (profession de foi) он изрекает окончательный суд о римокатолицизме. Он говорит: «На Западе Христос померк, когда сама Церковь западная исказила образ Христов, преобразившись из Церкви в римское государство и воплотив его вновь в виде папства. Да, на Западе воистину уже нет христианства и Церкви⁴⁷³, хотя и много еще есть христиан, да и никогда не исчезнут⁴⁷⁴. Католичество воистину уже не христианство и переходит в идолопоклонство, а протестантизм исполинскими шагами переходит в атеизм и в зыбкое, текущее, изменчивое (а не вековечное) нравоучение»⁴⁷⁵.

В человеческом мире нет никакой хотя бы приблизительно равной ценности, которая хоть как-то смогла бы собою заменить Богочеловека Христа. Во всех сферах человеческой жизни Он абсолютно незаменим. Все истинные ценности от Него исходят и в Нем же завершаются. Если человеческий разум желает без Него или помимо Него разрешить какую-

либо проблему, он неминуемо провалится в бездны нигилизма или в хаос анархизма. И из-за того, что в Западной Европе Богочеловек заменен человеком, именно из-за этого европейское человечество пребывает в хаосе, единственным выходом из которого служат: революции, анархии, тирания, резня, людоедство и убийства. То, что не создается на Богочеловеке, разрушается само по себе. Исполненное гордым духом грандомании человекобожества, минированное разрушительным элементом самозванной «непогрешимости» тело Европы должно взорваться и рассеяться в прах и пепел.

Это Достоевский пророчески предощущал и в 1880 году писал: «Европа накануне падения, повсеместного, общего и ужасного. Муравейник, давно уже созидавшийся в ней, без Церкви и без Христа (ибо Церковь, замутив идеал свой, давно уже и повсеместно перевоплотилась там в государство), с расшатанным до основания нравственным началом, утратившим все общее и все абсолютное, – этот созидавшийся муравейник, говорю я, весь подкопан. Грядет четвертое сословие, стучится и ломится в дверь, и если ему не отворят, сломает дверь. Не хочет оно прежних идеалов, отвергает всяк доселе бывший закон. На компромисс, на уступочки не пойдет, подпорочками не спасете здания. Уступочки только разжигают, а оно хочет всего. Наступит нечто такое, чего никто и не мыслит⁴⁷⁶. Все эти парламентаризмы, все исповедуемые теперь гражданские теории, все накопленные богатства, банки, науки, евреи, – все это рухнет в один миг и бесследно... Все это «близко, при дверях». Вы смеетесь? Блаженны смеющиеся. Дай Бог вам веку, сами увидите. Удивитесь тогда. Вы скажете мне, смеясь: «Хорошо же вы любите Европу, коли так ей пророчите». А я разве радуюсь? Я только предчувствую, что подведен итог. Окончательный же расчет, уплата по итогу, может произойти даже гораздо скорее, чем самая сильная фантазия могла бы предположить. Симптомы ужасные. Уж одно только стародавнее-неестественное политическое положение европейских государств может послужить началом всему. Да и как бы оно могло быть естественным, когда неестественность заложена в основании их и накоплялась веками? Не может одна малая часть человечества владеть всем остальным человечеством, как рабом, а ведь для этой единственной цели и слагались до сих пор все⁴⁷⁷ гражданские (уже давно не христианские) учреждения Европы, теперь совершенно языческой. Эта неестественность и эти «неразрешимые» политические вопросы (всем известные, впрочем) намеренно должны привести к огромной, окончательной, разделочной политической войне, в которой все будут замешаны и которая разразится в

нынешнем еще столетии, может, даже в наступающем десятилетии... В Европе, в этой Европе, где накоплено столько богатств, все гражданское основание всех европейских наций – все подкопано и, может быть, завтра же рухнет на веки веков, а взамен наступит нечто неслыханно новое, ни на что прежнее не похожее. И все богатства, накопленные Европой, не спасут ее от падения, ибо «в один миг исчезнет и богатство...» И никогда еще Европа не была начинена такими элементами вражды, как в наше время. Точно все подкопано и начинено порохом и ждет только первой искры...»⁴⁷⁸

С бесконечным сожалением и трогательным соучастием Достоевский пишет в 1871 году из Дрездена своему приятелю Страхову: «Люди пишут и пишут, но упускают из вида то, что самое главное. На Западе Христа потеряли (по вине католицизма), и оттого Запад падает, единственно от того»⁴⁷⁹.

Пророчество Достоевского о Европе постепенно исполняется на наших глазах. Европейское человечество, ведомое духом гуманистической, тщеславной «непогрешимости», катится стремглав из тьмы во тьму, из ночи в ночь, пока не ввергнется в мрачную, вечную ночь, после которой не наступит заря. И в этой ночи человек не увидит своего бессмертного брата, ибо это возможно только в свете печального и чудесного Богочеловека Христа...

В «Братьях Карамазовых» мудрый старец Зосима так говорит: «В Европе во многих случаях Церквей уже нет вовсе, а остались лишь церковники и великолепные здания Церквей, сами же Церкви давно уже стремятся там к переходу из низшего вида, как Церковь, в высший вид, как государство, чтобы в нем совершенно исчезнуть. Так, кажется, по крайней мере, в лютеранских землях. В Риме же так уже тысячу лет вместо Церкви провозглашено государство» (с.78).

«Над всей Европой уже несомненно носится что-то роковое, страшное и, главное, близкое» (там же, с.301).

Тайна России

«Непогрешимому» человекобогу Европы противостоит Богочеловек Христос. Воображаемая человеческая непогрешимость создает ужасные людоедские миры, в которых все завершается хаосом и анархией. А благой Богочеловек восстанавливает полную гармонию человека с Богом, человека с человечеством, человека со всеми Божьими мирами. Поэтому Он единственный оправдывает перед людьми Бога, создавшего такой мир и такую жизнь. Поэтому и мятежный дух Достоевского нашел в Его чудесной Личности полное упокоение за все свои мучения, нашел в нем полное разрешение всех своих проблем. Этому дивному Лику Христа он пропел свои гимны, пропел величания, которых мир не слышал.

Через Богочеловека измученный Достоевский принял и Бога, и мир, примирился и с Богом, и с миром, нашел вечный смысл и вечную ценность всего сущего. Поэтому для него Лик Богочеловека Христа – все и вся. А поскольку этот Лик сохраняется в первоизданном совершенстве и чистоте только в Православии, то для него Православие – все и вся. Он неустрашимо исповедует Православие, смело борется за него. А в конце своей жизни он отчетливо формулирует свое мировоззрение и вырабатывает формулу миссии русского народа в мировой истории. Эта формула гласит: «Православие есть – все». Вот что говорит Достоевский: «Русский народ живет только Православием и его идеями; кроме Православия в нем нет ничего другого и ничего ему не нужно, потому что Православие все, Православие – это Церковь, Церковь же – это венец всего, притом в вечности»⁴⁸⁰.

Для рода людского нет ничего более опасного, чем обоготворяющая непогрешимость европейского человека. Наша планета не видела более отвратительного бога, чем европейский человекобог. Поэтому гордому человекобогу Европы надо противопоставить православного Богочеловека Христа. «Надо, чтобы воссиял в ответ Западу, – говорит Достоевский, – наш Христос, Которого мы сохранили и Которого они не знали»⁴⁸¹. «Самое удивительное чудо нашей планеты, вечный ее смысл, вечная ее радость, вечное ее утешение – Христов Лик, потерянный на Западе, Который во всем свете Своей чистоты сохранился в Православии»⁴⁸², поэтому измученному человеку и человечеству ничто другое и не требуется, ибо Православие – это все⁴⁸³. Тайны, как людям достичь совершенства и братства и как решить личные и общественные проблемы, при этом не соблазнившись ни человеком, ни Богом – содержатся в

Православии. При этом метод один: личное самоусовершенствование по Христу и во Христе⁴⁸⁴.

По убеждению Достоевского, непреходящую ценность русского народа составляет Православие. Это – самое великое, самое святое и самое лучшее в нем. Россия велика тем, что обладает драгоценностью над драгоценностями – Православием. В Православии – вся истина, достаточная и вечная для всех Божьих миров. «Россия несет внутри себя драгоценность, которой нет нигде больше – Православие, что она – хранительница Христовой истины, но уже истинной истины, настоящего Христова образа, затемнившегося во всех других верах и во всех других народах»⁴⁸⁵. Образом Христа предопределена судьба России.

Достоевский говорит: «Может быть, главнейшее предызбранное назначение народа русского в судьбах человечества и состоит лишь в том, чтобы сохранить у себя этот Божественный образ Христа во всей чистоте, а когда придет время – явить этот образ миру, потерявшему пути свои»⁴⁸⁶, потому что только в Православии и истина и спасение русского народа, а в будущем и всего человечества⁴⁸⁷.

Европейский Запад все истины и все правды сводит к человеку и гордится человеком; Достоевский все сводит к Богочеловеку и гордится Богочеловеком. Он говорит: «Разве дух Христов не присутствует в нашем народе – темном, но добром, невежественном, но не варварском. Да, Христос его сила, наша русская сила»⁴⁸⁸. «В народе бесспорно сложилось и укрепилось даже такое понятие, что вся Россия для того только и существует, чтобы служить Христу и оберегать от неверных все вселенское Православие»⁴⁸⁹. «Суть русского призвания заключается в открытии русского Христа миру, Христа, не известного миру, но сохраненного в нашей православной Церкви. По моему мнению, в этом вся суть нашей мощной будущей цивилизации и воскресения из мертвых всей Европы; в этом вся суть нашей мощной жизни в будущем»⁴⁹⁰.

«Образ Христов храним, и воссияет как драгоценный алмаз всему миру»⁴⁹¹. «Мы несем миру только то, что мы можем ему дать, и вместе с тем, то, что ему единственно необходимо – Православие, истинное и сильное, вечное исповедание Христа и полное обновление моральное... От нас выйдут Илья и Енох на борьбу с антихристом, с духом Запада, воплотившемся на Западе»⁴⁹².

«Народ русский в огромном большинстве своем – православен и живет идеей Православия в полноте, хотя и не понимает эту идею ответчиво и научно. В сущности⁴⁹³, в народе нашем кроме этой «идеи» и нет никакой, и все из нее одной и исходит, по крайней мере, народ наш

так хочет, всем сердцем своим и глубоким убеждением своим. Он именно хочет, чтоб все, что есть у него и что дают ему, из этой лишь одной идеи и исходило. И это несмотря на то, что многое у самого же народа является и выходит до нелепости не из этой идеи, а смрадного, гадкого, преступного, варварского и греховного. Но и самые преступник и варвар хотя и грешат, а все-таки молят Бога в высшие минуты духовной жизни своей, чтоб пресекался грех их и смрад и все бы выходило опять из той излюбленной «идеи» их»⁴⁹⁴. «Все народные начала у нас сплошь вышли из Православия»⁴⁹⁵. «Русская вера, русское Православие есть все, что только русский народ считает за свою святыню; в ней его идеалы, вся правда и истина жизни»⁴⁹⁶

Основополагающая истина в Православии следующая: в мире земных реалий существует только категория человеческой жизни, человеческой мысли и человеческой деятельности, которая обеспечивает полное развитие личности человека и человеческого общества до Божественного совершенства – это Богочеловек Христос. Он является идеальным и конкретным примером для человека, одновременно Он и божественная сила, которая все человеческое в человеке преобразует в богочеловеческое, а общество людей – в богочеловеческое общество. Сам по себе человек является незаконченным и несовершенным существом. Все в нем завершается, доделывается и совершенствуется только через Богочеловека. По сути своей природы человек является существом, тянущимся ко Христу, ибо Богочеловек – единственная истинная цель человека. Истоки онтологии и феноменологии Православия находятся в Богочеловеке. Все, что не от Богочеловека и не по Богочеловеку, не является православным. Мерилом может стать следующее: православно только то, что богочеловечно, и наоборот: богочеловечно только то, что православно. А все остальное, то, что исходит от человека, от «чистого» человека или от «непогрешимого» человека, разрушает человеческое существо, ввергает его в небытие.

Только духовное общение человека с Богочеловеком наделяет человека Божественной бесконечностью. Переживая в себе жизнь Богочеловека, мысля через Богочеловека, человек, тем самым, преодолевает все относительное в себе, все поверхностное, все конечное и движется к Божественным высотам, глубинам, к бесконечности. Упражняясь в богочеловеческих добродетелях, человек все Божие ощущает как свое. Или, лучше сказать, Бог становится для человека первой и самой непосредственной действительностью. И человек судит о мире и людях через Бога и по Богу. И тогда через все человеческое существо

струится вечная богочеловеческая любовь, и радость, и молитва, и истина, и правда, и кротость, и милосердие. Путь Православия – это путь богочеловеческий в противоположность пути гуманистическому, европейскому, римокатолико-протестантскому, человеческому. Для Православия вечно живая Личность Богочеловека Христа является высшей ценностью и высшим мерилем всех ценностей во всех мирах, поэтому Православие и носит на всем печать и Лик Богочеловека, а не человека и не человекобога.

Овладеть человеком и человечеством с помощью любых средств является целью римокатолицизма, в то время как цель Православия – овладеть человеком и человечеством исключительно с помощью богочеловеческих средств. Достоевский провидчески осознает это, ибо он до дна разглядел трагизм римокатолицизма и драматизм Православия. Поэтому в Православии он видит единственный путь к верному решению всех проблем: личных и общественных. Путь «непогрешимого» человека ведет к гордому и насильственному властвованию над всеми, путь же Православия – в смиренном и кротком служении всем. Достоевский благовествует: «Истинная сущность Православия – во всеслужении человечеству, к чему оно предназначено»⁴⁹⁷. Все другие народы в большей или меньшей мере живут для себя и в себе, а «мы, – говорит Достоевский, – начнем с того, что станем слугами для всеобщего примирения. И это вовсе не позорно, напротив, в этом величие наше, потому что все это ведет к окончательному единению человечества. Кто хочет быть выше всех в Царстве Божиим – стань всем слугой. Вот как я понимаю русское предназначение в его идеале»⁴⁹⁸. «Станем слугами, чтобы быть старшинами»⁴⁹⁹, – говорит князь Мышкин, который воистину смиренно и кротко служит всем и каждому.

Евангельский, православный восточный идеал – это «идеал совершенного духовного единения людей во Христе»⁵⁰⁰. К нему идут дорогами исключительно евангельскими, богочеловеческими, православными. По непоколебимому убеждению Достоевского, у Православия есть все, что необходимо для осуществления этого идеала. Это может вызвать у некоторых недоумение, а у некоторых насмешку. И, желая ответить на это, он говорит: «К чему играть в слова, скажут мне: что такое это Православие? И в чем тут особенная такая идея, особенное право на единение народностей? И не тот же ли это чисто политический союз, как и все прочие подобные ему, хотя бы и на самых широких основаниях, вроде как Соединенные Американские Штаты, или, пожалуй, даже еще шире? Вот вопрос, который может быть задан; отвечу и на него. Нет, это

будет не то, и это не игра в слова, а тут действительно будет нечто особое и неслыханное, это будет не одно лишь политическое единение и уж совсем не для политического захвата и насилия, – как и представить не может иначе Европа; и не во имя лишь торгашества, личных выгод и вечных и все тех же обоготворенных пороков под видом официального христианства, которому на деле никто, кроме черни, не верит. Нет, это будет настоящее воздвижение Христовой истины, сохраняющейся на Востоке, настоящее воздвижение Креста Христова и окончательное слово Православия, во главе которого давно уже стоит Россия. Это будет именно соблазн для всех сильных мира сего и торжествовавших в мире доселе, всегда смотревших на подобные ожидания с презрением и насмешкою и даже не понимающих, что можно серьезно верить в братство людей, во всепримирение народов, в союз, основанный на началах всеслужения человечеству и, наконец, на самое обновление людей на истинных началах Христовых. И надо верить в это «новое слово», которое может сказать во главе объединенного Православия миру Россия. Если оно есть «утопия», достойная лишь насмешки, то пусть и меня причислят к этим утопистам, а смешное я оставлю при себе»⁵⁰¹.

Православие – носитель и хранитель пресветлого образа Христова и всех богочеловеческих сил – и есть то «новое слово», которое Россия во главе православного славянства должна сказать миру. Для Достоевского формулой и девизом русского и славянского будущего является Православие и «православное дело». А что такое Православие и «православное дело»? «Это вовсе не какая-нибудь лишь обрядовая церковность, а с другой стороны, вовсе не какой-нибудь *fanatismus religius* (как уже и начинают выражаться об этом всеобщем теперешнем движении русском в Европе), а что это именно есть прогресс человеческий и всеочеловечение человеческое, так именно понимаемое русским народом, ведущим все от Христа, воплощающим все будущее свое во Христе и во Христовой истине и не могущим и представить себя без Христа»⁵⁰². «Величайшее из величайших назначений, уже созданных русскими в своем будущем, есть назначение общечеловеческое, есть общеслужение человечеству, – не России только, не общеславянству только, но всечеловечеству»⁵⁰³.

Всеочеловеческую роль Достоевский приписывает русскому народу не потому, что он русский, но потому, что православный. Ибо, будучи православным, он свято и богобоязненно сохраняет Лик Христов, Который дарует ему богочеловеческую любовь и силу для духовного единения со всеми народами и для радостного евангельского служения всем людям.

Для Достоевского главное и не народ, но Церковь, народ же важен настолько, насколько он в лоне Церкви и насколько живет Христом и ради Христа. Церковь – совесть народа, она должна овладеть душой народа с помощью чудесного и чудотворного Лица Христова. Для Достоевского Православная Церковь – это то «социальное слово», которое должно быть сказано миру русским народом, ибо она (Церковь) является совершенным и незаменимым идеалом. «Если мы захотим одним словом выразить социальный идеал Достоевского, то это не будет слово – народ, но будет – Церковь»⁵⁰⁴, – по праву говорит ближайший друг Достоевского философ Владимир Соловьев.

Достоевский никогда не идеализировал русский народ, и еще менее поклонялся ему как идолу. Он всегда беспристрастно подчеркивал и его отрицательные особенности. Будучи мудро объективным, он не преувеличивал его положительные стороны, умаляя отрицательные, но их правильно различал и отделял одни от других. «В русском человеке из простонародья нужно уметь отвлекать красоту его от наносного варварства. Обстоятельствами всей почти русской истории народ наш до того был предан разврату и до того был развращаем, соблазняем и постоянно мучим, что еще удивительно, как он дожил, сохранив человеческий образ, а не то, что сохранив красоту его. Но он сохранил и красоту своего образа. Кто истинный друг человечества, у кого хоть раз билось сердце по страданиям народа, тот поймет и извинит всю непроходимую наносную грязь, в которую погружен народ наш, и сумеет отыскать в этой грязи брильянты. Судите русский народ не по тем мерзостям, которые он так часто делает, а по тем великим и святым вещам, по которым он и в самой мерзости своей постоянно воздыхает. А ведь не все же и в народе – мерзавцы, есть прямо святые, да еще какие: сами светят и всем путь освещают!.. Судите наш народ не потому, что он есть, а потому, чем желал бы стать. А идеалы его сильны и святы, и они-то и спасли его в века мучений, они срослись с душой его искони и наградили ее навеки простодушием и честностью, искренностью и широким всеоткрытым умом, и все это в самом привлекательном, гармоническом соединении. А если притом и так много грязи, то русский человек и тоскует от нее более сам, и верит, что все это – лишь наносное, наваждение дьявольское, что кончится тьма и что непременно воссияет когда-нибудь вечный свет»⁵⁰⁵.

Народ сохранил красоту своего духовного лика, имея такие идеалы, как: св. Сергия Радонежского, св. Феодосия Печерского, св. Тихона Задонского и им подобных святителей⁵⁰⁶. Кроме того, в народной душе

глубоко укоренено пламенное ощущение своей всегрешности, ответственности перед всеми, которое выливается в непрестанный подвиг покаяния и совершенствования себя по образу Христову⁵⁰⁷. Все, о чем народ страстно вздыхает в тоске своей, всю истину, правду и спасение он находит в Православии, а поэтому ему ничего другого и не нужно⁵⁰⁸.

Такое народолюбие Достоевского вызвало бурную реакцию со стороны той части русской интеллигенции, которая духовно формировалась на началах западноевропейского гуманизма, который величие человека строит на умалении Бога. Этим в особенности отличался Градовский, который подверг острой критике знаменитую «Речь о Пушкине» Достоевского. Достоевский ответил ему своим «исповеданием веры» (profession de Foi) в последней тетради своего «Дневника». Он пишет об этом в одном из своих писем: «Решил написать еще одну главу в «Дневнике» как profession de foi для Градовского. Всю душу вложил в эту статью, она вылилась в два печатных листа»⁵⁰⁹.

Это «исповедание веры» Достоевского имеет решающее значение для правильной оценки его понимания Европы и России. Здесь он открыл «всю свою душу», которую прикровенно являл в различных персонажах в своих романах. Это «исповедание веры» Достоевского заслуживает более подробного изложения, с целью сопоставления с его ранними идеями на ту же тему.

Прежде всего, Градовский утверждает, что всякий русский человек, пожелавший сделаться просвещенным, непременно получит это просвещение из западноевропейского источника, за полнейшим отсутствием источников русских. «Сказано, конечно, игриво, – отвечает Достоевский Градовскому, – но вы произнесли и важное слово: «просвещение». Позвольте же спросить, что вы под ним разумеете: науки Запада, полезные знания, ремесла или просвещение духовное? Первое, т.е. науки и ремесла, действительно не должны нас миновать и уходить нам от них действительно некуда, да и незачем. Согласен тоже вполне, что неоткуда и получить их, кроме как из западноевропейских источников, за что хвала Европе и благодарность наша ей вечная. Но ведь под просвещением я разумею (думаю, что и никто не может разуметь иначе), то, что буквально уже выражается в слове «просвещение», т.е. свет духовный, озаряющий душу, просвещающий сердце, направляющий ум и указующий ему дорогу жизни. Если так, то позвольте вам заметить, что такое просвещение нам нечего черпать из западноевропейских источников за полнейшим присутствием (а не отсутствием) источников русских»⁵¹⁰.

Без сомнения, Христос – истинный Свет, и в Свете этом

просветлением является просвещение. Он Собою освещает и тем самым просвещает. Где Он – там и свет, там и просвещение. Свет этот освещает всю тьму жизни и смерти, свет, который просветляет и ум, и сердце, и душу вечной Божественной просветленностью. И поэтому Христов человек знает, в чем вечный смысл жизни и всего мира, знает, для чего создан, ради чего живет в этом мире и для чего переходит из этого мира в другой. «Я утверждаю, – говорит Достоевский, – что наш народ просветился уже давно, приняв в свою суть Христа и учение Его. Мне скажут: он учения Христова не знает, и проповедей ему не говорят, – но это возражение пустое: все знает, все то, что именно нужно знать, хотя и не выдержит экзамена из катехизиса. Научился же в храмах, где веками слышал молитвы и гимны, которые лучше проповедей. Повторял и сам пел эти молитвы еще в лесах, спасаясь от врагов своих, в Батыево нашествие еще, может быть, пел: «Господи сил, с нами буди!» И тогда-то, может быть, и заучил этот гимн, потому что кроме Христа у него тогда ничего не оставалось, а в нем, в этом гимне, уже в одном вся правда Христова. И что в том, что народу мало читают проповедей?.. Зато выйдет поп и прочтет: «Господи Владыко живота моего», – а в этой молитве – *вся суть христианства*⁵¹¹, весь его катехизис, а народ знает эту молитву наизусть. Знает тоже он наизусть многия из житий святых, пересказывает и слушает их с умилением. Главная же школа христианства, которую он прошел – это века бесчисленных и бесконечных страданий, им вынесенных за всю историю, когда он, оставленный всеми, попраный всеми, работающий на всех и на вся, оставался лишь с одним Христом – Утешителем, Которого и принял тогда в свою душу навеки, и Который за то спас от отчаяния его душу! Впрочем, что же вам это все говорю? – обращается Достоевский к Градовскому. – Неужто я вас убедить хочу? Слова мои покажутся вам, конечно, младенческими, почти неприличными, Но повторяю в третий раз: не для вас пишу. Да и тема эта важная, о ней надо особо и много еще сказать, и буду говорить, пока держу перо в руках, а теперь выражу мою мысль лишь в основном положении: если наш народ просвещен уже давно, приняв в свою суть Христа и Его учение, то вместе с Ним, с Христом, уж, конечно, принял и *истинное*⁵¹² просвещение». ⁵¹³.

В 1873 году Достоевский писал: «Говорят, русский народ плохо знает Евангелие, не знает основных правил веры. Конечно, так, но Христа он знает и носит в своем сердце искони. В этом нет никакого сомнения. Как возможно истинное представление Христа без учения о вере? – Это другой вопрос. Но сердечное знание Христа и истинное представление о Нем существует вполне. Оно передается из поколения в поколение и слилось с

сердцами людей. Может быть, единственная любовь народа русского есть Христос, и он любит образ Его по-своему, то есть до страдания. Названием же православного, то есть истиннее всех исповедующего Христа, он гордится более всего!»⁵¹⁴.

Люди с гуманистическими воззрениями на мир и жизнь никак не могут проникнуть в психологические и онтологические глубины русского православного народа. Боясь всего непознанного и всего того, что не вмещается в категорию рационального и логического по понятиям «непогрешимого» европейца, они всякое более глубокое проявление веры считают или непросвещенностью, или притворством. Они в русском народе видят грубую, черную массу, которая всегда себя называла христианской, но не имеет понятия ни о религии, ни о Христе, и даже не знает самых обычных молитв. В связи с таким мнением европеизированной русской интеллигенции Достоевский отвечает: «...И не подозревают они, что народ наш, хотя и не знает молитв, но суть христианства, но дух и правда его сохранилась и укрепилась в нем так, как, может быть, ни в одном из народов мира сего. Впрочем, атеист, или равнодушный в деле веры русский европеец и не понимает веры иначе, как в виде формалистики и ханжества. В народе же они не видят ничего подобного ханжеству, а потому и заключают, что он в вере ничего не смыслит, молится, когда ему надо, – доске, а в сущности, равнодушен и дух его убит формалистикой... Этот «развратный» и темный народ наш любит, однако же, смиренного и юродивого: во всех преданиях и сказаниях своих он сохраняет веру, что слабый и приниженный несправедливо и напрасно Христа ради терпящий, будет вознесен превыше знатных и сильных, когда раздастся суд и веление Божие. Народ наш любит тоже рассказывать и всеславное и великое житие своего великого, целомудренного и смиренного христианского богатыря Ильи-Муромца, подвижника за правду, освободителя бедных и слабых, смиренного и не превозносящегося, верного и сердцем чистого. И имея, чтя и любя такого богатыря, – народу ли нашему не веровать в торжество приниженных теперь народов и братьев наших на Востоке?»⁵¹⁵ Народ наш чтит память своих великих и смиренных отшельников и подвижников, любит рассказывать истории великих христианских мучеников своим детям. Эти истории он знает и заучил, я сам их впервые от народа услышал, рассказанные с проникновением и благоволением и оставшиеся у меня на сердце. Кроме того, народ ежедневно и сам выделяет из себя великих кающихся, идущих с умилением, раздав все имение свое, на смиренный и великий подвиг правды, работы и нищеты»⁵¹⁶. «Знает же народ Христа

Бога своего, может быть, еще лучше нашего, хоть, и не учился в школе. Знает, – потому что за много веков перенес много страданий и в горе своем всегда, с начала и до наших дней, слыхивал о Боге Христе своем от святых своих, работавших на народ и стоявших за землю русскую до положения жизни, от тех самых святых, которых чтит народ доселе, помнит имена их и у гробов их молится. Поверьте, что в этом смысле даже самые темные слои народа нашего образованы гораздо больше, чем вы в культурном вашем неведении о них предполагаете, а может быть, даже образованнее и вас самих»⁵¹⁷.

Отвечая Градовскому и другим русским европейцам, Достоевский решительно заявляет, что знает народную душу, его жизнь и его идеалы, и что в русском народе «христианство должно остаться *навсегда*⁵¹⁸ самую главною и жизненною основой просвещения его»⁵¹⁹. «...Я видел народ наш, я знаю его, – говорит Достоевский, – жил с ним довольно лет, ел с ним, спал с ним и сам к «злодеям причтен был»⁵²⁰, работал с ним настоящей мозольной работой в то время, когда другие, «умывающие руки в крови», либеральничая и похихикивая над народом, решали на лекциях и в отделении журнальных фельетонов, что народ наш «образа звериного и печати его». Не говорите же мне, что я не знаю народа! Я его знаю: от него я принял вновь в мою душу Христа, Которого узнал в родительском доме еще ребенком и Которого утратил было, когда преобразился в свою очередь в «европейского либерала»⁵²¹.

Мне кажется, что среди русских мыслителей и мудрецов нет такого человека, который бы так же, как Достоевский, всесторонне знал душу русского народа. Ему известны как его самые идеальные взлеты, так и его самые демонические падения. Он знал лучше, чем кто-либо, и ад и рай русской души, ибо он сходил в его ад и восходил в его рай. Если можно говорить о характере души, тогда можно сказать, что Достоевский проник в характер русской души. Он считал, что в основном существуют «два народных типа – в высшей степени изображающие нам весь русский народ в его целом. Это, прежде всего, забвение всякой мерки во всем (и, заметьте, всегда почти временное и преходящее, являющееся как бы наваждением). Это – потребность хватить через край, потребность в замирающем ощущении, дойдя до пропасти, свеситься в нее наполовину, заглянуть в самую бездну и – в частных случаях, но весьма нередких – броситься в нее, как ошалелому, вниз головой. Это – потребность отрицания в человеке, иногда самом не отрицающем и благоговеющем, отрицания всего, самой главной святыни сердца своего, самого полного идеала своего, всей народной святыни во всей ее полноте, перед которой

лишь благоговел и которая вдруг как будто стала ему невыносимым каким-то бременем. Особенно поражает та торопливость, стремительность, с которою русский человек спешит иногда заявить себя в иные характерные минуты своей или народной жизни, заявить себя в хорошем или поганом. Иногда тут просто нет удержу. Любовь ли, вино ли, разгул, самолюбие, зависть – тут иной русский человек отдается почти беззаветно, готов порвать все, отречься от всего: от семьи, обычая, Бога. Иной добрейший человек как-то вдруг может сделаться омерзительным безобразником и преступником, – стоит только попасть ему в этот вихрь, роковой для нас круговорот судорожного и моментального самоотрицания и саморазрушения, так свойственный русскому народному характеру в иные роковые минуты его жизни. Но зато с такой же силою, с такою же стремительностью, с такою же жаждою самосохранения и покаяния русский человек, равно как и весь народ, спасает себя сам и обыкновенно, когда дойдет до последней черты, т.е. когда уж идти больше некуда. Но особенно характерно то, что обратный толчок, толчок восстановления и самоспасения, всегда бывает серьезнее прежнего порыва – порыва отрицания и саморазрушения»⁵²².

Тайна всеславянства и всечеловечества

Над человеком простираются таинственные голубые своды, а под ним разверзаются грозные бездны неизвестного и вечного. В таком загадочном мире человек не может оставаться настоящим человеком, если свое существо не соединит с этой голубой бескрайностью неба и с таинственными безднами земли и если через артерии всех существ мира не проструится его кровь, чтобы соединиться с ними со всеми в сердце своем. Только так человек может почувствовать цельность своего существа, осознать себя как вселенское существо. Ибо во всех существах он находит частицу самого себя и в то же время понимает, что судьба каждого отдельного существа вплетается в его собственную судьбу. Все существа близки ему, он искренне разделяет все их чувства: их радости и печали, их взлеты и падения. В царстве сущего ему ничто не чуждо, существует нечто, что человека непреодолимо связывает со всем и всеми: все в нем и все во всем. Более того, он остро ощущает, что каким-то таинственным образом реально присутствует во всех людях и что все люди органически являются частью его существа: он плачет с плачущими, печалится с печалющимися, радуется с радующимися. Одним словом, для всех он – все. Но как, каким образом? Через Богочеловека Христа. Он (Христос), как разлив реки, несет душу человека ко всем сердцам, придавая ей всечеловеческую ширину и всечеловеческую глубину. И Христов человек ощущает себя как всечеловек, которому все человеческие существа близки как свои: свои в чувствованиях, свои в познании, свои в любви. Исчезают границы между ним (человеком) и ими (людьми), ибо воздействие Божественной силы Его вселюбви оттаивает лед сердец, подобно горячему солнцу, под лучами которого тает лед. Исполненный богочеловеческой любовью Христов человек всегда расположен ко всем, в каждом он видит своего бессмертного, Божественного брата и готов служить ему всем своим существом.

В славянском мире Достоевский является самым большим пророком и самым ревностным апостолом всеславянства. Славянская идея является одним из главных его пророчеств и одним из главных его благовестий. Богочеловеческий дух Православия нельзя загнать в узкое русло национализма, ибо своим всечеловеческим содержанием он (дух) тяготеет ко всеобщему единению людей во Христе и во имя Христа. Национализм, освященный и просвещенный Богочеловеком Христом, становится евангельским мостом ко Христову всечеловечеству. Только освященное и

просвещенное Христом славянство обретает свое непреходящее значение в мировой истории и через всеславянство ведет к всечеловечеству. Все, что является православным, стремится к одной цели: к братскому объединению всех людей посредством евангельской любви и жертвенного служения всем людям.

По мнению Достоевского, славянская идея в высшем смысле ее – это прежде всего есть жертва, потребность жертвы даже собою за братьев с тем, чтобы «основать впредь великое всеславянское единение во имя Христовой истины, т.е. на пользу, любовь и службу всему человечеству и защиту всех слабых и угнетенных в мире»⁵²³. «Всеединение славян – это не захват и не насилие, а ради всеслужения человечеству... В этом самоотверженном бескорыстии России – вся ее сила, так сказать, вся ее личность и все будущее русского назначения»⁵²⁴. Любое дело, мысль, слово и чувство, которыми человек смиряет себя и становится слугой своему слуге, «послужит основанием к будущему уже великолепному единению людей, когда не слуг будет искать себе человек и не в слуг пожелает обращать себе подобных людей, как ныне, а напротив, изо всех сил пожелает стать сам всем слугой, по Евангелию»⁵²⁵.

Для людей гуманистического, механического, римокатолического склада духа такое евангельское объединение людей во всечеловеческое братство представляется утопией, невозможным чудом на земле. Но для православного человека, обоженного и освященного Христом, такое объединение людей является не только горячим желанием веры и молитвы, но и необходимым евангельским ощущением жизни. Это одна из главных реалий, на которой стоит, существует и служит Христов человек в этом мире. Служение людям евангельской любовью, ради всебратского единения, не является мечтой для христианина в этом мире, но является насущной потребностью. Христоликий Зосима говорит: «И неужели сие мечта, чтобы под конец человек находил свои радости лишь в подвигах просвещения и милосердия, а не в радостях жестоких, как ныне, – в объядении, блуде, чванстве, хвастовстве и завистливом превышении одного над другим? Твердо верю, что нет и что время близко. Сменяются и спрашивают: когда же сие время наступит и похоже ли на то, что наступит? Я же мыслю, что мы со Христом это великое дело решим. И сколько же было идей на земле, в истории человеческой, которые даже за десять лет немислимы были и которые вдруг появились, когда приходил для них таинственный срок их, и проносились по всей земле? Так и у нас будет, и воссияет миру народ наш и скажут все люди: «камень, которые отвергли зиждущие, стал главою угла». А насмешников вопрошить бы

самих: есть ли у вас мечта, то когда же вы-то воздвигнете здание свое и устроитесь справедливо лишь умом своим, без Христа? Если же и утверждают сами, что они-то, напротив, и идут к единению, то воистину веруют в сие лишь самые из них простодушные, так что удивиться даже можно сему простодушию. Воистину у них мечтательной фантазии более, чем у нас. Мыслят устроиться справедливо, но, отвергнув Христа, кончат тем, что зальют мир кровью, ибо кровь зовет кровь, а извлекший меч погибнет мечом»⁵²⁶.

Божия любовь и Божия сила бдит над подвигами Христовых людей. Пусть их мало в мире, но за ними и рядом с ними стоит Тот, Который в мгновение ока малое претворяет в великое и слабое – в мощное. Пусть закваска всечеловеческой любви мала, но тут рядом чудотворный Христос, Который в короткое время может заквасить дух всех людей с тем, чтобы осуществить братское единение всех во Христе. «Истина, – утверждает святой старец Зосима, – в том, что теперь общество христианское пока еще само не готово и стоит лишь на семи праведниках; но как они не оскудевают, то и пребывает все же незыблемо, в ожидании своего полного преображения из общества, как союза почти языческого, во единую вселенскую и владычествующую Церковь. Сие и буди, буди, хотя бы и в конец веков, ибо лишь сему предназначено совершиться! И нечего смущать себя временами и сроками, ибо тайна времен и сроков в мудрости Божией, в предведении Его и в любви Его. И что по расчету человеческому, может быть, еще весьма отдаленно, то по предопределению Божьему, может быть, уже стоит накануне своего появления, при дверях. Сие последнее буди, буди»⁵²⁷.

Для души, живущей Христом, всечеловеческие устремления и ожидания совсем естественны и логичны. Все, что богочеловечно, то, по сути, всечеловечно. Ибо только в Богочеловеке все человеческое достигло своего Божественного совершенства. Все человеческое нашло в Нем свое бессмертие, свою вечность. Всякое всечеловеческое начало в человеке или в народе проистекает от Богочеловека опосредованно или прямым путем. Достоевский первый начал говорить о всечеловеке и всечеловечестве. Это его пророчество и его евангелие.

Вершиной пророческого вдохновения и апостольского благовещения Достоевского является его речь о Пушкине. Это воистину самое пророческое евангелие и самое евангельское пророчество о всечеловеке и о всечеловечестве. Согласно этому пророчеству и этому евангелию: «...Назначение русского человека есть, бесспорно, всеевропейское и всемирное. Стать настоящим русским, стать вполне русским, может быть,

и значит только стать братом всех людей, стать *всечеловеком*⁵²⁸, если хотите! О, это славянофильство и западничество наше есть одно только великое у нас недоразумение, хотя исторически и необходимое. Для настоящего русского Европа и удел всего великого арийского племени так же дороги, как и сама Россия, как и удел своей родной земли, потому что наш удел и есть всемирность, и не мечом приобретенная, а силой братства и братского стремления нашего к воссоединению людей. Если захотите вникнуть в нашу историю после петровской реформы, вы найдете уже следы и указания этой мысли, этого мечтания моего, если хотите, в характере общения нашего с европейскими племенами, даже в государственной политике нашей. Ибо что делала Россия во все эти два века в своей политике, как не служила Европе, может быть, гораздо больше, чем себе самой? Не думаю, чтоб от неумения лишь наших политиков это происходило. О, народы Европы и не знают, как они нам дороги! И впоследствии, я верю в это, мы, то есть, конечно, не мы, а будущие грядущие русские люди, поймут уже все до единого, что стать настоящим русским и будет именно значить: стремиться внести примирение в европейские противоречия уже окончательно, указать исход европейской тоске в своей русской душе, всечеловеческой и всеобъединяющей, вместить в нее с братскою любовью всех наших братьев, а в конце концов, может быть, и изречь окончательное слово великой, общей гармонии, братского окончательного согласия всех племен по Христову евангельскому закону!»⁵²⁹

В универсальности и всечеловечности гения Пушкина Достоевский видит художественное воплощение русского национального духа. А для русского народного духа характерны отзывчивость ко всему человеческому в людях: от малого до великого. «В европейских литературах, – говорит Достоевский, – были громадной величины художественные гении – Шекспиры, Сервантесы, Шиллеры. Но укажите хоть на одного из этих великих гениев, который обладал бы такой способностью всемирной отзывчивости, как наш Пушкин. И эту-то способность, главнейшую способность нашей национальности, он именно разделяет с народом нашим, и тем, главнейшее, он и народный поэт. Самые величайшие из европейских поэтов никогда не могли воплотить в себе с такой силой гений чужого, соседнего, может быть, с ними народа, дух его, всю затаенную глубину этого духа и всю тоску призвания, как мог это проявить Пушкин. Напротив, обращаясь к другим, чужим народностям, европейские поэты чаще всего перевоплощали их в свою же национальность и понимали по-своему. Даже у Шекспира его итальянцы,

например, почти сплошь те же англичане. Пушкин лишь один из всех мировых поэтов обладает свойством перевоплощаться вполне в чужую национальность»⁵³⁰.

Сила, посредством которой человек соединяется с другим человеком и даже перевоплощается в его дух, – это любовь. Она сообщает человеку мощь перевоплощения в другие человеческие личности. Чем больше человек отдает, тем больше получает, ибо еще больше принимает. «Нет, положительно скажу, – говорит Достоевский, – не было поэта с такой всемирной отзывчивостью как Пушкин, и не в одной только отзывчивости тут дело, а в изумляющей глубине ее, в перевоплощении своего духа в дух чужих народов, перевоплощении почти совершенном, а потому и чудесном, потому что нигде ни в каком поэте целого мира такого явления не повторилось. Это только у Пушкина, и в этом смысле, повторяю, он явление невиданное и неслыханное, а по-нашему, и пророческое, ибо тут-то и выразилась наиболее его национальная русская сила, выразилась именно народность его поэзии, народность в дальнейшем своем развитии, народность нашего будущего, таящегося уже в настоящем, и выразилась пророчески. Ибо что такое сила духа русской народности, как не стремление ее в конечных целях своих ко всемирности и ко всечеловечности? Став вполне народным поэтом, Пушкин тотчас же, как только прикоснулся к силе народной, так уже и предчувствует великое грядущее назначение этой силы. Тут он угадчик, тут он пророк»⁵³¹.

«У нас, русских, – заявляет Достоевский, – две родины: наша Русь и Европа, даже и в том случае, если мы называемся славянофилами». «Величайшее из величайших назначений, уже осознанных русскими в своем будущем, есть назначение общечеловеческое, есть общеслужение человечеству, – и не России только, не общеславянству только, но всечеловечеству... Всечеловечность есть главнейшая личная черта и назначение русского»⁵³².

Всечеловечность, прежде всего, состоит в уважении человеческих ценностей, какому бы человеку или народу они ни принадлежали. Кроме того, всечеловечность заключается и в уважении человека, всякого человека как абсолютной и незаменимой ценности. Пронизанный всечеловеческой любовью, Достоевский говорит: «Мы хотим быть не русскими, а общечеловеками... Европа нам второе отечество, – я первый страстно исповедую это и всегда исповедовал. Европа нам почти так же всем дорога, как Россия, в ней все Афетово племя, а наша идея – объединение всех наций этого племени и даже дальше, гораздо дальше, до Сима и Хама. Как же быть?

Стать русскими, во-первых и прежде всего. Если общечеловечность есть идея национальная, русская, то прежде всего надо каждому стать русским, т.е. самим собой, и тогда с первого шага все изменится. Стать русскими значит перестать презирать народ свой... И действительно, чем сильнее и самостоятельнее развивались бы мы в национальном духе нашем, тем сильнее и более отозвались бы в европейской душе и, породнившись с нею, стали бы тотчас ей понятнее... Став самими собой, породнившись с нею, стали бы тотчас ей понятнее... Став самими собой, мы получили бы наконец облик человеческий, а не обезьяний. Мы получим вид свободного существа, а не раба, не лакея... Мы и говорить будем с ними умнее теперешнего, потому что в народе нашем и в духе его отыщем новые слова, которые уж непременно станут европейцам понятнее. Да и сами мы поймем тогда, что многое из того, что мы презирали в народе нашем, – есть не тьма, а именно свет, не глупость, а именно ум, а поняв это, мы непременно произнесем в Европе такое слово, которого там еще не слыхали. Мы убедимся тогда, что настоящее социальное слово несет в себе никто иной, как народ наш, что в идее его, в духе его заключается живая потребность всеединения человеческого, всеединения уже с полным уважением к национальным личностям и к сохранению их, к сохранению полной свободы людей и с указанием, в чем именно эта свобода и заключается, – в единении любви, гарантированном уже делом, живым примером, потребностью на деле истинного братства, а не гильотиной, не миллионами отрубленных голов»⁵³³.

Народы Европы все более и более и все упорнее и упорнее отделяются друг от друга своими правилами, нравственностью, взглядом на весь Божий мир... Во всем мире они замечают только самих себя, а других – как личное себе препятствие, и каждый отдельно у себя хочет совершить то, что могут совершить только все народы, все вместе, общими соединенными силами... «В большинстве своем все европейцы таковы, – считает Достоевский, – идея общечеловечности все более и более стирается между ними. У каждого из них она получает другой вид, тускнеет, принимает в сознании новую форму.

Христианская связь, до сих пор их соединявшая, с каждым днем теряет свою силу. Даже наука не в силах соединить все более и более расходящихся. Положим, они отчасти правы в том отношении, что эти-то исключительности, это взаимное соперничество, эта-то замкнутость от всех в самих себя, эта гордая надежда на себя одного – и придают каждому из них такие исполинские силы в борьбе с препятствиями на пути. Но тем самым эти препятствия все более и более увеличиваются и умножаются.

Вот почему европейцы совершенно не понимают русских, и величайшую особенность в их характере назвали безличностью». «Но с нами согласятся, по крайней мере, что в русском характере замечается резкое отличие от европейского, резкая особенность, что в нем по преимуществу выступает способность высоко синтетическая, способность всепримиримости, всечеловечности. В русском человеке нет европейской угловатости, непроницаемости, неподатливости. Он со всеми уживается и во все вживается. Он сочувствует всему человеческому вне различия национальности, крови и почвы. Он находит и немедленно допускает разумность во всем, в чем хоть сколько-нибудь есть общечеловеческого интереса, у него инстинкт общечеловечности. Он инстинктом угадывает общечеловеческую черту даже в самых резких исключительностях других народов»⁵³⁴.

Гениальное подтверждение этих мыслей о русском человеке Достоевский находит в Пушкине. Пушкин в своей художественной полноте – живое объяснение того, что такое русский дух, куда устремлены все его силы и каков именно идеал русского человека. «Мы поняли в нем, что русский идеал – всецелость, всепримиримость, всечеловечность»⁵³⁵.

Достоевский сознает, что ему из-за такого понимания русского народа и его исторического призвания можно предъявить различного рода претензии. Все это может показаться слишком самонадеянным. «Это нам-то, дескать, нашей-то нищей, нашей-то грубой земле такой удел? Это нам-то предназначено в человечестве высказать новое слово? Что же, разве я про экономическую славу говорю, про славу меча или науки? Я говорю лишь о братстве людей и о том, что ко всемирному, ко всечеловечески братскому единению сердце русское, может быть, изо всех народов наиболее предназначено, вижу следы сего в нашей истории, в наших даровитых людях, в художественном гении Пушкина. Пусть наша земля нищая, но эту нищую землю «в рабском виде исходил, благословляя Христос». Почему же не вместить последнего слова Его? Да и Сам Он не в яслях ли родился? Повторяю: по крайней мере, мы уже можем указать на Пушкина, на всемирность и всечеловечность его гения.

Ведь мог же он вместить чужие гении в душе своей как родные. В искусстве, по крайней мере, в художественном творчестве он проявил эту всемирность стремления русского духа неоспоримо, а в этом уже великое указание»⁵³⁶.

Печатаемая позже свое «Объяснительное слово о Пушкине», Достоевский говорит: «Не надо, не надо возмущаться сказанным мною: «что нищая земля наша, может быть, в конце концов, скажет новое слово миру».

Смешно тоже и уверять, что прежде, чем сказать новое слово миру, надобно нам самим развиться экономически, научно и гражданственно и только тогда мечтать о новых словах таким совершенным (будто бы) организмом, как народы Европы. Я именно напираю в моей речи, что и не пытаюсь равнять русский народ с народами западными в сферах их экономической славы или научной. Я просто только говорю, что русская душа, что гений народа русского, может быть, наиболее способны из всех народов вместить в себе идею всечеловеческого единения, братской любви, трезвого взгляда, прощающего враждебное, различающего и извиняющего несходное, снимающего противоречия. Это не экономическая черта, и никакая другая, это лишь *нравственная*⁵³⁷ черта, и может ли кто отрицать и оспорить, что ее нет в народе русском?» «Мы же утверждаем, что вмещать и носить в себе силу любящего и всеединяющего духа можно и при теперешней экономической нищете нашей, да и не при такой еще нищете как теперь: ее можно сохранять и вмещать в себе даже и при такой нищете, какая была после нашествия Батыева или после погрома Смутного времени, когда единственно всеединяющим духом народным была спасена Россия»⁵³⁸.

Тайна всеславянства – это евангельское служение всечеловечеству ради всеобщего единения всех людей во Христе. Тайна всечеловечества лежит во всечеловеке, который силой своей вселюбви находит в каждом человеке и в каждом народе вечные Божественные ценности и драгоценности. Тайна всечеловека – в Богочеловеке, Который Своим непреходящим Божественным совершенством украшает все человеческое, что содержится во всем человеческом мире.

Тайна европейского человека и славянского всечеловека

Все людское существо скрывает и хранит свою главную тайну в своем высшем идеале. Это относится и к европейскому человеку: его тайна в его идеале. Но какой же высший идеал европейского человека? Прежде всего, это самостоятельный и непогрешимый человек – человекобог. Все идеи и вся деятельность европейского человека пронизаны одним желанием и одним стремлением: стать независимым и самостоятельным, как Бог. По сути, над Европой властвует одно божество: непогрешимый человек – человекобог. В роскошном пантеоне Европы непогрешимый человек – верховное божество, остальные боги суть его производное или его отражение. «Непогрешимый» человек властвует и в европейской религии, и в европейской философии, и в европейской науке, и в европейской политике, и европейской технике, и в европейском искусстве, и во всей европейской культуре и цивилизации. Во всем – только человек, притом европейский человек, гордый и чванливо самодовольный и непогрешимый. Говоря об этом, я имею в виду европейского человека в целом, в его главной идее.

На другой стороне – славянский всечеловек. Его высший идеал, его главная тайна – всечеловеческое братство людей в Богочеловеке Христе. Во всех идеях и во всей деятельности славянского всечеловека можно усмотреть одну движущую силу: евангельскую любовь – вселюбовь. Ибо эта любовь по сути единственная сила, которая людей претворяет в братьев и соединяет их во всечеловеческое братство. Нет такого унижения, на которое бы не согласился славянский всечеловек, если это будет содействовать осуществлению всечеловеческого братства между людьми. Нет таких трудов и подвигов, на которые бы не согласился Христов человек, только бы они вели к цели: всечеловеческому братству. Служить каждому человеку и всем людям ради Христа – радость над радостями для славянского всечеловека-труженика. Его бессмертное желание: постоянно совершенствовать себя через Богочеловека, приобретая Его Божественные свойства, и поработать Богочеловеку всей своей душой, всем своим сердцем, всем своим помышлением, всеми своими силами. Здесь все, что является человеческим, находит свое бессмертие в богочеловеческом; здесь Богочеловек – все и вся для человека во всех мирах.

Проблематика европейского человека в конечном итоге исчерпывается римокатолицизмом и протестантством, которое всегда и во

всем, даже и в своих контрастах, лишь самый верный и самый последовательный соратник римокатолицизма. И первый, и второе исходят и все сводят к непогрешимости человека. Непогрешимый человек для них – это высшая ценность и высшее мерило всего во всех мирах. Проблематика славянского человека, в сущности, исчерпывается Православием. Здесь все исходит и все сводится к Богочеловеку. Нет такой идеи, такого чувства, такого дела, которые не были бы самым животрепещущим образом связаны с сердцем Богочеловека. Во всех всечеловеческих мирах существует одна высшая ценность и единственное высшее мерило – Богочеловек Христос.

Достоевский с апостольской убедительностью доказал точность двух своих тезисов: проблемы европейского Запада исчерпываются римокатолицизмом, а проблемы Востока – Православием. Изучив в исторической действительности западные идеи и методы решения проблем человеческой личности и человеческого общества, он отвергает римокатолицизм и его производные: атеизм, анархизм, социализм, науку, культуру, цивилизацию. Вначале римокатолицизм своей схоластикой, казуистикой и системой индульгенций механизировал человеческую личность до страшной бездушности, а затем дело римокатолицизма завершили его сателлиты и соратники: протестантство, социализм, атеизм, наука, культура. Социализм отрицает Божественную сущность и вечную ценность личности человека и сводит человека к телу. Разумеется, что тем самым он отнимает все то, что делает человека неприкосновенным существом и личностью. И человек становится вещью среди вещей. Как мировоззрение, как философия – социализм не признает личность и ее вечную ценность; он требует полного обезличивания. «Натура не берется в расчет, натура изгоняется, натура не полагается. У них не человечество, развившись историческим путем до конца, само собою обратится наконец в нормальное общество, а напротив, социальная система, выйдя из какой-нибудь математической головы, тотчас же устроит все человечество и в один миг сделает его праведным и безгрешным, раньше всякого живого процесса, без всякого исторического и живого пути! Оттого-то они так инстинктивно и не любят историю: «безобразия одни в ней да глупости» – и все одною только глупостью объясняется! Оттого так и не любят живого процесса жизни: *не надо живой души!*⁵³⁹ Живая душа жизни потребует, живая душа не послушается механики, живая душа подозрительна, живая душа ретроградна! А тут хоть и мертвечинкой припахивает, из каучука сделать можно, – зато не живая, зато без воли, зато рабская, не взбунтуется. И выходит в результате, что все на одну только кладку

кирпичиков, да на расположение коридоров и комнат в фаланстере свели! Фаланстера-то и готова, да натура-то у вас для фаланстеры еще не готова, жизни хочет, жизненного процесса еще не завершила, рано на кладбище! С одной логикой нельзя через натуру перескочить! Логика предугадает три случая, а их миллион! Отрезать весь миллион и все на один вопрос о комфорте свести! Самое легкое разрешение задачи! Соблазнительно ясно, и думать не надо! Главное – думать не надо! Вся жизненная тайна на двух печатных листках умещается!»⁵⁴⁰

Из-за того, что социализм не принимает во внимание бесконечную сложность человеческой природы, он, по мнению Достоевского, «является высочайшей клеветой на человеческую природу»⁵⁴¹. Герой романа «Подросток» говорит социалистам: «Скажите, чем докажете вы мне, что у вас будет лучше? Куда вы денете протест моей личности в вашей казарме? У вас будет казарма, общие квартиры, strict necessaire, атеизм и общие жены без детей, – вот ваш финал, ведь я знаю-с. И за все это, за ту маленькую часть серединной выгоды, которую мне обеспечит ваша разумность, за кусок и тепло вы берете взамен всю мою личность! Позвольте-с: у меня там жену уведут, уймете ли вы мою личность, чтоб я не разможил противнику голову? Вы скажете, что тогда я и сам поумнею; но жена-то, что скажет о таком разумном муже, если сколько-нибудь себя уважает? Ведь это неестественно-с; постыдитесь!»⁵⁴²

Противоестественным является желание создать новое общество из старого типа людей. А истина в том, что только лишь из обновленных, новых людей можно создать новое общество. Естественным будет такой закон: братство создается только из братьев. Надо прежде всего людей преобразить в братьев и только после этого требовать от них братства.

Всякий другой путь неестественен, потому что он является механическим и насильственным. Европейский человек желает братства, но не может его осуществить, так как сам создан на началах эгоистической самодостаточности, которая его все более и более делает одиноким, отдаляет от людей, и он, по сути, живет в мире, как в пустыне. «Западный человек, – говорит Достоевский, – толкует о братстве, как о великой движущей силе человечества, и не догадывается, что негде взять братства, коли его нет в действительности. Что делать? Надо сделать братство во что бы то ни стало. Но оказывается, что делать братство нельзя, потому что оно само делается, дается, в природе находится. А в природе западного человека это начало не существует, а существует начало личное, начало особняка, начало усиленного самосохранения, самопромышления, самоопределения в своем собственном Я,

сопоставления этого Я всей природе и всем остальным людям как самоправного отдельного начала, совершенно равного и равноценного всему тому, что есть кроме него. Ну, а из такого самопоставления не могло произойти братства. Почему? Потому что в братстве, в настоящем братстве, не отдельная личность, не Я должна хлопотать о правде своей равноценности со всем остальным, а все это остальное должно бы было прийти к этой требующей права личности, к этому отдельному Я, и само, без его просьбы, должно бы было признать его равноценным и равноправным себе, т.е. всему остальному, что есть на свете. Мало того, сама-то эта бунтующая и требующая личность прежде всего должна бы была все свое Я, всего себя пожертвовать обществу и не только не требовать своего права, но, напротив, отдать его обществу без всяких условий. Но западная личность не привыкла к такому ходу дела: она требует с бою, она требует права, она хочет делиться – ну и не выходит братства»⁵⁴³.

Человек становится братом для всех людей, когда создаст и разовьет в себе чувство любви и самопожертвования. Только на этом пути личность человека достигает полного совершенства и в каждом человеке через Христа чувствует и видит брата, ради которого нужно жертвовать и жизнь свою, и душу свою. Именно так создается настоящая личность. «Надо стать личностью, – говорит Достоевский, – даже гораздо в высочайшей степени, чем та, которая теперь определилась на Западе. Поймите меня: самовольное, совершенно сознательное и никем не принужденное самопожертвование всего себя на пользу всех есть, по-моему, признак высочайшего развития личности, высочайшего ее могущества, высочайшего самообладания, высочайшей свободы собственной воли. Добровольно положить свой живот за всех, пойти за всех на крест, на костер – это можно только сделать при самом сильном развитии личности.

Сильно развитая личность, вполне уверенная в своем праве быть личностью, уже не имеющая за себя никакого страха, ничего не может и сделать другого из своей личности, то есть никакого более употребления, как отдать ее всю всем, чтоб и другие все были точно такими же самоправными и счастливыми личностями. Это закон природы; к этому тянет нормального человека»⁵⁴⁴.

И добро, и зло слишком таинственные и сложные явления не только в самом человеке как в личности, но и в целом, в человечестве. И в зле, и в добре людском есть нечто древнее, праисконное. Его прасущность покрыта тьмой непознанного и темного. И люди решают проблемы добра и зла часто гадательно и предположительно.

«В Европе, – по мнению Достоевского, – проблема решается двояким образом. Первое решение: закон дан, написан, формулирован, составлялся тысячелетиями. Зло и добро определено, взвешено, размеры и степени определялись исторически мудрецами человечества, неустанной работой над душой человека и высшей научной разработкой над степенью единительной силы человечества в общежитии. Этому выработанному кодексу повелевается следовать слепо. Кто не последует, кто преступит его – тот платит свободой, имуществом, жизнью, платит буквально и бесчеловечно.

Другое решение обратное: так как общество устроено ненормально, то и нельзя спрашивать ответа с единиц людских за последствия. Стало быть преступник безответственен, и преступления пока не существует. Чтоб покончить с преступлениями и людскою виновностью, надо покончить с ненормальностью общества и склада его. Так как лечить существующий порядок вещей долго и безнадежно, да и лекарств не оказалось, то следует разрушить все общество и снести старый порядок как бы метлой. Затем начать все новое, на иных началах, еще неизвестных, но которые все же не могут быть хуже теперешнего порядка, напротив, заключают в себе много шансов успеха. Главная надежда на «науку». И так вот это второе решение: ждут будущего муравейника, а пока зальют мир кровью. Других решений о виновности и преступности людской западноевропейский мир не представляет»⁵⁴⁵.

Прозорливый апостол славянского всечеловечества более глубоко ощущает и более правильно решает проблемы добра и зла. Люди своими силами не могут решить эту проблему. Они могут это сделать, только будучи просвещенными, ведомыми и руководимыми Богом. «Ясно почти до очевидности, – думает Достоевский, – что зло томится в человечестве глубже, чем предполагают лекари социалисты, что ни в каком устройстве общества не избегнете зла, что душа человеческая останется та же, что ненормальность и грех исходят из нее самой, и что, наконец, законы духа человеческого столь еще неизвестны, столь неведомы науке, столь неопределенны и столь таинственны, что нет и не может быть еще ни лекарей, ни даже судей окончательных⁵⁴⁶, а есть Тот, Который говорит: «Мне отмщение и Аз воздам». Ему одному лишь известна вся тайна мира сего и окончательная судьба человека. Человек же пока не может браться решать ничего с гордостью своей непогрешимости, не пришли еще времена и сроки. Сам судья человеческий должен знать о себе, что он не судья окончательный, что он грешник сам, что весы и мера в руках его будут нелепостью, если⁵⁴⁷ сам он, держа в руках меру и весы, не

преклонится пред законом неразрешимой еще тайны и не прибегнет к единственному выходу – к милосердию и любви»⁵⁴⁸.

Наука непогрешимого европейского человека провозгласила принцип самосохранения главным принципом всей земной жизни. А это значит, что и основным принципом человеческой морали. Переводя этот принцип на язык более простой и понятный, можно сказать: когда речь идет о сохранении своей жизни, тут все дозволено: и преступление, и грех, и убийство, и разбой, и людоедство. «Наука говорит – ты не виноват, что природа тебя таким создала, и инстинкт самосохранения – прежде всего»⁵⁴⁹. Поэтому наука допускает, что ради самосохранения можно пожирать или сжигать новорожденных⁵⁵⁰. «По моему мнению, человечество вместе с наукой одичает и вымрет»⁵⁵¹.

Этому противостоит христианская мораль. Человек находится в непосредственной связи с Богом, дающим ему силу жить более возвышенной жизнью. В противовес инстинкту самосохранения христианство, как основу богочеловеческой морали, предлагает начала самопожертвования. Научная мораль приказывает: ради себя жертвуй другими! А христианская мораль заповедует: жертвуй собой ради других. «Из-за этого христианство само в себе содержит живую воду, только христианство может привести людей к источникам живой воды и уберечь их от пропасти и уничтожения. Без христианства человечество бы распалось и уничтожилось»⁵⁵². Единственно христианство может спасти человечество от одичания и самоуничтожения. В христианстве даже нехватка пищи и обогрева легче бы переносилась. Например, новорожденные не сжигались бы, но сами люди умирали бы за своих ближних⁵⁵³. Настоящий христианин никогда не будет жертвовать новорожденным ради своего самосохранения. Напротив, он охотно пожертвует собой, чтоб сохранить жизнь новорожденному.

Человек евангельской всечеловеческой любви не может строить свое счастье на несчастьи другого. «Но какое же может быть счастье, если оно основано на чужом несчастьи? Позвольте, – говорит Достоевский, – представьте, что вы сами возводите здание судьбы человеческой с целью в финале осчастливить людей, дать им наконец мир и покой. И вот, представьте себе тоже, что для этого необходимо и неминуемо надо замучить всего лишь одно человеческое существо, мало того, – пусть даже не столь достойное, смешное даже на иной взгляд существо, не Шекспира какого-нибудь, а просто честного старика, мужа молодой жены, в любовь которой он верит слепо, хотя сердца ее не знает вовсе, уважает ее, гордится ею, счастлив ею и покоен. И вот, только его надо опозорить,

обесчестить и замучить, и на слезах этого обесчещенного старика возвести ваше здание! Согласитесь ли вы быть архитектором такого здания на этом условии? Вот вопрос. И можете ли вы допустить хоть на минуту идею, что люди, для которых вы строили это здание, согласились бы сами принять от вас такое счастье, если в фундаменте его заложено страдание, положим, хоть и ничтожного существа, но безжалостно и несправедливо замученного, и, приняв это счастье, остаться навеки счастливым?.. Нет: чистая русская душа решает вот как: «пусть я одна лишусь счастья, пусть мое несчастье безмерно сильнее, чем несчастье этого старика, пусть, наконец, никто и никогда, и этот старик тоже, не узнают моей жертвы и не оценят ее, но не хочу быть счастливою, загубив другого»⁵⁵⁴.

Дух «непогрешимого» европейского человека является душой всей европейской культуры и цивилизации. Тут все построено на человеке как на фундаменте всего, и все выстроено ради человека как конечной цели всего. Тут нет места для Богочеловека. Потому Богочеловек и отброшен как лишний и ненужный. Европейский человек в своей гордой «непогрешимости» достаточен сам по себе в этой земной жизни. От Богочеловека он ничего не просит, а потому и не получает. Достоевский ставит вопрос: может ли европейский цивилизованный человек, т.е. европеец, вообще веровать в божественность Иисуса Христа, так как вся вера и состоит лишь в том, чтоб веровать в Его божественность? «На этот вопрос, – говорит Достоевский, – цивилизация целым рядом фактов отвечает – нет!»⁵⁵⁵

Цивилизации «непогрешимого» европейского человека надо противопоставить цивилизацию славянского всечеловека, которая, как на фундаменте, вся построена на Богочеловеке. «Надо, – утверждает любимый идеолог Достоевского князь Мышкин, – чтобы воссиял в отпор Западу наш Христос, Которого мы сохранили и Которого они не знали! Не рабски попадаясь на крючок иезуитам, а нашу русскую цивилизацию им неся...»⁵⁵⁶ «Мы только отвергаем, – пишет в своем «Дневнике» Достоевский, – исключительно европейскую форму цивилизации и говорим, что она нам не по примерке»⁵⁵⁷. Главное – сберечь самую большую драгоценность нашей планеты – Богочеловека Христа. А Он весь в Православии, во всем Своем Божественном совершенстве и со Своими вечными ценностями. «Чтобы сберечь Христа, т.е. Православие, – говорит Достоевский, – надо сберечь себя, стать самим собою. Дерево плодоносит тогда, когда разовьется и укрепитя. А потому и Россия должна осознать, какой драгоценностью она одна-единственная обладает, с тем, чтобы отбросить немецкое и западническое ярмо и стать самой собою с ясным

осознанием цели»⁵⁵⁸.

Спасение человека, в особенности европейского человека, от того отчаянного самоуничтожения, к которому ведет «непогрешимый» гуманизм, состоит в полном и всеусердном усвоении Богочеловека. Обоготворение человека – самая роковая болезнь, которой больна несчастная Европа. Исцелить эту болезнь может только один лекарь – Богочеловек и только одно лекарство – Православие. Во всех своих идеях и в делах Европа преклоняется перед человеком, она, по сути, человекоцентрична, Православие же во всем преклоняется перед Христом, и поэтому – христоцентрично. С одной стороны: тайна над тайнами – человек, а с другой – Богочеловек. Достоевский искренне мучится и одной и другой тайной, которые обе были ему близки: над одной он печалится и плачет, другой – радуется и восхищается. Когда он едет в Европу, он приходит туда не как судья, но как печальный ее богомолец. «Я хочу в Европу съездить, – говорит Иван Алеше, – и ведь я знаю, что поеду лишь на кладбище, но на самое дорогое кладбище. Дорогие там лежат покойники, каждый камень над ними гласит о такой горячей минувшей жизни, о такой страстной вере в свой подвиг, в свою истину, в свою борьбу и в свою науку, что я знаю заранее, паду на землю и буду целовать эти камни и плакать над ними, – в то же время убежденный всем сердцем моим, что все это давно уже кладбище и никак не более. И не от отчаяния буду плакать, а лишь просто потому, что буду счастлив пролитыми слезами моими»⁵⁵⁹.

Своей «непогрешимостью» и гордой самодостаточностью европейский человек осудил себя на смерть, после которой, по законам людской логики, нет воскресения, а Европу превратил в обширное кладбище, из которого не воскресают. Но славянский всечеловек в своей евангельской грусти и в своей всечеловеческой любви чувствует, верует и знает: только благой и чудесный Богочеловек может победить смерть, воскресить каждого мертвеца, обессмертить каждого смертного и европейское кладбище превратить в питомник воскресения и бессмертия.

Достоевский – всечеловек

С какой бы стороны мы ни приближались к Достоевскому, во всем вселенная его бескрайня, горизонты его бесконечны. Многосторонность его гения поразительна. Кажется, что Верховное Существо взяло идеи из всех миров и посеяло их в одной человеческой душе, и так появился Достоевский. В полной своей личности он – и пророк, и мученик, и апостол, и поэт, и философ. Он принадлежит всем мирам и всем людям, ибо он как всечеловек необъятен и неисчерпаем. Этот человек – для всех всечеловек и всем он родной: родной сербам, родной болгарам, родной грекам, родной французам, родной он всем людям на всех континентах. Он – в каждом из нас, и каждый из нас может найти себя в нем. Своим всечеловеческим сопереживанием и любовью он родной всем людям. Ничто человеческое ему не чуждо, и каждый человек ему дорог. Если это преступник, то он найдет в нем понимание, если это страждущий, то в нем найдет отдохновение, если это мученик, то в нем он отыщет заступника, если это отчаявшийся, то в нем он утешится, если это бедняк, то он примет его в свои объятия, если неверующий, то он будет ему благим наставником, если верующий, то в нем он обрящет чудесную апологию веры.

Но всечеловеку Достоевскому и все Божие не чуждо, тем паче не чуждо, если это Божие дано и явлено в Личности Богочеловека Христа. Ибо в своем беспредельном веровании во Христа он познал всю Его тайну и в своей бескрайней любви к Нему соделал все Его Божественные добродетели своими. А поэтому человеку, всякому человеку, и самому плохому, и самому хорошему, Достоевский может дать все, что ему необходимо для нравственного самосовершенствования, вплоть до богочеловеческого совершенства. Путь, который прошел Достоевский за время своей земной жизни, можно считать самым длинным, редко выпадающим на долю человеческого существа на этой планете. Диапазон его мыслей, чувств, намерений и стремлений настолько велик, что может быть свойственен только всечеловеку. Действительно, все, что может человек в жизни пережить, Достоевский пережил в невиданном масштабе, притом невероятно остро и значимо. На поле брани его сердца и ума долго сражались диавол с Богом, пока наконец окончательно не победил Он – чудесный Бог и Господь – Богочеловек Христос. Все остальное, человеческое и диавольское, навсегда пало. И только одно осталось непобежденным в этой борьбе: он – всечеловек, и его неизменный идеал –

Богочеловек.

* * *

Достоевский – пророк, ибо он всечеловек. Всю свою жизнь он пророчествовал о Богочеловеке и о преображении человека с помощью Богочеловека. Как пророк и ясновидец, он всечеловеческое зло и человеческое добро свел к их праистокам: зло – к диаволу, добро – к Богу, ибо отличительное свойство пророка – с высот вечности смотреть на мир и на человека в мире, размышлять умом Божиим о мире, возвещать домостроительство Божие в мире, быть соратником Бога на земле. Одаренный пророческим вдохновением и ясновидением Достоевский споспешествовал человеку на всех путях его: он во всех делах земных видел существование двух вечных движущих сил: силу от Бога и силу от диавола. А человек – между ними. Силою художественной прозорливости он угадал и распознал, что Бог и диавол – самые главные творцы и вершители судеб в наших человеческих мирах. Человек по самой природе своего естества не может жить без них, не может не зависеть от них, ибо они составляют, окружают и исполняют собою все сферы и атмосферы, в коих человеческий дух живет и движется.

* * *

Достоевский – мученик, ибо он всечеловек. Нет такой муки человеческого духа, которой бы он искренне не мучился. Редко кто так мучился тайной человека и мира и тайной Бога и диавола, как мучился Достоевский. В этом отношении разве что Иов и Соломон могут с ним сравниться. Разве не мученик он, когда совесть его так сильно страдала над человеческим злом и добром, над человеческими преступлением и наказанием? Воистину, он – мученик, ибо мучился он возвышающим его страданием, чтобы и нам осветить дорогу на наших мрачных путях жизни. Мученик он, тысячу раз мученик, ибо душу свою разрывал и полагал, защищая Христа как самую высшую ценность во всех мирах. Из-за этого он был презираем, его высмеивали. Настоящий мученик он, ибо как своей собственной мукой мучился он и преступлением преступника, и отчаянием отчаявшегося, и страданием страждущего, и безверием безбожника. Более того, он мучился страданиями детей как никто до и после него. И это все – одного ради: научить нас через страдания становиться лучше, стать настоящими людьми.

* * *

Достоевский – апостол, ибо он – всечеловек. В новейшее время никто так, как он, не свидетельствовал о Богочеловеке Христе. В течение веков не было человека, который с такой силой исповедовал, что Богочеловек

есть все и вся для человека во всех мирах. Трагедия человека окончательна и безнадежна, если его не возродит и не преобразит Богочеловек. Достоевский – апостол в своей безграничной вере во Христа, в своем евангельском сострадании к людям, в своей всечеловеческой любви ко всей твари Божьей. Разве не апостол тот, кто, ведомый Божественным вдохновением, опаленный Божественным пламенем, просвещенный Божественным светом, вдохновлял, опалял и просвещал людские сердца Христовым светом? Да, да, без сомнения, он – апостол, ибо все ценности неба и земли он сводил ко Христу и выводил из Христа. Притом настолько, что предпочитал Христа истине, если бы ему даже с математической точностью доказали, что истина вне Христа! Он – апостол, ибо как-то незаметно, чудотворным образом вселяет чудесного Христа в наши души, делает Его современным нам, близким, родным. И мы в блаженной радости сердца нашего, в умилении и восторге плачем подле Него, радуемся, что Он вспомнил о нас, что пришел к нам, что прикоснулся к сердцам нашим, что Он здесь, среди нас, благой и кроткий, милостивый и сострадающий. Он – тихий и нежный, и в то же время бесконечно возвышенный и возвышающий нас Иисус...

* * *

Достоевский – поэт, ибо он всечеловек. Трагедию человеческого существа он воспел как никто другой. Ад Данте – это почти что рай в сравнении с преисподней, которую обнаружил в человеческой душе Достоевский и описал ее. И тут, на недостижимых высотах людской трагедии, боли, возвышающих человека, сродни ему только Иов и Соломон. Не поэт ли тот, кто по своей человеческой отзывчивости так потрясающе сильно прочувствовал и воспел драму людских миров? Ощутил и воспел сильнее самого Шекспира; более сильно и более надрывно. Без сомнения, Достоевский – поэт, притом всечеловеческий поэт, ибо никто в нашем человеческом мире так проникновенно не рассказал о страдании человека, о его тоске, о его отчаянии и о его радости, вере, любви, но, прежде всего и более всего, он сказал о значимости Бога для человека и дьявола для человека. Воистину он – поэт, ибо никто до него так отчетливо не распознал чудовищную и ужасающую апологию дьявола и никто так не воспел гимна Богу и Богочеловеку, как он, так удивительно величаво.

* * *

Достоевский – философ, ибо он всечеловек. Самые абстрактные метафизические проблемы он свел к проблемам реальным, жизненным, приблизил их, сделал их человеческими. И он показал, что эти проблемы

присущи каждому из нас, каждый из нас их так или иначе решает, решает постоянно, каждый день. Достоевский научил нас тому, что каждый из нас философ уже в силу того, что мы – люди. Разве не философ Достоевский, когда самые тяжелые, «проклятые проблемы» человеческого сознания он решает по-новому, как никто до него не решал? Не философ ли он, если своей мыслью сумел охватить и Божественные, и человеческие, и демонические миры, распознать их суть и смысл. Без сомнения, это даровитый философ, ибо он создал демонологию и теодицею, которым нет равных в философии рода людского. Более того, он философ пророческого духа, мученического опыта и поэтической одаренности.

* * *

Мы, люди, живем в мире двойственной реальности: физической и духовной. Что такое физическая реальность? – Материя. А что такое материя? Сегодня есть физики, которые утверждают, что материи по сути не существует, существуют только нематериальные праэлектронны и фотоны. А духовная реальность, что это? – Душа. А что такое душа? Это то, что непосредственно вложено в наше естество, то, что не поддается определению ни по сути, ни по форме. Но тогда, рассматривая материю и душу как непосредственные реальности, не принимаем ли мы привидения за реальность? Как бы нам ни хотелось свидетельствовать о реальности материи и духа, наша человеческая мысль и наши человеческие ощущения говорят об одном, только об одном: и материя, и дух сотканы из чего-то, что напоминает тень и сон. И все то, что мы называем вещами, происходит из той же материи, что и сон: все есть тень, все есть сон. И этот наш земной мир в своей реальности похож на сон, который нам снится. И мы, люди, часть этого космического сна, движемся в этом мире, как тени между тенями, как привидения среди привидений, как призраки среди призраков.

Но человеческая мысль, чья природа более фантастична, нежели сама природа сна, без устали вопрошает: что делает материю и душу реальностью? И материю, и душу делает реальностью только всемогущий Творец всех реальностей – Бог Логос. Это – евангельский ответ человеческой мысли, это единственный ответ, несущий благовест человеку. Все, что существует, реально настолько, насколько в нем присутствует логосная сила. Реальность по сути есть не что иное, как логосность. Ибо то, что делает природу природой и человека человеком, душу душой и материю материей, небо небом и землю землей, жизнь жизнью и естество естеством – это логосность.

«Слово стало плотью» ([Ин.1:14](#)), – эти три слова содержат в себе

целокупное евангелие Божественного и человеческого реализма. Только с воплощением Бога Логоса люди познали настоящую, непреходящую, вечную реальность. До воплощения люди действительно были привидениями. После воплощения во всем людском начинает присутствовать Божественная реальность. И каждый человек настолько реален, насколько воссоединил себя с воплощенным Богом Логосом. А это значит: насколько укоренился в Телe Богочеловека Христа, которое есть Церковь. Церковь как Тело Бога Логоса, по сути, единственно настоящая и непреходящая реальность в этом преходящем мире.

С пророческим вдохновением и с апостольским прозрением Достоевский ощутил всю бесконечную важность воплотившегося Бога Логоса для нашего земного мира. Это насущная и самая главная реальность и основа всякой существующей реальности. Достоевский говорит, что условие – *sine quo non* – существования всего мира содержится в этих словах: «Слово бысть тело». Все ценности неба и земли Достоевский находит в воплощенном Логосе, а потому и говорит: все заключается в том, что Логос воистину стал телом. В этом – вся вера и все утешение человечества, утешение, от которого оно никогда не откажется.

Явление Бога Логоса в Личности Богочеловека Христа ясно свидетельствует, что в этом мире Бог – единственная истинная реальность, а человек реален настолько, насколько сумеет воплотить в себе Бога Логоса. Своими делами и учением Богочеловек убедительно показывает и доказывает, что в мире имеются, в сущности, две реальности: Бог и человек. А между Богом и человеком находятся все остальные реальности. Но различить эти реальности возможно только в свете наивысшей реальности – Бога. Отход от этой Реальности повергает мысль в псевдореальность, в не-реальность, во вне-бытие. Самая полная и самая страшная псевдореальность – сатана, ибо в нем самое страшное отпадение, отрыв, самая большая удаленность от Бога.

Для славянского всечеловека Достоевского Бог – самая главная и самая близкая реальность. Для его героев существует только одна мука – Бог. «Только Бог меня мучит» – таково их общее исповедание. Если Бога нет, то тогда все – дьявольский хаос, бессмыслица и глупость, тогда «все на абсурде почитет».

Другая реальность, самая большая после Бога – человек, его бессмертная душа, его личность. Если Бог – первая реальность, то бессмертие души человека – вторая реальность. Бессмертие души так же логично и естественно, как и существование Бога. Для славянского пророка Достоевского бессмертие души – главный источник всех вечных

ценностей для человека. Более того: «Идея о бессмертности и есть сама жизнь, живая жизнь, его завершающая формула и главный источник истины и правильного сознания для человечества». Без бессмертия души человеческая жизнь не имела бы никакого смысла и оправдания. Только из веры в бессмертие души проистекает весь высший смысл и значимость жизни.

Славянский апостол бессмертия человеческой души не может представить человека без Бога. Человек существует потому, что существует Бог. Если нет Бога, то человек не смог бы появиться. «Личное бессмертие и Бог – одна и та же идентичная идея», – говорит Достоевский. «Если Бог есть, то я бессмертен», – по праву утверждает он. Поэтому для него самое главное на земле – веровать в Богочеловека Христа и в жизнь за гробом.

Именно потому, что Достоевский является пророком и апостолом Бога и бессмертия души, именно поэтому он с редкостной пронизательностью ощутил и доказал присутствие в мире существа противоположного Богу и человеку – дьявола. В его антигероях сильно ощущается смрадное дыхание дьявольского злоумия. Нет на земле другого такого писателя, чьи герои, поборники атеизма и анархизма, с такой настойчивостью и ясно являли бы в себе живое присутствие дьявола, все их идеи и дела исполнены дьявольского духа. Как никто до него, Достоевский с неподражаемой гениальностью показывает, как дьявол страшен в своей реальности и в своем лукавстве. Во всем и по всему он – анти-Бог и анти-человек.

Все миры Достоевского во всех формах своего существования свидетельствуют о том, что есть дьявол, есть Бог, есть бессмертие души. Для человеческого сознания и Бог, и дьявол суть первичные реальности, ибо таинственным образом пронизывают собою природу человека. В мире земных событий, истории, дьявол ни через кого, ни через что так ясно и действенно не обнаруживает себя и не оправдывает своего существования, как через человека, так же точно, как и Бог. И Достоевский доказывает его присутствие, с одной стороны, своей демонологией, а с другой стороны, своей теодицеей.

По своей природе человек богоцентричен, а по своей воле часто бывает дьяволоцентричен. Мучаясь, как Иов, проблемой человека, Достоевский распознал, что проблема человека по сути – это проблема Бога и дьявола, и проблема человека не может быть правильно и окончательно решена, если не разрешится проблема Бога и дьявола. Это особенно чувствуется, когда проходишь через преисподнюю, чистилище и

через рай православного Данте – Достоевского. Жизнь человека как бы распята между дьяволом и Богом. Каждый человек, в силу своего человеческого естества распинаяемый на этом древе, проживает жизнь как опасную драму своего земного существования. Каждая мысль и каждое чувство, всякое желание и всякое действие приближают человека к Богу либо к дьяволу. Хочет он того или нет, но он или с Богом, или с дьяволом, ибо третьего не дано.

Всякий человек, проходя подвиг своей жизни на земле, созидает или свою демонологию, или свою теодицею. Свою демонологию человек создает тогда, когда своими грехами и злом подражает дьяволу и оправдывает его, осуществляя лукавый и пагубный дьявольский план относительно человека и мира. А свою теодицею человек созидает своими добродетелями и борьбой, возвеличивает и оправдывает Бога, воплощая в жизнь Его мудрое и спасительное домостроительство. Другими словами, следуя путями непогрешимого человека, человекобога, человек утверждает в жизни дьявола и создает свою демонологию, а следуя путями евангельского человека, Богочеловека, он утверждает Бога и созидает свою теодицею.

Достоевский создал свою демонологию, когда был с сатаной-искусителем, и создал свою теодицею, когда стал со Христом и остался с Ним навеки. В своей демонологии он самым убедительным образом показал, что тайна всех идеологов и творцов человекобога и сверхчеловека – дьявол. В своей же теодицее он по-апостольски сильно и неопровержимо доказал, что тайна всех идеологов и творцов настоящего человека, христоподобного всечеловека – Богочеловек Христос. Как чуткий тайнозритель и пророк, он распознал, что главные, хотя и невидимые движущие силы во всех устремлениях современного человека – личных, социальных и народных – сосредоточены либо во Христе, либо в дьяволе.

В новейшее время лукавый искуситель рода людского никого так не соблазнял и так не искушал, как Достоевского. За время этих искушений Достоевский погружался в ужасающие бездны преисподней, показал апокалиптические «глубины сатанинские» (Откр.2:24) как никто другой, создал такую демонологию, которая ранее и не представлялась уму человеческому. Даже демонология Ницше в сравнении с ней – это как будто чтение по слогам первоклассника. Его демонология настолько невиданно устрашающая и убийственно ужасающая, что Достоевского по праву можно назвать апокалиптическим именем – «царь... бездны... Аваддон» (Откр.9:11). Силой своего духа он отверз все адские бездны, и из них повалил такой дым, от которого померкли и солнце, и небо над

человеком.

Только Христовы люди, подобные апостолу Павлу, знают, что сатана мыслит, ибо им «не безызвестны его умыслы» (2Кор.2:11), его идеи, его философия. К таким людям надо, прежде всего, отнести Достоевского. Он глубоко погрузился в психологию сатаны, проанализировал природу этого первого критика творения Божьего мира и создал *Бунт*⁵⁶⁰, которого мир еще не видел. Но великий знаток бездн сатанинских, бесстрашный мятежник против Бога и мира на своем личном опыте постиг, что человеческая природа не может снести богохульства и бунта против Бога и Его творения. В адских муках своего духа он всем существом ощутил, что от сатанинского ужаса его может спасти только одно – только пресветлый, чудесный и чудотворный Лик Богочеловека Христа.

Самый великий мятежник рода человеческого не смог вынести своего собственного бунта, но, гонимый некоей внутренней силой своего сердца, смирился пред благим и кротким Господом Иисусом. Через преисподнюю скепсиса, сомнений, отрицания и неверия прошел Достоевский, пока не уверовал во Христа как в Бога и в Господа. Да, он воистину мученически и отважно боролся, пока не обрел свою веру во Христа. Поэтому уже в конце своей жизни он с болью и гневом писал: «...Дразнили меня необразованностью и ретроградною верою в Бога. Этим олухам и не снилось такой силы отрицание Бога, какое положено в Инквизиторе и в предшествовавшей главе. Не как дурак же (фанатик) я верую в Бога. И эти хотели меня учить и смеялись над моим неразвитием! Да их глупой природе и не снилось такой силы отрицание, какое перешел я...»⁵⁶¹ Иван – глубок. Он не из тех современных атеистов, которые своим безверием доказывают только лишь ограниченность своего мировоззрения и тупость своего малого ума. «В Европе такой силы атеистических выражений нет и не было. Стало быть, не как мальчик же я верую во Христа и Его исповедую, а через большое горнило сомнений моя осанна прошла, как говорит у меня в том же романе черт»⁵⁶².

Достоевский, невиданный атеист и страстный богоборец, мог спастись и спастись только таким всесовершенным и всемилостивым Богом, каким является Христос. Чарующий Лик Христов наполнил всю его душу, и он стал в новейшее время самым прозорливым пророком и самым красноречивым апостолом Лица Христова. Внимая его вдохновенным словам о Христе, человек говорит самому себе: да, воистину Лик Христов – единственный свет во всем мраке, в котором может пребывать род людской, единственный исход из всех смертей, единственное утешение во всех страданиях, единственный путь для всех заблудших. «На земле же

воистину мы как бы блуждаем, – пишет Достоевский, – и не было бы драгоценного Христова образа пред нами, то погибли бы мы и заблудились совсем, как род человеческий пред потопом».

«В предсмертных записках Достоевского, – говорит Сергей Булгаков, – находится одна, на которой написано: «Написать книгу об Иисусе Христе». Мы не знаем, написал ли бы он такую книгу, но в некотором смысле все его книги, в особенности, написанные в последние годы, о Христе: во всех этих книгах Он – настоящий, хотя и невидимый центр, а иногда Он и явно появляется. Самый большой триумф гения Достоевского состоит именно в том, что он сумел в своих произведениях показать и сделать так, что мы ощущаем живого Христа, он ввел Его к нам, научил нас полюбить Его»⁵⁶³.

Достоевский, который так подвижнически и мученически обожал Господа Христа, настолько был пронизан Его светом, что сам источал этот свет, особенно в последние дни своей жизни. Один из его близких приятелей Н. Страхов говорит, что Достоевский в последние годы своей жизни особенно был похож на подвижника, полного кротости и благости⁵⁶⁴. А по словам Воге: «Лицо Достоевского во всякое время, за исключением того, когда он был возбужден, излучало трогательную и благую кротость, какую можно видеть на иконах старых славянских святителей»⁵⁶⁵.

Достоевский убежден, что только люди с нечистым сердцем и с помраченным умом, состоящие в некоем интеллектуальном союзе с дьяволом, могут отрицать, что Христос – единственный Спаситель мира и человека. Он утверждает, что те, кто отрекается от Христа, совсем Его не знают⁵⁶⁶. Ибо невозможно знать Христа и не полюбить Его. В одном из своих писем Достоевский так высказался о русском критике Белинском: «Этот человек ругал мне Христа, и между тем никогда он не был способен сам себя и всех двигателей всего мира сопоставить со Христом для сравнения. Он не мог заметить того, сколько в нем и в них мелкого самолюбия, злобы, нетерпения, раздражительности, подлости, а главное – самолюбия. Он не сказал себе никогда: что же мы поставим вместо Него? Неужели себя, тогда как мы так гадки? Нет, никогда он не задумывался над тем, что сам гадок; он был доволен собой в высшей степени, и это была уже личная, смрадная, позорная тупость»⁵⁶⁷.

Со своих пророческих высот Достоевский явственно разглядел трагедию Европы и открыл причину этой трагедии. Причина в том, что римокатолицизм и протестантизм извратили и утратили Лик Богочеловека Христа, эту единственную ценность, ради которой созданы и существуют

все миры. Из-за этого в Европе все замутилось и пришло в хаос. Но это только одна половина пророческого видения Достоевского, вторая же половина в том, что Лик Богочеловека Христа полностью сохранен только в Православии, а поэтому ничто другое и не нужно, ибо Православие – это все.

Рассматривая человека и человечество, а с ним и русский народ *sub specie Christi*, Достоевский пришел к выводу, что главная и самая большая ценность русского народа – Православие, а в нем – чудесный Лик Богочеловека Христа. Поэтому он благовествует: Россия обладает сокровищем, самым большим сокровищем – Православием. Она – страж истины Христовой и настоящего Лица Христова, Который помрачился во всех других верованиях и у всех других народов.

Россия своей таинственностью стала самой загадочной страной в мире в последнее время. Этому больше всего способствовал Достоевский, но в то же время именно он способствовал тому, чтобы эта загадочность до некоторой степени приоткрылась, он показал ее главные созидательные силы, более того, показал ее самую большую ценность и самую великую святыню. Эта ценность и эта святыня – Православие. По пророчеству Достоевского, новое слово, которое Россия скажет миру – это Православие. Из-за апостольской ревности в проповедании Богочеловека Христа и Его Евангелия Достоевский по праву назван «неустрасшим проповедником Имени Господнего»⁵⁶⁸.

Через Достоевского как бы пламенными устами высказалась вся русская душа во всей своей полноте: вся ее греховность и все ее покаяние, все ее пороки и все ее добродетели, все ее устремления и все ее идеалы. Личность Достоевского – самое проникновенное и самое возвышенное отражение русского народного самосознания. «Он, – как о нем сказано, – Россия в миниатюре»⁵⁶⁹. Он стал «нравственным вождем нашего времени»⁵⁷⁰.

Один русский мыслитель писал о Достоевском: «Уже стал неоспоримой истиной тот факт, что Достоевский весь воплотился в современности, что он стал вдохновителем и отправной точкой почти всех наших писателей, поэтов, философов, что современное религиозное сознание все целиком вышло из Достоевского, что творчество нынешнего времени буквально живет им, лишь видоизменяя и преображая его мысли, его откровения, его бездонную и вечную глубину. И не в убожестве нашем, не в оскудении творческих сил нужно усматривать причину этого влияния, а в необычайно сильном родстве всего русского творчества с личностью Достоевского. В этом отношении Достоевский как бы является

выразителем пред миром всех глубин русского духа, гениальным творцом всех бродящих, скрытых, таинственных его сил, великолепным символом, живым символом загадочного царства русской души и народа, его исканий и его надежд, его молитв и его проклятий! Ибо не мы воссоздаем Достоевского, а он сам, его титаническая сила присутствует в нас и творит в современных писателях свой надрывный бунт, и свое великое страдание, и свою мистическую, безумную красоту. Ибо Достоевский – это вся Россия, ее душа, ее сокрытая и стихийная сущность»⁵⁷¹.

Всечеловечностью своих идей и чувств, их полнотой и глубиной Достоевский имеет огромное влияние на писательский мир вне России, особенно в Германии. Об этом Е.Е. Порицки пишет: «В Германии бесконечное число живущих писателей, которые находятся под влиянием Достоевского, которые с большим или меньшим успехом следуют или следовали за ним. Два самых знаменитых представителя немецкой литературы – это Ницше и Гауптман, которые целиком берут начало в Достоевском»⁵⁷².

Рассматривая Ницше и Достоевского с точки зрения высшей историософии, Отто Юлиус Биербаум сказал об этом много искренних и истинных слов. Вот одна из этих истин: «Возможно, Ницше – возвышенный конец, а Достоевский – исполинское начало; первый – закат западной, европейской культуры, основанной на античной культуре, а второй – восточный восход русской культуры, которая берет свое начало от Византии»⁵⁷³. А вот другая истина и сопутствующие ей: «Из Достоевского говорит Христос, и надо вернуться в очень далекое прошлое развития христианской мысли, чтобы найти человека, в котором Христос говорил так же сильно, как Он проговорил из Достоевского. Я полагаю, что таким человеком был Франциск Ассизский... И все же Христос Достоевского – самый истинный Христос, Христос в Своей гигантской истине... В русском Достоевском заключена гениальная суть русского народа, в таком же объеме и в такой же значимости, как в Ницше заключена гениальная суть западного культурного сознания... Тут у Ницше Заратустра разбивает старые (синайские) таблицы, там Достоевский из своего русского сердца воздвигает пра-Христа. В этих двух великих предощущениях, в этих мыслителях, художниках, воплощены две стоящие одна против другой современные мировые силы: ужасное видение, перспективы которого нам сегодня и предположить трудно, а тем более определить»⁵⁷⁴. Биербаум с редкостной искренностью и талантливой пронизательностью заканчивает свое исследование о Достоевском: «Следовать духу Достоевского – это значит: отвергнуть Гете

и Ницше считать больным»⁵⁷⁵.

Все особенности человеческого естества, характера, и отрицательные, и положительные, Достоевский доводил до конца; ему нравилось видеть человека в его конечной завершенности. Если это атеист, то это будет абсолютный атеист, если анархист, то это будет цельный анархист, бунтовщик, идущий до конца. И противоположное: если это верующий, то верующий беспредельно, если это христоролюбец, то любящий Христа всем существом, если это человеколюбец, то человеколюбие его бесконечно. Во всем Достоевский шел до конца, к завершенности; это его главный всечеловеческий импульс, именно поэтому человеческий разум не может до конца следовать за ним на его всечеловеческих путях. В этом отношении он воистину «олицетворение противоположности по отношению к здравому человеческому разуму»⁵⁷⁶. «По необычной исключительности своего таланта, который нас больше всего трогает, Достоевского с правом можно назвать философом, апостолом, безумным, утешителем для рыдающих, убийцей для равнодушных, Иеремией для плененных, Шекспиром для изгнанных. Он заслуживает разом все эти вместе взятые определения, но каждое, взятое в отдельности, будет недостаточным определением для него»⁵⁷⁷.

Именно потому, что Достоевский всечеловек в своих воззрениях, касающихся человека и мира, Бога и дьявола, добра и зла, добродетели и порока, именно поэтому он – камень преткновения и соблазна для всех, приступающих к нему с западноевропейскими гуманистическими мерками. Ибо эти мерки не дают человеческой мысли идти до конца как в отрицательном, так и в положительных смыслах. Человек всегда боится свою мысль о добре довести до конца, привести ее к первоисточнику – к Богу, как и мысль о зле довести до ее первоисточника – дьявола. Тем паче для таких людей неприемлема бескомпромиссная вера Достоевского в Богочеловека Христа как единственного Бога и Господа во всех мирах, им непонятна бескрайняя любовь Достоевского к Нему, решительное сведение к Нему всех ценностей, к Его чудному и чудотворящему Лику. В этом причина того, почему они не понимают Достоевского в его всечеловеческих настояниях и устремлениях, которые с таким вдохновением и апостольской прозорливостью выражены в его теодицее и демонологии⁵⁷⁸. Мережковский же, желая оправдать свою философию Достоевским, соблазнился и ошибся в Достоевском, как никто другой. Проницательный и правильный комментатор отрицательных героев Достоевского, Мережковский как только переходит к положительным героям, начинает говорить о себе, о своей религии, приписывая

Достоевскому свое религиозное понимание и свои убеждения. Желая представить Достоевского как апостола своего «нового христианства», своего «нового религиозного сознания», Мережковский попытался «пересоздать» Достоевского по своему образу и подобию и тем самым погрешил против Достоевского, как никто другой⁵⁷⁹.

Но над всеми заблуждениями и ошибками сияет неугасимое солнце вечной истины Достоевского – Богочеловек Христос. Для него Богочеловек – все и вся во всех мирах. К Нему устремлена Душа Достоевского, о Нем все пророчества Достоевского. И видите, многие его пророчества о Европе и славянстве, о всечеловеке и всечеловечестве исполняются на наших глазах. А для того, чтобы исполнились и все остальные его пророчества, к тому имеются все психологические и онтологические условия, ибо все его пророчества преисполнены евангельского духа. Небо и земля не исчезнут, доколе не исполнятся все обетования и пророчества евангельские. За Достоевским, славянским всечеловеком, стоит Богочеловек во всей Своей Божественной силе и совершенстве. А славянский всечеловек стоит на Богочеловеке и живет ради Богочеловека. А поэтому и как пророк, и как апостол, и как мученик, и как поэт, и как философ, он проповедует одну истину, одну всеистину – Богочеловека Христа как самую великую драгоценность во всех мирах, видимых и невидимых.

Примечания

¹ - Видов день 1528 июня, – праздник св. вмч. царя Лазаря и всех святых сербских мучеников, павших на Косовом поле в 1389 году в битве с турками. (Прим. перев.)

² - Sub specie aeternitatis, но не sub specie temporis (лат.) – с точки зрения вечности, но не с точки зрения временности. (Прим. перев.)

³ - Pleasant Sunday – afternoon literature (англ.) – «послеобеденное чтение». (Прим. перев.)

⁴ - Umwertung aller Werte (нем.) – переоценка всех ценностей. (Прим. перев.)

⁵ - «Credo quia absurdum» (лат.) – «верю, ибо это нелепо». (Прим. перев.)

⁶ - «Commen sens» (фр.) – общий смысл. (Прим. перев.)

⁷ - Homo homini deus... homo homini lupus est (лат.) – человек человеку – бог... человек человеку – волк. (Прим. перев.)

⁸ - «Записки из подполья», т. III, с.95. Издание А.Ф. Маркса, Санкт-Петербург, 1894 г. Все цитаты, упоминаемые в этой работе, взяты из этого издания произведений Ф.М. Достоевского. (Прим. перев.)

⁹ - Там же, с.83.

¹⁰ - Там же, с.83.

¹¹ - Там же, с.83.

¹² - «Записки из подполья», т. III, с.98.

¹³ - Там же, с.98.

¹⁴ - Там же, с.75.

¹⁵ - Там же, с.74.

¹⁶ - Там же, с.77.

¹⁷ - Там же, с.77.

¹⁸ - Circulus vitiosus (лат.) – порочный круг. (Прим. перев.)

¹⁹ - «Записки из подполья», т. III, с.84 и 77.

²⁰ - Там же, с.78.

²¹ - Там же, с.78.

²² - Там же, с.78.

²³ - Там же, с.92.

²⁴ - Там же, с.92.

- 25 - Там же, с.92.
- 26 - Prima causa (лат.) – первопричина. (Прим. перев.)
- 27 - Там же, с.90.
- 28 - Там же, с.90. Подчеркиванием выделено то, что по тексту выделено курсивом либо автором книги, либо Достоевским. Курсив Достоевского автором оговаривается особо. (Прим. перев.)
- 29 - Там же, с.92.
- 30 - Там же, с.92.
- 31 - Там же, с.92.
- 32 - Там же, с.93.
- 33 - Там же, с.93.
- 34 - Там же, с.80.
- 35 - Там же, с.82.
- 36 - Там же, с.76.
- 37 - Там же, с.81.
- 38 - Там же, с.75.
- 39 - Там же, с.75.
- 40 - Там же, с.80.
- 41 - Там же, с.80.
- 42 - Ницше. Also Sprach Zarathustra, von den Hinterwelten. Erster Teil. (Letzte Wande (нем.) – последние стены. (Прим. перев.))
- 43 - «Записки из подполья», т.III, с.81.
- 44 - Там же, с.80.
- 45 - Там же, с.83.
- 46 - Там же, с.97, ср. там же, с.100.
- 47 - Там же, с.84.
- 48 - Там же, с.83.
- 49 - См.: E. Zeller. Grundriss der Geschichte der Griechischen Philosophie, bearbeitet von W. Nestle, Leipzig, 1920, S.292.
- 50 - «Записки из подполья», т.III, с.76.
- 51 - Там же, с.75–76.
- 52 - Там же, с.81.
- 53 - Там же, с.79.
- 54 - Там же, с.87.
- 55 - Там же, с.88.

- 56 - Там же, с.89.
- 57 - Там же, с.89–90.
- 58 - Там же, с.90.
- 59 - Там же, с.91.
- 60 - Там же, с.95.
- 61 - Там же, с.95, ср. с.90.
- 62 - «По поводу мокрого снега», с.177.
- 63 - Там же.
- 64 - «Братья Карамазовы», т.12, с.276.
- 65 - Там же, с.27. ср. «Подросток», с.28.
- 66 - Там же, с.272.
- 67 - Там же, с.279.
- 68 - Там же, с.278.
- 69 - Там же, с.278–279.
- 70 - Там же, с.278–279.
- 71 - Там же, с.282.
- 72 - Там же, с.282.
- 73 - Там же, с.283.
- 74 - Там же, с.283.
- 75 - Цитата взята из произведения Д.С. Мережковского «Л. Толстой и Достоевский», ч.1, с.220. Изд. Тов-ва М.О. Вольфа, Петербург – Москва, 1912 г.
- 76 - Достоевский. «Игрок», т.III, часть II, с.245.
- 77 - Pensees (фр.) – мысли. (Прим. перев.)
- 78 - «Братья Карамазовы», с.286–287.
- 79 - Там же, с.287.
- 80 - Аллюзия на пророчество пророка Исаии (Ис.11:6).
- 81 - «Братья Карамазовы», с.289–290.
- 82 - Курсив Достоевского.
- 83 - Там же, с.290–291. Здесь очевидно идейное сходство между бунтом Ивана, возвращающего билет Богу, и не менее бунтарским возвращением таланта Богу злым слугой из евангельской притчи (Мф.25:24–26).
- 84 - Там же, с.272.
- 85 - Там же, с.288–289.

- 86 - Ницше. Wille zur Macht, Nichilismus.
- 87 - «Преступление и наказание», с.286.
- 88 - «Идиот», с.441.
- 89 - Там же, с.442.
- 90 - Там же, с.444.
- 91 - Там же, с.447–448.
- 92 - J. Middledon Murry, F.M. Dostojevsky, a critical stude, 1916, p.37.
- 93 - Macbeth, Act V, Sc. V
- 94 - "Бесы", с.112.
- 95 - Там же, с.111.
- 96 - Там же, с.650.
- 97 - «Братья Карамазовы», с.130.
- 98 - Там же, с.130.
- 99 - "Бесы", с.170.
- 100 - «Дневник писателя», т.10, с.350.
- 101 - Курсив Достоевского.
- 102 - Там же, с.349.
- 103 - Курсив Достоевского.
- 104 - Там же, с.351–352.
- 105 - «Кроткая», т.Х, с.409.
- 106 - «Записки из подполья», с.95.
- 107 - «Кроткая», т.Х, с.386.
- 108 - «Братья Карамазовы», с.295–297.
- 109 - «Братья Карамазовы», с.299.
- 110 - Там же, с.310.
- 111 - Там же, с.303.
- 112 - Там же, с.299–300.
- 113 - Там же, с.300–301.
- 114 - Там же, с.301.
- 115 - Там же, с.302–303.
- 116 - Там же, с.303–304.
- 117 - Там же, с.304.
- 118 - Там же, с.304.
- 119 - Там же, с.304–305.

- 120 - Там же, с.306.
- 121 - Курсив Достоевского.
- 122 - Там же, с.305–306,309.
- 123 - Курсив Достоевского.
- 124 - "Бесы", с.596.
- 125 - «Братья Карамазовы», с.278.
- 126 - Там же, с.160–161.
- 127 - De idea и de facto (лат.) – идеологически и фактически.
- 128 - «Братья Карамазовы», с.768–769.
- 129 - In писе (лат.) – сжато. вкратце. Здесь: в какой-то мере.
- 130 - Там же, с.769.
- 131 - Там же, с.84.
- 132 - Там же, с.84.
- 133 - Там же, с.773–774.
- 134 - "Бесы", с.113.
- 135 - Там же, с.112.
- 136 - Там же, с.112–113.
- 137 - Там же, с.112–113.
- 138 - Там же.
- 139 - Курсив Достоевского.
- 140 - Там же, с.597.
- 141 - Там же, с.229.
- 142 - Там же, с.406.
- 143 - Там же, с.245, 246.
- 144 - Там же, с.650.
- 145 - Там же, с.652.
- 146 - Там же, с.246.
- 147 - Там же, с.198.
- 148 - Там же, с.240,262.
- 149 - Material zum Roman «Die Démonen» S.519, herausgegeben von Moeller van der Bruck: Dostojewski, «Dir Démonen», zweiter Teil, Munchen und Leipzig, 1916.
- 150 - "Бесы", с.180.
- 151 - Там же, с.246.

- 152 - Там же, с.246.
- 153 - Nicht-Sagung (нем.) – букв.: неговорение.
- 154 - Там же, с.650.
- 155 - Курсив Достоевского.
- 156 - Там же, с.199.
- 157 - Там же, с.184.
- 158 - Там же, с.99.
- 159 - Там же, с.221.
- 160 - Там же, с.41. .
- 161 - Там же, с.240; ср. с.239,244,245.
- 162 - Там же, с.406.
- 163 - Там же, с.406.
- 164 - Там же, с.406.
- 165 - Там же, с.404–405.
- 166 - Там же, с.405,407,408; ср. с.644.
- 167 - Там же, с.407.
- 168 - Там же, с.390–391.
- 169 - «Преступление и наказание», т.V, с.4.
- 170 - Там же, с.225.
- 171 - Там же, с.256.
- 172 - Там же, с.256.
- 173 - Курсив Достоевского.
- 174 - Курсив Достоевского.
- 175 - Там же, с.257.
- 176 - Курсив Достоевского.
- 177 - Там же, с.259–260.
- 178 - Там же, с.271.
- 179 - Курсив Достоевского.
- 180 - Там же, с.260.
- 181 - Там же, с.417.
- 182 - Там же, с.413.
- 183 - Там же, с.188.
- 184 - Там же, с.187.
- 185 - Там же, с.416.

- 186 - Там же, с.327.
- 187 - Там же, с.93.
- 188 - Там же, с.73.
- 189 - Там же, с.72.
- 190 - Там же, с.80.
- 191 - Там же, с.82.
- 192 - Там же, с.86.
- 193 - Там же, с.90–91.
- 194 - Там же, с.91.
- 195 - Там же, с.95–96.
- 196 - Там же, с.103–104.
- 197 - В «Неточке Незвановой» (с.213, т.II, ч.I) Достоевский пишет: «Преступление всегда останется преступлением, что грех всегда будет грехом, постыдным, гнусным, неблагородным, на какую бы степень величия вы ни вознесли порочное чувство» (все выделено курсивом Достоевского).
- 198 - «Преступление и наказание», с.271.
- 199 - Там же, с.418.
- 200 - «Братья Карамазовы», с.737,740,748.
- 201 - «Братья Карамазовы», с.756.
- 202 - Там же, с.758.
- 203 - Там же, с.760.
- 204 - Goethe «Faust». Prolog im Himmel (Пролог на небе).
- 205 - Так Мефистофель представляет себя Фаусту.
- 206 - Там же, с.760.
- 207 - Там же, с.767.
- 208 - Там же, с.760.
- 209 - Там же, с.762.
- 210 - Там же, с.762–763.
- 211 - Там же, с.763.
- 212 - Курсив Достоевского.
- 213 - Там же, с.761.
- 214 - Курсив Достоевского.
- 215 - Там же, с.754–756.
- 216 - Курсив Достоевского.

- 217 - Там же, с.754,761,758.
218 - Там же, с.759.
219 - Там же, с.764,766.
220 - На вопрос: «Так кто же ты?»
221 - Там же, с.767–768.
222 - Там же, с.768.
223 - Там же, с.768.
224 - Там же, с.770.
225 - Курсив Достоевского.
226 - Курсив Достоевского.
227 - Курсив Достоевского.
228 - Там же, с.771–773.
229 - Там же, с.813,814.
230 - "Бесы", с.284.
231 - «Преступление и наказание», с.416,417.
232 - «Идиот», с.404.
233 - «Братья Карамазовы», с.84.
234 - Nomil. XV, 40; Migne, P.G. t.34, col.609B
235 - Also Sprach Zarathustra. Der Statten, vierter Teil (нем. – все
дозволено).
236 - «Братья Карамазовы», с.308.
237 - Там же, с.756,761.
238 - Канон прп. Андрея Критского (четверг первой седмицы Великого
поста), песнь 4, тропарь 7.
239 - П.А. Флоренский. «Столп и Утверждение Истины», с.177–178,
М., 1914.
240 - «Преступление и наказание», с.542–543.
241 - "Бесы", с.111.
242 - Так говорит и большой знаток не только человеческой, но и
диавольской психологии святой Иоанн Лествичник. Scala Paradisi; Migne,
P.G. t.88, col.1068A.
243 - «Братья Карамазовы», с.385.
244 - В. Вересаев. «Живая жизнь». М., 1911, с.208.
245 - Otto J. Vierbaum. Dostojewski. Munchen, 1914, Zweite Aufl. S.49.
246 - «Биография и письма и заметки из записной книжки Ф.М.

Достоевского». СПб., 1883 г.

247 - Достоевский Ф.М. «Дневник писателя», т. 10, с.422.

248 - Курсив Достоевского.

249 - Там же, с.426.

250 - Там же, с.427.

251 - Там же, с.430.

252 - «Letters of F.M. Dostojewsky». London, 1907. Translated by E.E. маяне, р.222.

253 - "Бесы", с.623.

254 - Курсив Достоевского.

255 - Маяне, «Letters of F.M. Dostojewsky», р.222.

256 - «Биография и письма и заметки из записной книжки Ф.М.

Достоевского». СПб., 1883 г.

257 - Достоевский Ф. М. «Дневник писателя», IX, с.173.

258 - Material zum Roman «Die Démonen», S.523, herausgegeben von Moeller van der Bruck: F.M. Dostojewski, «Die Démonen». Zweiter Teil, München-Leipzig, 1916.

259 - Там же, с.535.

260 - Material zum Roman «Die Démonen», S.536.

261 - Там же, с.535.

262 - Там же, с.536.

263 - «Биография и письма и заметки из записной книжки Ф.М.

Достоевского».

264 - «Дневник писателя», т. XI, с.476.

265 - «Letters of Dostojewsky», р.67. Схоже с этим Достоевский говорит в романе «Бесы». Там Шатов говорит Ставрогину: «Но не вы ли говорили мне, что если бы математически доказали вам, что истина вне Христа, то вы бы согласились лучше остаться со Христом, нежели с истиной?» – «Бесы», т. VII, с.241.

266 - «Братья Карамазовы», т. XII, с.381.

267 - «Биография и письма и заметки из записной книжки Ф.М. Достоевского», с.371.

268 - Там же, с.371.

269 - Там же, с.371.

270 - «Дневник писателя», т. X, с.212.

- 271 - Здесь Достоевский имеет в виду слова Христа «А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую» (Мф.5:39).
- 272 - Это говорит оппонент Достоевского.
- 273 - «Биография и письма и заметки из записной книжки Ф.М. Достоевского», с.372.
- 274 - «Letters of Dostojevsky», p.195.
- 275 - П.А. Флоренский. «Столп и утверждение Истины», с.230,231,232.
- 276 - «Идиот», т. VI, с.583.
- 277 - «Дневник писателя», т. X, с.328.
- 278 - Там же, т. XI, с.384.
- 279 - «Из материалов к «Бесам» Ф.М. Достоевского». Этот материал опубликовал Л. Гроссман в одесской газете «Южное слово», 8 октября 1919 г.
- 280 - Курсив Достоевского.
- 281 - «Дневник писателя», т. XI, с.493.
- 282 - Там же, с.497.
- 283 - Там же, с.497.
- 284 - Там же, с.492.
- 285 - Там же, т. X, с.51.
- 286 - Там же, т. XI, с.476.
- 287 - Там же, т. X, с.52–53.
- 288 - «Биография и письма и заметки из записной книжки Ф.М. Достоевского», с.234.
- 289 - Курсив Достоевского.
- 290 - «Letters of Dostojevsky», p.182.
- 291 - В этом же письме к Майкову Достоевский пишет: «В этом мире я знаток и монастырь русский знаю с детства» (там же, с.182).
- 292 - Митрополит Антоний. «Словарь к творениям Достоевского». София, 1921 г., с.182.
- 293 - «Братья Карамазовы», т. XII, с.37.
- 294 - Там же, с.33,34.
- 295 - Там же, с.21.
- 296 - «Из материалов к «Бесам» Ф.М. Достоевского». – Л. Гроссман. «Южное слово», 8 октября 1919 г.

- 297 - Material zum Roman «Die Dämonen», S.523.
- 298 - Material zum Roman «Die Dämonen», S.529.
- 299 - Ibid., S.530.
- 300 - П.А. Флоренский, «Столп и утверждение Истины», с.61,62.
- 301 - «Дневник писателя», т.ХІ, с.458.
- 302 - «Братья Карамазовы», т.ХІІ, с.31.
- 303 - «Дневник писателя», т.ІХ, с.454.
- 304 - Л.Н. Толстой. «Исповедь». М., 1907, с.72.
- 305 - П.А. Флоренский. Op. cit., с.65.
- 306 - «Братья Карамазовы», с.378.
- 307 - «Дневник писателя», т.ХІ, с.473.
- 308 - «Братья Карамазовы», с.193,194.
- 309 - Там же, с.193.
- 310 - Там же, с.380–381.
- 311 - Там же, с.381–382.
- 312 - Курсив Достоевского.
- 313 - Курсив Достоевского.
- 314 - Курсив Достоевского.
- 315 - «Дневник писателя», т.ХІ, с.248–249. Это весьма напоминает совет апостола Павла коринфянам: «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, Который и осветит сокровенное во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога» (1Кор.4:5).
- 316 - «Братья Карамазовы», с.35.
- 317 - Там же, с.23,30.
- 318 - «Идиот», т.VI, с.626. – Аглая не понимает Мышкина, потому что он идеально добр и мудр, и ни капли гордости нет в нем: «Вы честнее всех, благороднее всех, лучше всех, умнее всех!.. Для чего же вы себя унижаете и ставите ниже всех?» (с.368)
- 319 - Ср.: Митрополит Антоний. «Словарь к творениям Достоевского», с.104.
- 320 - «Братья Карамазовы», с.343.
- 321 - Там же, с.343.
- 322 - Там же, с.344.
- 323 - Там же, с.354–358.

- 324 - Там же, с.353–371.
- 325 - «Сон смешного человека», «Дневник писателя», т.ХІ, с.137–139.
- 326 - Св. Макарий Великий. «De custodia corolis», 10, P.G., t.34, col.829B.
- 327 - Он же. Nomil. XV. Ibid, col.601B.
- 328 - Св. Авва Дорофей. Doctrina XVI, Migne, P.G., t.88, col.1776B.
- 329 - «Братья Карамазовы», с.375.
- 330 - Там же, с.379–380.
- 331 - Св. Иоанн Лествичник. «Scala Paradisi», Migne, P.G., t.88, col.993A.
- 332 - «Братья Карамазовы», с.354.
- 333 - Св. Антоний Великий. «Добротолюбие», т.V.
- 334 - «Дневник писателя», т.ХІ, с.264–268.
- 335 - «Моя жизнь во Христе». Приведем еще несколько мыслей этого почти что нашего современника.
- 336 - Св Иоанн Лествичник. «Scala Paradisi», Gradus XXVI, Migne, P.G., t.88, col.1028B.
- 337 - Св. Симеон Новый Богослов. «Divinorum amorum liber». Cap. XXXVII, P.G., t.120, col.502B. В своем Oratio XXV (ib. col.423C) святитель говорит: «Charitas Deus est, et non creatura».
- 338 - П.А. Флоренский. «Столп и утверждение Истины», с.71.
- 339 - «Братья Карамазовы», с.701.
- 340 - Bernardi Carevaiensis. «Opera, ed Maballon», 17,19. De dil. Dei. 1,1.
- 341 - П.А. Флоренский, op. cit. с.84.
- 342 - Св. Авва Дорофей. Doctrina VI; Migne, P.G., t.88, col.1698B-D.
- 343 - «Братья Карамазовы», с.295.
- 344 - Там же, с.62–63.
- 345 - Ср.: там же, с.12.
- 346 - Ср.: там же, с.8.
- 347 - Ср.: там же, с.10.
- 348 - «Letters of Dostojevsky», p.222.
- 349 - «Братья Карамазовы», с.67.
- 350 - Св. Симеон Новый Богослов. «Divinorum amorum», liber I, cap. XXXVII; Migne, P.G., t.120, col.592B. «Sine essentia est nihil est».
- 351 - «Die Atomistik des Willens», Bd. II, S.164(1891).

- 352 - П.А. Флоренский, *op. cit.* с.92.
- 353 - «Братья Карамазовы», с.383–384.
- 354 - «Дневник писателя». Сон смешного человека. Т.ХІ, с.141.
- 355 - Курсив Достоевского.
- 356 - Там же, с.140–141.
- 357 - Там же.
- 358 - «Дневник писателя», т.ХІ, с.470.
- 359 - «Дневник писателя», т.ХІ, с.470.
- 360 - «Бесы», т. VII, с.638.
- 361 - «Дневник писателя», т.ХІ, с.390.
- 362 - Св. Макарий Великий. *Homil XXXVII*, 3; Migne, P.G., t.34, col.752C.
- 363 - «Братья Карамазовы», с.429.
- 364 - Св. Иоанн Златоуст. *In: Epist. ad Ephes, cap. Vi, Homil. 3.*
- 365 - Св. Афанасий Великий. «*De Incarnat*», 54.
- 366 - Св. Иоанн Златоуст. *Exposition in Psalm. VIII, 1.*
- 367 - «Братья Карамазовы», т.12, с.70.
- 368 - Там же, с.380.
- 369 - Там же, с.69–70.
- 370 - Там же, с.280–281.
- 371 - Там же, с.83.
- 372 - «Подросток», т. VIII, с.220,219.
- 373 - Курсив Достоевского.
- 374 - «Дневник писателя», т. VIII, с.369.
- 375 - «Подросток», т. VIII, с.369.
- 376 - Св. Иоанн Златоуст. *Ad. Ephes. Homil. IX,3.*
- 377 - Е.С. маяне. «*Letters of Dostojevsky*», p.135.
- 378 - «Идиот», т. VI, с.412.
- 379 - Христолюбивая душа православного христианина в восхищении молится чудесному Господу Иисусу: «Иисусе, вся твари Украсителю, помилуй мя». – Акафист Иисусу Сладчайшему, икос 4.
- 380 - «Дневник писателя», т.ХІ, с.476.
- 381 - «Братья Карамазовы», т.ХІІ, с.372.
- 382 - Е.С. маяне. «*Letters of Dostojevsky*», p.135.
- 383 - «Братья Карамазовы», с.372.

- 384 - Там же, с.372.
- 385 - «Биография и письма и заметки из записной книжки Ф.М. Достоевского», с.56.
- 386 - «Братья Карамазовы», с.202.
- 387 - Там же, с.373.
- 388 - Там же, с.374.
- 389 - «Дневник писателя», т.ХІ, с.70.
- 390 - «Братья Карамазовы», с.374.
- 391 - «Подросток», т.VIII, с.395.
- 392 - «Биография и письма и заметки из записной книжки Ф.М. Достоевского».
- 393 - «Братья Карамазовы», с.374.
- 394 - «Подросток», т.VIII, с.395–396.
- 395 - Курсив Достоевского.
- 396 - Курсив Достоевского.
- 397 - «Братья Карамазовы», с.373–374.
- 398 - Там же, с.361.
- 399 - «Идиот», т.VI, с.235.
- 400 - «Братья Карамазовы», т.ХII, с.376.
- 401 - «Биография и письма и заметки из записной книжки Ф.М. Достоевского», с.373.
- 402 - «Братья Карамазовы», с.379.
- 403 - «Подросток», т.VIII, с.364.
- 404 - «Братья Карамазовы», с.302–303.
- 405 - «Биография и письма и заметки из записной книжки Ф.М. Достоевского», с.311.
- 406 - Там же, с.371.
- 407 - «Братья Карамазовы», с.380.
- 408 - Там же, с.379–380.
- 409 - «Братья Карамазовы», с.380–381.
- 410 - Эти слова надо сопоставить со словами апостола Павла «Любовь... все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит» (1Кор.13:7).
- 411 - «Братья Карамазовы», с.382.
- 412 - Там же, с.382–383.

- 413 - Там же, с.378–379.
- 414 - Св. Иоанн Златоуст. «Epist. Ad Philip.» Homil. II,1.
- 415 - «Братья Карамазовы», с.384. Об этом же говорит благой Макарий: «Самоубийство есть великий грех человеческий, но судья тут – один лишь Господь, ибо Ему лишь известно все, всякий предел и всякая мера. Нам же беспрерывно надо молиться о таком грешнике. Каждый раз, как услышишь о таком грехе, то отходя ко сну, помолись о таком грешнике умиленно; хотя бы только вздохни о нем к Богу, даже хотя ты и не знал его вовсе, – тем доходнее твоя молитва будет о нем». («Подросток», с.394).
- 416 - «Братья Карамазовы», с.193–194.
- 417 - Там же, с.191.
- 418 - Там же, с.379.
- 419 - «Братья Карамазовы», с.350–351.
- 420 - П.А. Флоренский. Op. cit., с.310.
- 421 - «Братья Карамазовы», с.350.
- 422 - Там же, с.356.
- 423 - Там же, с.350.
- 424 - «Подросток», т. VIII, с.392.
- 425 - «Подросток», т. VIII, с.392.
- 426 - «Братья Карамазовы», с.381.
- 427 - Там же, с.379.
- 428 - Там же, с.351.
- 429 - Таковыми были: св. Сергей Радонежский (XIV в.) и прп. Серафим Саровский (XIX в.), принимали медведя, как гостя. Св. Пахомий (IV в.) и св. Феодора преодолевали реку Нил на крокодиле. Сам Господь Христос «был со зверями» в пустыне (Мк.1:13). – П.А. Флоренский, op. cit., с.305.
- 430 - «Идиот», с.346.
- 431 - «Дневник писателя», т. X, с.87.
- 432 - «Братья Карамазовы», с.383. В романе «Бесы» (с.140) одна старица, живущая в монастыре, говорит: «Всякая тоска земная и всякая слеза земная – радость нам есть; а как напоишь слезами своими под собой землю на поларшина в глубину, то тотчас же о всем и возрадуешься»
- 433 - Там же, с.344.
- 434 - Там же, с.343–344.
- 435 - «Идиот», т. VI, с.594.

- 436 - «Братья Карамазовы», с.380.
- 437 - Там же, с.427–429.
- 438 - Там же, с.430–431.
- 439 - «Сон смешного человека», «Дневник писателя», т.ХІ, с.132–136.
- 440 - Курсив Ф.М. Достоевского.
- 441 - Там же, с.140–141.
- 442 - «Идиот», с.241.
- 443 - «Братья Карамазовы», с.366,368,587–588,700,712.
- 444 - Там же, с.347.
- 445 - Там же, с.93 и 339.
- 446 - «Идиот», т.VI, с.583–584.
- 447 - «Бесы», т.VII, с.241.
- 448 - «Дневник писателя», т.IX, с.437–438.
- 449 - Прим. переводчика.
- 450 - «Дневник писателя», т.X, с.108–109.
- 451 - Там же, с.191,192.
- 452 - Кардинал Ньюман в 1875 году писал: «Мы должны признать вещи таковыми, каковыми они являются; веровать в Церковь, это значит веровать в Папу... Мы никак не можем веровать в Церковь, если не веруем в ее видимую главу». (J.Y. Newmann: «A Letter addressed to His Grace the Duke of Norfolk on occasion of Mr. Gladstoné's recent Expostulations», 3). В своем известном произведении «L'Eglise Latine et Protestantisme» отличный знаток римокатолицизма Хомяков пишет: «В романизме Церковь состоит в одном лице, в папе» (там же, с.60).
- 453 - «Дневник писателя», т.X, с.109–111.
- 454 - Курсив Ф.М. Достоевского.
- 455 - «Дневник писателя», т.ХІ, с.5. В романе «Бесы» Достоевский пишет: «Рим обоготворил народ в государстве и завещал народам государство. Франция в продолжение всей своей длинной истории была одним лишь воплощением и развитием идеи римского бога и если сбросила наконец в бездну своего римского бога и ударилась в атеизм, который называется у них покамест социализмом, то единственно потому лишь, что атеизм все-таки здоровее римского католичества» (с.243).
- 456 - Курсив Ф.М. Достоевского.
- 457 - «Дневник писателя», т.ХІ, с.183–185.
- 458 - Там же, с.384.

⁴⁵⁹ - Там же, с.194.

⁴⁶⁰ - Там же, т.ХІ, с.390.

⁴⁶¹ - Chacun pour soi et Dieu pour tous (фр.) – «Каждый сам за себя, а Бог – за всех». (Прим. перев.).

⁴⁶² - В романе «Бесы» Достоевский пишет: «Ни один народ еще не устраивался на началах науки и разума; не было еще ни разу такого примера, разве на одну минуту, по глупости. Социализм по существу своему уже должен быть атеизмом, ибо именно провозгласил с самой первой строки, что он установление атеистическое и намерен устроиться на началах науки и разума исключительно. Разум и наука в жизни народов всегда, теперь и с начала веков исполняли лишь должность второстепенную и служебную; так и будут исполнять до конца веков. Народы слагаются, движутся силою иною, повелевающею и господствующею, но происхождение которой неизвестно и необъяснимо. Эта сила есть сила неутомимого желания дойти до конца и в то же время конец отрицающая. Это есть сила непрерывного и неустанного подтверждения своего бытия и отрицание смерти. Дух жизни, как говорит Писание, «реки воды живой», иссякновением которых так угрожает Апокалипсис. Начало эстетическое, как говорят философы, начало нравственное, как отождествляют они же. «Искание Бога», как называю я проще всего. Цель всего движения народного во всяком народе и во всякий период его бытия есть единственное лишь искание Бога, Бога своего, непременно собственного, и вера в Него как единого истинного. Бог есть личность всего народа, взятого с начала его и до конца... Никогда еще не было народа без религии, то есть без понятия о зле и добре... Никогда разум не в силах был определить зло и добро или даже отличить зло от добра, хотя приблизительно; напротив, всегда позорно и жалко смешивал; наука же давала решения кулачные. В особенности этим отличалась полунаука, самый страшный бич человечества, хуже мора, голода и войны, неизвестный до нынешнего столетия...» (с.242–243).

⁴⁶³ - В «Братьях Карамазовых» Достоевский пишет, что «социализм – это не столько рабочий вопрос, сколько вопрос атеистический, это вопрос современного воплощения атеизма, это вопрос Вавилонской башни, строящейся без Бога, не для того, чтобы землю приблизить к небу, но для того, чтобы небо снизвести на землю» (с.34).

⁴⁶⁴ - Курсив Ф.М. Достоевского.

⁴⁶⁵ - «Дневник писателя», т.ХІ, с.390–391.

⁴⁶⁶ - Курсив Ф.М. Достоевского.

⁴⁶⁷ - Курсив Ф.М. Достоевского. Под словом «ним» инквизитор разумеет сатану, который искушал Христа в пустыне.

⁴⁶⁸ - Время отпадения римокатолической Церкви от вселенской Православной Церкви. Надо помнить, что действие в поэме «Великий инквизитор» происходит в XVI веке.

⁴⁶⁹ - «Братья Карамазовы», с.305,306.

⁴⁷⁰ - Здесь надо вспомнить о творцах человекобога и об их учении о грехе и о преступлении.

⁴⁷¹ - «Братья Карамазовы», с.306,300.

⁴⁷² - Там же, с.308.

⁴⁷³ - К этому же выводу пришел глубоко мыслящий знаток Запада Хомяков. Он говорит: «Государство земное заняло место Церкви Христовой» (ор. cit. с.38). «С времен раскола нет больше Церкви на Западе, существует только духовная римская империя, которую позднее разделила протестантская республика» (там же, с.383).

⁴⁷⁴ - В одном письме Достоевский пишет: «Вы говорите: да ведь Европа сделала много христианского помимо папства и протестантизма. Еще бы, не сейчас же там умерло христианство, умирало долго, оставило следы. Да там и теперь есть христиане, но зато страшно много извращенного понимания христианства» («Биография и письма и заметки из записной книжки Ф.М. Достоевского», с.372).

⁴⁷⁵ - «Дневник писателя», т.ХI, с.474.

⁴⁷⁶ - В 1877 году Достоевский пишет в своем «Дневнике»: «Да, Европу ждут огромные перемены, такие, что ум людей отказывается верить в них, считая осуществление их как бы чем-то фантастическим». – «Дневник писателя», т.ХI, с.495,449, т.Х, с.111.

⁴⁷⁷ - Курсив Ф.М. Достоевского.

⁴⁷⁸ - «Дневник писателя», т.ХI, с.495,449, т.Х, с.111.

⁴⁷⁹ - «Letters of F.M. Dost.», р.207.

⁴⁸⁰ - «Идиот», т.VI, с.585. (Здесь и далее цитируется по изданию А.Ф. Маркса. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. С.-Петербург, 1894 г.)

⁴⁸¹ - «Идиот», т.VI, с.585.

⁴⁸² - «Дневник писателя», т.ХI, с.384.

⁴⁸³ - «Биография и письма и заметки из записной книжки Ф.М. Достоевского».

- 484 - Из материалов к «Бесам» (Достоевского). Л. Гроссман, «Южное слово», 25.IX.1919, Одесса.
- 485 - «Дневник писателя», т.Х, с.224.
- 486 - Там же, т.IX, с.240.
- 487 - Там же.
- 488 - Там же, т.XI, с.147.
- 489 - Там же, т.Х, с.441.
- 490 - «Биография и письма и заметки из записной книжки Ф.М. Достоевского», с.273.
- 491 - «Братья Карамазовы», т.XII, с.376.
- 492 - Из материалов к «Бесам», Л. Гроссман.
- 493 - Курсив Достоевского.
- 494 - «Дневник писателя», т.XI, с.522–523.
- 495 - Там же, т.Х, с.143.
- 496 - Там же, с.312.
- 497 - Там же, с.225.
- 498 - Там же, с.225–226.
- 499 - «Идиот», т.VI, с.594.
- 500 - «Дневник писателя», т.XI, с.183.
- 501 - Там же, т.Х, с.229.
- 502 - Там же, с.295.
- 503 - Там же, с.204.
- 504 - В. Соловьев. Три речи в память Достоевского. Собрание сочинений В.С. Соловьева, т.III, с.197, С.-Петербург.
- 505 - «Дневник писателя», т.Х, с.51. – В «Братьях Карамазовых» старец Зосима говорит: «...Спасет Бог Россию, ибо хоть и развратен простолудин и не может уже отказать себе во Смердном грехе, но все же знает, что проклят Богом его смердный грех и что поступает он худо, греша. Так что неустанно еще верует народ наш в правду, Бога признает, умирительно плачет» (т.XII, с.375). Ср.: «Дневник писателя», т.XI, с.278–279.
- 506 - «Дневник писателя», т.Х, с.51.
- 507 - Там же, т.IX, с.206–209; с.178–179.
- 508 - Там же, т.IX, с.240; т.Х, с.313.
- 509 - «Letters of Dostojevsky», p.238.
- 510 - «Дневник писателя», т.XI, с.472–473.

- 511 - Курсив Ф.М. Достоевского.
- 512 - Курсив Ф.М. Достоевского.
- 513 - «Дневник писателя», т.ХІ, с.473–474. – В письме одной матери на вопрос о том, как воспитывать своего сына, Достоевский отвечает: «Вашему ребенку * лет, познакомьте его с Евангелием, учите верить в Бога, это самое православное воспитание. Это sine qua non, по-другому Вы не сможете из своего сына сделать тонкое человеческое существо, в лучшем случае это будет мученик, в худшем – бездушный, летаргический «успех», что еще более печально. Верьте мне, Вы не сможете никогда, нигде, ни в чем найти что-то лучше, нежели Спаситель» («Letters of Dostojevsky», p.224).
- 514 - «Дневник писателя», т.ІХ, с.209.
- 515 - Здесь Достоевский имеет в виду освобождение балканских славян от турок. (Прим. автора).
- 516 - «Дневник писателя», т.ХІ, с.78–79.
- 517 - Там же, т.Х, с.142.
- 518 - Курсив Ф.М. Достоевского.
- 519 - «Дневник писателя», т.ХІ, с.474.
- 520 - Воспоминание о своем 4-х летнем пребывании на каторге в Сибири.
- 521 - «Дневник писателя», т.ХІ, с.475.
- 522 - Там же, т.ІХ, с.205–206.
- 523 - «Дневник писателя», т.Х, с.296.
- 524 - Там же, с.223.
- 525 - «Братья Карамазовы», т.ХІІІ, с.366.
- 526 - Там же, с.366–367.
- 527 - Там же, с.80.
- 528 - Курсив Ф.М. Достоевского.
- 529 - «Дневник писателя», т.ХІ, с.469–470.
- 530 - Там же, с.466–467.
- 531 - Там же, с.468.
- 532 - Там же, т.Х, с.204.
- 533 - Там же, т.ХІ, с.25–25.
- 534 - Там же, т.ІХ, с.22–23.
- 535 - Там же, т.ІХ, с.42.

- 536 - Там же, т.ХІ, с.470.
- 537 - Курсив Ф.М. Достоевского.
- 538 - «Дневник писателя», т.ХІ, с.448,449.
- 539 - Курсив Ф.М. Достоевского.
- 540 - «Преступление и наказание», т.V, с.252–253.
- 541 - «Дневник писателя», т.ХІ, с.24.
- 542 - «Подросток», т.VIII, с.58.
- 543 - «Зимние заметки о летних впечатлениях», т.III, с.45–46.
- 544 - Там же, т.III, с.46.
- 545 - «Дневник писателя», т.ХІ, с.247–248.
- 546 - Курсив Ф.М. Достоевского.
- 547 - Курсив Ф.М. Достоевского.
- 548 - «Дневник писателя», т.ХІ, с.248–249.
- 549 - Material zum Roman «Die Dämonen», S.525.
- 550 - Там же, с.525.
- 551 - Там же, с.526.
- 552 - Там же.
- 553 - Там же.
- 554 - «Дневник писателя», т.ХІ, с.462–463. – Ср.: «Братья Карамазовы», с.284.
- 555 - Material zum Roman «Die Dämonen», S.521.
- 556 - «Идиот», т.VI, с.585.
- 557 - «Дневник писателя», т.IX, с.107.
- 558 - Из материалов к «Бесам», Л. Гроссман.
- 559 - «Братья Карамазовы», т.XII, с.273. Цит. по изданию А.Ф. Маркса.
- Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского, С.-Петербург, 1894 г.
- 560 - Курсив прп. Иустина. (Прим. перев.).
- 561 - Биография, письма и записная книжка Ф.М. Достоевского, с.369.
- 562 - Там же, с.375.
- 563 - Сергей Булгаков. «Два града», М., 1911, с.229.
- 564 - Биография, письма и записная книжка Ф.М. Достоевского, с.295.
- 565 - E.M. Vogue. The Russian Novel (transl. H.A. Sawyer, 1913), с.263.
- 566 - Биография, письма и записная книжка Ф.М. Достоевского.
- 567 - «Letters of Dostojevsky», p.208–209.

⁵⁶⁸ - Так Достоевского назвал Аксаков. См.: В. Зелинский. «Критический комментарий к сочинениям Ф.М. Достоевского». М., 1915, с.108.

⁵⁶⁹ - Об этом см. в сборнике «Вехи» статью Булгакова «Героизм и подвижничество», с.23–69 (второе изд. 1909 г.), а также произведение А.Л. Вольнского «Ф.М. Достоевский» (С.-Пбг., 1906 г., с.187–188) и в особенности произведение Ф. Добронравова «Достоевский как выразитель народной психологии и этики» (1904 г.).

⁵⁷⁰ - С. Венгеров. «Достоевский и его популярность». (В литературном сборнике «Отклик», С.-Петербург, 1881 г., с.155.)

⁵⁷¹ - Алекс. Закржевский. «Карамазовщина». Предисловие. Киев, 1912 г., с 2. См. также его же «Подполье и религия», Киев, 1912 г., и работу Ф. Мережковского «Пророк русской революции», С.-Петербург, 1906, с.4.

⁵⁷² - E.E. Politzky. Heine, Dostojewski. Zweite Auflage, Munchen, 1914 г., с.76.

⁵⁷³ - Otto Julius Bierbaum. Dostojewski, Gorkij. Leipzig, 1902, S.79.

⁵⁷⁴ - Там же, S.83,84,85.

⁵⁷⁵ - Там же, S.104.

⁵⁷⁶ - «Personifizierter Widerspruch gegen den gesunden Menschenverstand». Так выразился о Достоевском R. Saitschik в своем исследовании «Die Weltanschauung Dostojewski und Tolstois». Leipzig, 1893, S.1.

⁵⁷⁷ - E.M. Vogue. The Russian Novel, с.261.

⁵⁷⁸ - К таким людям относятся: W. Henkel, Eugen Label, R. Saitswchik, E.M. Vogue, Jean Honcey, K. Waliszewski. Подробнее об этом говорит М. Заидман в своем исследовании «Достоевский в западной литературе», Одесса, 1911 г. Это же можно сказать и об английском критике J.M. Murry. В своей работе «F.M. Dostojevsky», которая частично весьма интересна, он приходит к невероятному заключению: «Любовь Достоевского, даже его так называемое христианство было бунтом» (р.43, а также р.71–72 и 97). Лев Шестов в исследовании «Достоевский и Ницше – философия трагедии» (изд. второе, 1905 г.) проводит тезис, что Достоевский весь находится в «Записках из подполья» и что все его последующие произведения не что иное, как комментарий к этому произведению (с.20–23,108,109,110–115). В. Вересаев видит в Достоевском только «диавольского подвижника». Он видит Достоевского в аду своих богоборческих и нигилистических идей и настроений в то время, когда он

был с Искусителем, но не видит Достоевского в то время, когда он стал со Христом (см. его произведение «Живая жизнь», Москва, 1911 г., с.2–67 и 214). Надо еще упомянуть В. Астрова, который не понял Достоевского в самой его сути (см. его исследование «Не нашли пути», 1914, с.80–291).

⁵⁷⁹ - См. исследование Д.С. Мережковского «Л. Толстой и Достоевский, жизнь, творчество и религия». Полное собрание сочинений. С.-Петербург – Москва, 1912, т.VII-IX.

Содержание

Достоевский о Европе и славянстве преподобный Иустин (Попович), Челийский	1
Достоевский перед вечными проблемами	2
Самый отчаявшийся среди отчаявшихся.	13
Демонология (от человекомыши к человекобогу)	24
Бунт	24
1. Неприятие мира	25
2. Неприятие Христа	39
Идеологи и творцы нового человека	54
Иван Карамазов	56
Кириллов	58
Ставрогин	62
Раскольников	67
Тайна атеистической философии и анархистской этики	73
Достоевский – легион	89
Православная теодицея – единственное решение вечных проблем	100
Над тайной пшеничного зерна	116
Философия любви и познания	138
Наивысшая полнота жизни	155
Тайна Европы	180
Тайна России	196
Тайна всеславянства и всечеловечества	207
Тайна европейского человека и славянского всечеловека	215
Достоевский – всечеловек	223
Примечания	236